

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ШМУЭЛЬ ЙОСЕФ АГНОН
АЛЕКСАНДР АДОНИН
МАРК АЗОВ
ПАВЕЛ АСС
НАУМ БАСОВСКИЙ
МАРК БОГОСЛАВСКИЙ
ВАЛЕНТИНА БРИО
СЛАВА ВИНТЕРМАН
ЛЕОНИД ВЕЙЦЕЛЬ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА
АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ
ИГОРЬ ГУБЕРМАН
НИНА ДЕМАЗИ
ВЛАДИМИР ДРУК
ЗОЯ КОПЕЛЬМАН
АЛЕКСАНДР КРЕСТИНСКИЙ
ФЕЛИКС КРИВИН
СЕМЕН ЛИПКИН
ПАВЕЛ ЛУКАШ
ДАВИД МАРКИШ
ЕЛЕНА МАКАРОВА
БЕРТА РИНЕНБЕРГ
ДИНА РУБИНА
ИННА СИНГРИД
АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ
ВЛАДИМИР ФРОМЕР
ПАВЕЛ ХМАРА
ЛЕОНИД ЧЕРКАССКИЙ
САМУИЛ ШВАРЦБАНД
ЭЛЛА ШУЛЬГА
МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ
И ДРУГИЕ

№8



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים. ספרות וספרות

2001 8

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

⑧ 2001

Иерусалимский журнал, № 8, 2001

Журнал современной израильской литературы на русском языке

Виртуальный вариант в Интернете: www.antho.net/L

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор),

Юлий Ким, Зинаида Палванова, Дина Рубина,

Роман Тименчик, Светлана Шенбрунн

Ответственный секретарь – **Леонид Левинзон**

Художник – **Сусанна Черноброва**

Редактура и корректура – **Маргарита Шкловская, Любовь Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера – **Бина Смехова,**

Ольга Аксютинна, Михаил Бяльский, Борис Бронштейн, Даниил

Бурштейн, Лина Виленская, Виктор Голман, Григорий Гордин,

Шауль Котлярский, Светлана Мойбер, Антон Мухин, Илан Рисс,

Борис Штейн

Издательство «СКОПУС»

Типография «ЦУР-ОТ»



При поддержке

Министерства абсорбции;

Министерства культуры;

Центра интеграции репатриантов –

деятелей литературы и искусства;

Отдела культуры

и Управления абсорбции Иерусалимского муниципалитета;

Иерусалимской русской муниципальной библиотеки;

Журнал выходит ежеквартально

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2001. All rights reserved.

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам.

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: review@antho.net

Тел./факс: 972-2-5384914; 972-2-6720025; 972-2-6434005, 972-2-6432962

Представители «Иерусалимского журнала»:

Москва – Игорь Грызлов, 5507747; igorgr@dol.ru

Виктор Инденбаум, 9157178; sifria@mail.ru

Лия Кренцель, 4318386

С-Петербург – Сергей Григорьянц, 2948143 Ольга Крупень, 3125465

Новосибирск – Владимир Болотин, 329944; bolotin55@mail.ru

Нью-Йорк – Андрей Грицман, 201-8169131; agritsman@msn.com

Рита Бальмина, 619-4606179; rita_balmin@yahoo.com

Чикаго – Александр Блиштейн, 847-6761134; RMASIS56@prodigy.net

Ефим Котляр, 847-5819304; YefimK@aol.com

Париж – Владимир Смехов, 1-46-029978

Торонто – Илья Липес, lipes@idirect.com

В Израиле:

Арад – Ольга Кравченко, 08-9971014. Ариэль – Самуил Кушников, 03-9365452.

Афула – Любовь Серегина, 04-6492095. Гериция – Леонид Шейнман, 09-9502681.

Кфар-Саба – Виталий Кабаков, 09-7673293. Лод – Михаил Гиль, 08-9201291.

Реховот – Марк Павис, 08- 9353758. Хайфа – Михаил Басин, 04-8213657.

OCR Давид Титиевский, май 2019 г., Хайфа

АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ

Владимир Друк *НА КРАЮ*

ОКТАБРЬ 93

Джону

ты играешь семь и восемь
я играю семь и девять
это финиш это осень
это зайчик понедельник

раз два три четыре пять
вышел зайчик погулять
раз два три четыре пять
вышел дядька пострелять

ну чего вы в самом деле
не даете погулять
ну чего вы в самом деле
не даете пострелять

разве в шахматном прицеле
различимы наши цели

мы еще не разбежались
мы еще не полетели
мы еще не прилетели

это финиш-фотофиниш
черный ворон ясный сокол
сколько птичек ты укокал
ухандыкал – не починишь

зайчик-зайчик...

жизнь дается только – раз
жизнь дается только – два
жизнь дается только – пли

жизнь дается много раз
жизнь дается только детям

проведи ее в буфете
уничтожь ее как класс

Г-ди помилуй нас...

зайчик-зайчик
птички-птички
детки-детки
дядьки-дядьки

близко-близко
тихо-тихо

страшно-страшно-страшно-страшно
больно-больно-больно-больно
страшно-страшно-страшно-страшно

стыдно-стыдно
глупо-глупо
глухо-глухо

детки-детки
дядьки-дядьки
тетки-тетки

что за странная страна
не привыкнешь ни хрена
не отвыкнешь ни хрена

пять
четыре
три
два
один –

Москва, октябрь 1993

* * *

пока ты не поймешь что ты один
но состоящий из различных знаков
огня воды металла и земли
замешанных однажды на любви

пока ты не поймешь что ты один
что мир един и всюду одинаков
а ты частично непереводим

пока ты не поймешь что ты один
иных уж нет а те уже далече
что выпить нет хотя еще не вечер
и все открыто блин а денег нет

и те кто пил с тобой – плывут вперед
и что моряк похожий на дантеса
обмолвился – он выпал из процесса –
когда ты встал и вышел из процесса
а на корме качает и клюет

пока ты не поймешь что ты один
что ты чужой на этом пароходе
где барышни еще дают в проходе
но в долг буфетчик больше не дает

пока ты не поймешь что ты один
один как свист как чайник как разведчик
который за товарищей ответчик
по всем статьям партийно-гнездовым

пока ты не поймешь что будет день
и будет ночь когда тебя не будет
и что единый проездной билет
на этот месяц – скажем на январь
или апрель
переживет тебя и станет вечным

и первый встречный он же вечный жид
у входа встретит и не убежит
и выдаст новый проездной билет
и ты поймешь что смерти в жизни нет
что смерти нет и никогда не будет

и что по этой стрит плывет процесс
но что тебе до этого процесса
но что тебе до этого матроса
когда с тобою рядом спит принцесса
веселая принцесса рядом спит

Москва, 2000

* * *

как бы выбраться живым
нам из мертвого моря
и успеть в Иерусалим
до начала до рассвета
там – за белою стеною
за кузьмой сторожевым
начинается другая
непохожая на эту
неоконченная жизнь

Иерусалим, 1998

АНГЛЕТЕР

Ирине

граждане командировочные
развешанные в коридорах
на кого вам надеяться –
карабкайтесь автономно

я и сам – из глины и электродов –
подчиняюсь то дарвину то платону

я и сам запутавшись в пуповине
соблюдаю каждый закон природы
здесь дают по субботам живую воду
с кратким хлебом надкусанным посредине

я и сам не вижу иного смысла
кроме красной кирпичной стены напротив
все уплачено но – я сижу напротив –
проверяя счета подставляя числа

здесь и ветер гуляет туда-обратно
как по питеру ходит то грипп то триппер
если сорок лет просвистел напрасно
значит надо обратно грести в египет

иностранцы и прочие оборванцы
эмигранты танцующие не в такт –
отчего все не эдак вам да не так
да и кто – вообще – пригласил вас на танцы

этот город топорщится из кармана
этот город находится вне закона

геометрии –

город где мама помыла раму –
отдыхай милый чувствуй себя как дома

в этом городе сходятся все прямые
всюду запад хотя на восток – правее:
лучше черным и бедным – чем англосаксом
и конечно женщиной – чем евреем

погоди скоро заснут дети
посиди возьмем из буфета праздник
ну и что тараканы – они бессмертны они – как ленин
он в ответе а мы – в отказе

праздник праздник из горлышка из картона –
разгулялся как будто в своей квартире
ты запомнил какой на дверях номер
он как сука кратен числу 4

а они – по нашему ни бельмеса
и похоже что из другого теста
хорошо мы не в ливии не в китае
я уже понимаю и даже читаю
не сойти мне с этого места

научился подписываться на чеках
но уже /но еще не виден на фотоснимках
кто найдет меня в этих библиотеках
где шагал и будда стоят в обнимку

кто найдет меня в этих головоломках
в этажах-этажерках дешевых буднях
не найдет никто не возьмет на полку
потому что просто искать не будут

все оставлено в силе – как перед судным днем
все побрито и вымыто – но прячется от ответа
и никто не придет к тебе братец –
ни доктор ни управдом
и никто не накроет второй газетой

товарищи планетяне ищущие контакт
кончилась пятилетка слепых котят
плодитесь и размножайтесь
пока еще нас хотят

электричество – вовсе не то
что прячется в проводах

и не то что до срока живет затаясь в розетках
электричество то

что темнеет в твоих глазах
привлекая то в горничных
то в таблетках

ты один электричество двадцать одно очко
что выходит на главную площадь цирка

тишина
ты прицелился
брызгает молочко
попадая в молочницу и пробирку

есть усилие которого в сущности нет
и его не оценят ни дилеры ни курсистки
попадаешь в я –

в яблочко —
в щель —

в типографскую гарь газет
между последним принципом
и первым мотоциклистом

попадаешь в десятку а толку нет
есть усилие но каждый раз над собой
рассветает

в магазине напротив
включили утренний свет
этажом выше спели за упокой

если сорок лет пролистать напрасно
между морем мертвым и морем красным
значит надо обратно пылить в египет
или – выпить покуда никто не видел

...оживает молочница и булочник и букварь...
пахнет сыростью детства – сбежавшей птицей
и ржавеет сетка и лопается эмаль
и под матрацем запрятаны две страницы

и это все что останется на потом
и это причины что двигают весь картон

и ты лежишь мертвый и висишь до того живой
что просто хочется встать и пойти домой

Москва – Нью-Йорк, 1985 – 1997

СТИХИ НАПИСАННЫЕ НА РАУСЧЕСК

пятница вечер конец рабочей недели
стою в начале бродвея
можно выпить немного виски
и два дня
не говорить
по-английски

можно поехать к Гене
а можно поехать к Боре
это без разницы
как с радости или с горя

я вижу один лишь выход
из этого виража
подпрыгнуть чуть-чуть
и вылететь

с последнего этажа

Нью-Йорк, 1997

* * *

просыпаешься – временно – дырбулда
получается – только того и ждут
заморочат напичкают – кто куда
раздолбают растащат и убегут

глаз прикроешь – преследуют по пятам
глаз откроешь – они уже тут как тут

а тебе бы – временно – да поспать
а тебе б – полчасика – заморить
потянуть затяжечку пригубить
полюбить чего-нибудь
да уснуть

да уснуть как девушка да поспать
да поспать как дерево до весны
до других – доверенных новостей
до другой законченной дырбулды

а другие – временно – но не спят
а другие – временно – но живут
хорохорятся ежятся водку пьют
ковыряют свой временный огород
сеют пашут и – следовательно – пожнут
урожай если будет дородный год

а тебе все это – до дырбулды
потому что ни смысла ни кайфа нет
а без кайфа – полная дырбулда
и лежишь не двигаясь никуда

и лежишь летаешь себе во сне
онанируешь тихо себе во вред
эмигрируешь сука и предаешь
идеалы родину огород

эмигрируешь сука во цвете лет
эмигрируешь падла сбегаешь от
надеваешь шляпу меняешь вид
переходишь границы ползком и вброд
обрываешь нити своих обид

исчезаешь в паводке
и в толпе
прячешь имя свое номера и год
наконец никто тебе не звонит
наконец никто тебя не зовет

наконец-то заштопаны все долги
заколочены двери и все дела
полегли затоптанные враги
отлегли замаранные слова

аллилуйя полная дырбулда
камасутра канаверал карантин
ни изжоги ни праздника – дырбулда –
растворись в стакане как аспирин

словно в песне-где или – караганде
словно в пензе какой-то в караганде

просыпаешься – опа – караганда

но живут же люди в караганде

Нью-Йорк, 1999

**ДВУХТЫСЯЧНЫЙ ГОД
ИЛИ ВЕЧЕРНЯЯ ПОВЕРКА № 2**

подчиняемся римскому календарю
императоры смысла хрипят
на краю
образуем очкастый болезненный слой
тонок строй жидковат жутковат
жидоват
по линейке торчим на зарю

гимн играет
говнюк проверяет число –
сколько нас уцелело
считай – пронесло

закури – закурю
шесть утра
пронесло
жрать охота
и жить несмотря на число
жрать охота
курить
несмотря на судьбу –
скромный номер чернильный
и прыщик на лбу

эта очередь тихо подходит к концу
эта очередь тихо подходит к Отцу
кто последний кто крайний
кто средний

днем – еще ничего забываешься днем
научившись спрягать говоришь ни о чем
а молитвы – бормочешь ночами
римский папа который вообще ни при чем
пожимает плечами –
а я тут при чем

я стою – ты стоишь – мы стоим
на краю
на военном краю
Иудеи

подчиняемся варварам
календарю
подчиняемся римской идее

Нью-Йорк, октябрь 1999

Игорь Губерман *В ОТОРОДЕ СЕЛДЕРЕЙ*

*Из «Книги странствий»**

Недавно мы с женой, гостей не созывая, тихо выпили за тридцать пять лет нашего супружества де-юре, помянув тем самым день, когда ходили в загс.

Так вот, за несколько дней до этого праздника я ездил в Киев, а когда в доме приятеля кончилась водка, вызвался сбежать, и в очереди этой у меня украли паспорт. Я вернулся без него, и что подумала об этом моя теща, она призналась много позже.

Поменять в те годы паспорт можно было месяца за два, а в загсе нам было назначено уже через три дня, и гости позваны. Я пошёл к начальнику паспортного отдела нашей районной милиции и для начала разговора подарил ему свою книжку, где уже были написаны слова благодарности. Эффект превзошёл все ожидания. Начальник лично отнёс моё заявление паспортистке, клятвенно меня заверил, что через три дня утром (загс был днём) получу я новый паспорт, и спросил, не может ли он быть полезен чем-нибудь ещё. Спасибо, нет, вы чистый благодетель, заверил я его, в ответ на что он доверительно спросил, не с умыслом ли я потерял паспорт, потому что в этом случае он с лёгкостью растянет моё дело на полгода. Нет, ответил я, и мы с ним посмеялись зрелым мужским смехом. Только принесите паспортистке коробку конфет, предупредил он меня, прощаясь, она у меня баба с норовом, а всё теперь зависит от неё.

Надо ли говорить, что в этот день я с самого утра уже торчал в милиции? Паспортистка с лицом тюремной надзирательницы (через пятнадцать лет я видел много таких лиц) сказала сухо, что ещё не всё подписано, как должное взяла коробку конфет, спокойно вытащив её из газеты, куда я трусливо спрятал свою мелочную взятку, но пообещала к часу дня успеть. Ну, словом, опоздал я в загс всего минут на сорок, и жена мне это помнит до сих пор.

Но главное я обнаружил только в загсе: видимо, коробка показалась этой бабе несколько мала на фоне сделанного мне благодеяния, поэтому все пункты в паспорте были заполнены нормально маленькими буквами, а в графе национальности слово «еврей» – огромными и прописными. Очень я любил тот паспорт и жалею об утрате до сих пор.

* «Книга странствий», которая в каком-то смысле является продолжением книги Игоря Губермана «Пожилые записки», выходит в 2001 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала».

О ЕВРЕЯХ И ДРУГИХ АНОМАЛИЯХ

Честно сказать, мне связываться с этой темой вовсе не хотелось. Всё, что я думаю о нас, я изложил (и продолжаю, слава Богу) в своих стихах. К тому же мы обидчиво чутки к любой попытке нас затронуть даже словом – это более всего похоже на чувствительность дворовых кошек: чуть напрягшись, они следят за вашим малейшим жестом, но с места не уходят. Да к тому же столько написано про нас – и за, и против, и негодующее против против, только ситуация по-прежнему та же, что была многие века до нас. Цивилизация то сглаживает её, то дикий смерч опять вздымается до неба, явно Бога не тревожа, ибо Он давно уже пустил наши дела на самотёк. Ну, словом, не хотел.

Но как-то раз попались мне заметки (пышно именованные «эссе») одного российского прозаика. Что он еврей, я догадался бы легко, даже его не зная: только еврей может копаться так самозабвенно в тёмной русской истории отошедших веков. А в заметках (прошу прощения – в эссе) затронул автор забавную для него (не более того) тему своего еврейства. Простодушно написав, что в нём шевелится какая-то смутная нежность, когда, идя случайно мимо синагоги (из Исторической, он подчеркнул, библиотеки, где сподниза копал историю России), видит он замшелых стариков при бородах и часто даже пейзах. Это лёгкое чувство, овевающее вдруг его светлую душу, совершенно сродни той нежности, сообщил нам автор, что ощущает он к соболюбцам своей любимой футбольной команды. Тут я что-то разозлился, хоть, конечно, был неправ, ибо любой человек имеет право на любое чувство, честь и хвала прозаику, который их описывает честно и открыто. Хотя есть ещё прекрасная возможность промолчать, но мы ею пользуемся редко. Я даже вспыхнул, чтобы написать ему что-нибудь язвительное, но быстро передумал. С какой бы стати мне ему писать? Он – известный русский прозаик, а я простой еврейский никто. Его Россия полностью впитала и переварила (ассимилировала – мечта множества евреев), а меня исторгла, как кит – Иону, и правильно сделала, поскольку переваривался я довольно плохо (хотя, видит Бог – хотел по молодости лет). Я всё это чуть позже вспомнил, когда в Москве поехал навестить родителей на еврейское кладбище в Вострякове. Хрестоматийно русские берёзы и осины тихо шелестели листьями на ветру, и евреи, привозимые сюда, достигли уже полной ассимиляции, словно некие подберёзовики и подосиновики. Именно здесь я вдруг отчётливо сообразил, что двигали моей воздержанностью не лень и не гордыня застенчивости, а памятное мне событие (употреблённое слово – не преувеличение), некая давнишняя история...

Не написал я свой заведомо бессмысленный укор, поскольку много лет назад оказался в числе первых слушателей того известного письма, что написал некогда историк Натан Эйдельман известному русскому прозаику Виктору Астафьеву. Я к Тонику

Эйдельману всегда испытывал невероятное (и редкостное для меня) почтение, что дружеским отношениям изрядно мешало, но ничего с собой поделать я не мог. А тут – решительно, хотя несвязно и неубедительно – стал возражать. Многие помнят, наверно, что письмо это упрекало Астафьева в некорректности к национальным чувствам грузин – да ещё тех, чьим гостеприимством Астафьев пользовался, будучи в их краях. Я сказал Тонику, что письмо это (ещё откуда не отправленное в Красноярск) неловко выглядит – как некое нравоучение провинциального зануды большому столичному лицу со смиренной просьбой быть повежливее в выражении своих мыслей. Я говорил и чувствовал, что говорю что-то не то, и был я справедливо не услышан. А через короткое время (уже и свой ответ Астафьев написал, уже известны стали эти письма и повсюду обсуждались) ехал я из города Пярну, возвращаясь домой в Москву, а так как приютивший меня в Пярну (прописавший у себя, чем жизненно помог) Давид Самойлов собирался в Таллинн, то и я с ним увязался на автобус. Поэта Самойлова радостно и любовно встречали местные журналисты; мы очень быстро оказались на какой-то кухне, где был уже накрыт стол для утреннего чаепития, но Давид Самойлович сказал свои коронные слова, что счастлив чаю, ибо не пил его со школьного времени, и на столе явились разные напитки. Хозяев очень волновала упомянутая переписка, они сразу же о ней спросили, я было встрял с рассказом (Давид Самойлович был сильно пьян, в тот день мы начали очень рано), но старик царственно осадил меня, заявив, что он всё передаст идеально кратко. И сказал:

– В этом письме Тоник просил Астафьева, чтоб тот под видом оскорбления грузин не обижал евреев.

И я сомлел от восхищённого согласия. Именно это я пытался сказать Тонику тогда, но всё никак не мог сообразить, что именно хотел я высказать.

Ответ на то письмо тогда последовал отменный, до сих пор со смутным удовольствием я перечитываю послание Астафьева, когда оно мне снова попадает. Это была высокая наотмашь отповедь коренного россиянина – случайному и лишнему в этой стране еврею. И самый размах обильно выплеснувшейся державно-почвенной злобы, и детали – всё в нём было замечательно. А строки, напоённые сарказмом, непременно приведу, их надо нам читать и перечитывать:

«Возрождаясь, мы можем дойти до того, что станем петь свои песни, танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не на навязанном нам «эсперанто», тонко названном «литературным языком». В своих шовинистических устремлениях мы можем дойти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские, и, жутко подумать, – собрания сочинений отечественных классиков будем составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже приберём к рукам, и о, ужас! О, кошмар! Сами прокомментируем «Дневники» Достоевского».

Поёживаюсь и сейчас, перепечатывая это. Кто мешает ущемленным местным людям писать свои песни? А разве, чтобы стать пушкиноведом, нужно что-нибудь ещё, кроме способностей и готовности к нищенской зарплате где-нибудь в музее? Раздражает бедного прозаика сам факт еврейского участия в перечисленном. И что-то это мне напоминало. Спыхватился, осознав, что это я читаю перепев того письма, что на заре века, за восемьдесят лет до Астафьева, написал прозаик Куприн своему другу Батюшкову. Он тоже гневно сетовал на вторжение евреев в область языка и литературы. Комментируя активность этого вторжения, Куприн цитирует самого себя: «ибо, как сказал один очень недурной беллетрист, Куприн, каждый еврей родится на свет с предначертанной миссией быть русским писателем». Далее – подробный состав преступления:

«Ведь никто, как они, внесли в прелестный русский язык сотни немецких, французских, торгово-условных, телеграфно сокращённых, нелепых и противных слов... Они внесли припадочную истеричность и пристрастность в критику и рецензию...»

Как одинакова мелодия, заметили? И столь же ярко выдохнул Куприн свою заветную мечту:

«Эх! Писали бы вы, паразиты, на своём говённом жаргоне и читали бы сами себе вслух свои вопли. И оставили бы совсем-совсем русскую литературу».

Больше не могу цитировать, до слёз становится мне жалко двух замечательных писателей, обравивших начало и конец века своими справедливыми печальями. И сокрушённо бьётся моё сердце, влага виноватости готова застелить глаза, но я ничем помочь им не могу. А как за время между этими двумя посланиями-близнецами вторглись наглые евреи в, например, поэзию российскую! Втесались и втемяшились настолько, что стали гордостью и чуть не символами её величия. Ничего я не могу поделать ни для светлой тени Куприна, ни для Астафьева – дай Бог ему здоровья. Я как бы чуть помог, ведь лично я уехал, только продолжаю компрометировать великий и могучий своим участием. И тут, подобно Блоку, некогда исторгшему из тонкой своей лиры зверский рык («Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, с раскосыми и жадными очами!»), я хочу сказать, ничуть не виноватся, как бы о стихии говоря – о талантливости народа моего в письменности любого коренного населения. А что, кстати, поделатъ с фактом, что и упомянутый великий Блок – еврей по папе? А куда мы Фета денем?

Горе той литературе, где мечтают об отделе кадров. Тем более что мечтают попусту и зря, поскольку всё равно ведь продолжается и длится обсуждаемая горькая беда. Евреи сочиняют песни, и они становятся народными, высказывают пронизательные и тонкие суждения о Пушкине и Достоевском, пишут для театра, и в театрах совершаются аншлаги, над статьями в энциклопедиях корпят – и чувствуют себя при этом совершенно русскими людьми. Как некогда в Испании, Германии – везде было одно и то же.

И смотреть на это – мерзко и противно лучшим представителям народа коренного. Ибо ясно им, что не будь этих пронырливых инородцев, сами стали бы писаться песни, составляться словари, исследоваться Лермонтов и они сами. Как же я их, бедных, понимаю! С подлой целью растворились эти пакостные юркие приспособленцы в русском народе – делать некую работу, почему-то никому не нужную, пока они не взялись за неё. И как им хорошо, заразам, несмотря на нищенскую плату! Всё ради того, чтоб слиться с благородным местным населением. И ничего тут больше не добавишь – от душевного бессилия и лёгкой тошноты. И лучше поплетусь я снова по наклонному пути моей гордыни.

Забавно, что жажда раствориться и слиться с коренным населением – тесно и как ни в чём не бывало соседствует с тайно-сладким ощущением своей причастности к великому народу. Более того, две эти полярные страсти взаимно разжигают друг друга. Был некогда такой писатель – Александр Поповский. То, что я о нём думаю, вслух я никогда не скажу, ибо дружу с его сыном, да и судить – не моё право, судит время, и полная мгновенная забытость – лучший суд. Однако пояснить – необходимо. Этот писатель посвятил свою жизнь русской науке – не было, пожалуй, в ней за весь советский период ни одного крупного прохиндея, о котором Александр Поповский не написал бы восторженного романа. Так что в этом смысле он высоким был державным патриотом современной ему земли русской. Слава Богу, такие люди обычно бездарны – кажется порой, что некто сверху всё-таки следит за справедливостью. И, разумеется, он процветал настолько, что даже оставалось у него свободное время для просто чтения. Ибо где-то в конце пятидесятых, встретив в писательском посёлке знакомую пару, он им не без удивления сказал (уже за шестьдесят ему было крепко):

– Слушайте, на днях прочёл я, наконец, «Войну и мир» – и вправду хорошо писал Толстой!

А я как-то к нему зашёл по чьему-то поручению и ушёл, восторженное изумление переживая. Старик, оказывается, много лет собирал фотографии знаменитых евреев – густо усеивали они стены его дома. Их рассматривая, неожиданные узнавал я лица, слыша от хозяина авторитетные подтверждения, ибо наводил он справки, не жалея времени и сил. Впервые я узнал, что мной читавшийся тогда захлёб великий итальянский психиатр Чезаре Ломброзо – еврей, и что еврей – король шпионов англичанин Сидней Рейли. Оживившись от восторга моего, старик мне рассказал историю, которая теперь всю жизнь со мной, как некий праздник поучительного лаконизма. Когда канадский физиолог Ганс Селье (который ввёл понятие о стрессе – нынче этим словом не пользуются только немые младенцы) получил за свои работы Нобелевскую премию, то первое письмо, пришедшее к нему, было из Советского Союза. Некий заведомо ему неизвестный Александр Поповский посылал запрос. Цитирую дословно, ибо помню и буду помнить всегда:

«Глубокоуважаемый господин Ганс Селье! До меня дошли сведения, что вы – еврей из Венгрии по материнской линии. В случае, если это так, прошу прислать мне вашу фотографию размером девять на двенадцать и биографию в пол тетрадного листа. В случае, если это не так, сердечно поздравляю вас с получением высокой награды.»

Ах, чтоб я так писал, давно уже подумал я. И снова, как тогда впервые, так я помягчел сейчас душой от этого неприветливого письма, что вот уже мне стыдно стало: что я привязался, старый идиот, к этому известному прозаику русскому, к замечательному русскому писателю Астафьеву, к несчастному Поповскому, прекрасно прожившему свою несчастную жизнь (поскольку знал несправедливость её, но в те поры подобное писали все или почти), зачем я вообще заочно нарядился в прокурора. На этом – точка. Я вычёркивать не буду, пусть мне будет стыдно и противно.

Ощущение причастности к народу возникает часто вдруг и неожиданно для дремлющей души. Порою принимая формы поразительные, и в одном подобном случае я оказался участником. Мне позвонила давняя приятельница и, чуть запинаясь, попросила, чтобы я помог ей захоронить прах отца, недавно умершего в Питере. А разговор наш – в Иерусалиме. Я потому и попросила именно тебя, сказала дочь – ты не будешь смеяться, узнав, в чём дело. Ибо речь шла не о захоронении, а о распылении праха в Иудейской пустыне – такова была предсмертная просьба. И была всего лишь половина праха – вторую он просил оставить в Питере, в котором прожил свою жизнь и обожал который. А был он физиком, талантлив был необычайно, много сделал для науки и империи, а кто он – осознал на старости, откуда и такое ярое желание присоединиться к своему народу хотя бы частью праха. Было нечто символическое в нашем необычном действе, и сидели мы в машине молча, пока искали место, чтобы виден был оттуда Иерусалим – входило это тоже в просьбу к дочери. На склоне возле могилы пророка Самуила такое место отыскивалось. Дочь вынула из сумочки старый школьный пенал, мы вытрясли из него горсть серого праха, ветер аккуратно унёс его, развеивая по пустыне. Мы курили и молчали. Так советский физик разделил себя посмертно в две страны, чтоб обозначить свою любовь и причастность.

Об этой поразительной раздвоенности нашей некогда рассказывал Зиновий Ефимович Гердт. У них в театре был секретарь партийной организации некто Левин (за точность фамилии я нарочито не ручаюсь) – тихий, но активный человек, оголтелый, но незлобивый коммунист, усердный сеятель правого партийного мировоззрения. Но раз они поехали на гастроли в Лондон, и бедный Левин прямо на глазах сошёл с ума. Во всех прохожих он видел евреев, и не просто опознавал их, а радостно сообщал окружающим. Он вообще сильно загрустил от впервые им увиденной западной жизни, и легко себе представить, что творилось в его преданном и недалёком сознании.

А на какой-то улице сидел на стуле краснокожий индеец в головном уборе с перьями и столь же экзотически одетый, а при нём ещё была какая-то нездешняя птица из породы попугаев – она тащила клювом из ящичка билеты с предсказаниями счастья. «Это еврей!» – закричал Левин, бесцеремонно тыча пальцем в направлении индейца. Тут его, естественно, подняли насмех, он обиженно замолчал и только долго оглядывался, когда они уходили. «Это еврей», – грустно и убеждённо шепнул он Гердту. А в конце дня их всех – по просьбе того же Левина – повели обедать в известный еврейский ресторан, где Левин от обилия легко опознаваемых лиц совсем увял и только сладостно водил глазами. А в конце обеда в ресторан лёгкой походкой вошёл тот краснокожий индеец, с панибратством завсегда громко сказал «шалом, хеврэ» (то есть «привет компании») и принялся за сразу же принесенную ему фаршированную рыбу. Легко себе представить восхищенную гордость Левина и посрамление не веривших ему. Но это – лишь начало той истории, что записал я, убежав как бы в сортир. После исхода Шестидневной войны у Левина возникло чисто клиническое раздвоение личности. Он обожал рассказывать об этой войне и начинал, прекрасно помня, что является секретарём партийной организации.

– Легко понять этих трудящихся арабов, – говорил он для начала, – они себе обрабатывают свои поля и посевы, и вдруг евреи начинают по ним стрелять из винтовок...

Он возбуждался прямо на глазах.

– И тогда они берут автоматы и тоже начинают стрелять. И тогда эти...

– Кто эти? – спрашивал подвернувшийся Гердт.

– Евреи, – воспалённо отвечал Левин, – начинают стрелять из пулемётов! И тогда эти...

– Кто эти? – непонятливо спрашивал Гердт.

– Арабы! – огрызнулся Левин. – Они подкатывают артиллерию! И тогда эти...

– Кто эти? – невозмутимо спрашивал Гердт.

– Евреи! Тогда евреи садятся в танки и начинают наступать, и тогда они...

– Кто эти они? – спрашивал Гердт.

– Эти чёртовы арабы, – Левин уже терял сознательность, – они стреляют из противотанковых ракет! И тогда эти...

– Эти кто? – переспрашивал Зиновий Ефимович.

– Наши евреи! – кричал Левин с торжеством. – Они садятся в самолёты и разбомбливают всё это к ебене матери!

После чего он остывал, приходил в себя, посматривал сконфуженно и вопросительно – с опаской, что сболтнул лишнего, пока опять не подворачивался слушатель с вопросом о течении войны. Гердт неизменно оказывался рядом.

Теперь, насколько я сумею, – о чувстве избранности, то бишь о пресловутой национальной гордыне...

Вообще говоря, чувство избранности (даже отчётливого превосходства) свойственно множеству народов. Более того — чем хуже у народа настоящее, тем светлее и величественней мифы и легенды о высоком прошлом и больших путях в истории. Мне как-то довелось об этом говорить с татарским националистом. Когда лопнул пузырь дружбы народов, ярким пламенем вспыхнули национальные амбиции почти везде, а так как всем жилось одинаково плохо и неприкаянно, то гордыня расцвела повсюду несусветная. А я в Казани приглашён был выступить перед почтенными людьми большого бизнеса. И приплелись, конечно же, евреи. Впрочем, многие из них были женаты на татарках. Я работал вместе с певцом и оркестром, так что, минут десять почитав стихи, я уступил им место, сел за столик, но не пил, а лишь прихлёбывал, ожидая своей новой очереди лицедейства. Но оркестр всё играл и играл, певец всё пел и пел, уже пошли танцы, а я сидел, трезвый, как дурак на свадьбе, и недоумевал, когда же меня свистнут снова. А после ухватил я за штанину пробежавшего мимо устроителя, и он сказал мне внятно и коллегиально:

— Ради Бога, извини меня, забыл предупредить, ты можешь пить спокойно, им надо всего-навсего завтра сказать в своих конторах, что слышали Губермана, а стихи им на хуй не нужны, послушали и всё, на гонораре это никак не отразится. Гуляй, старик, с тобой закончено.

И начал я навёрстывать упущенное. Ко мне подсел немолодой интеллигентный татарин (ох, немного их там было!) и беседу начал с полуслова — будто мы её прервали только что. Он сообщил мне, что по его глубокому убеждению, татары — великий народ, чисто случайно не вошедший в исторический канал, по которому пошли другие великие народы. Я не возражал, я наливал и опрокидывал. А главная тому причина, грустно и увлечённо повествовал непьющий собеседник, — она в том, что век за веком татары отдавали россиянам своих самых выдающихся людей. Они утекали в империю, печально и красиво сказал он. Историк Карамзин, поэт Державин, композитор Рахманинов, полководец Кутузов, писатели Аксаков и Тургенев — самые поверхностные, хоть и яркие примеры. Я сочувственно кивал. Тут на меня посыпались фамилии, о большинстве которых я и слыхом не слыхивал, потом он помянул, что татары на первом или втором месте по числу Героев Советского Союза (это в пропорции с количеством народа, то есть весьма значимо), но тут не удержался я и буркнул, что евреи — на третьем. Мельком я успел подумать, что надо следить за собой, ибо выпивка уже делала своё благое дело, а разговор со мной затеяли всерьёз. Но было уже поздно. И когда меня спросили, бывал ли я в музее Льва Толстого, и кивнул я снова головой, и собеседник торжествующе спросил, а видел ли я слева в самом основании генеалогического дерева фамилию Баскакова, а он — татарин, я спросил вместо ответа, почему не посмотреть было направо, где еврей Шафи-

ров обозначен. И собеседник мой исчез куда-то. Я решил, что он обиделся, и сокрушённо принял ещё пару рюмок. Но тут он появился, весь сияя – подкопил, наверно, аргументы – жалко, я по пьяни всё испортил сразу. Он ещё и сесть не успел, как я ему сказал приветливо:

– Я тут подумал, знаете, и если всё, что вы мне излагали, достоверно, то татары – просто-напросто одно из наших утерянных колен.

Он повернулся, мне ни слова не сказав, и не услышал я вследствие этого множества новых фактов. Но зато запомнил главное: ещё один избранный Богом народ свято помнит о своём великом прошлом.

Множество таких же точно аргументов каждый, кто желает, с лёгкостью отыщет на страницах всех сегодняшних республиканских газет всех республик бывшего нерушимого Союза. Тут же рядом будет находиться такое поношение бывших братьев и соседей по империи, что душа будет болеть и одновременно играть от виртуозности раскрепостившихся мыслителей. А с каждой оскорблённой стороны течёт такое, что словарь дружбы народов уже время составлять. И я уверен, что вот-вот появится еврей, который это сделает. От одного шедевра я не в силах удержаться – вот как говорят чеченцы, например (задолго до войны, что важно):

«Чечены и русские – братья, а осетины – дикие собаки, ещё хуже русских».

Но вернусь к своим. Гордыня – это, прежде всего, чуткость к ущемлению. Чувствительность к обиде по национальной принадлежности, ещё фантомной и предполагаемой обиде, и к выдуманной в том числе – присуща нам вне всякой зависимости от характера и интеллекта. Как-то раз моя приятельница Фира ездила в Америку погостевать у друзей. Но быть в Нью-Йорке и на Брайтон не сходить – впустую съездить, и вот уже сидит Фира на Брайтоне возле моря, а рядом – скопище жовиальных евреек советского разлива, снисходительно ругающих Америку за сухость душ и полное отсутствие культуры. Сама их речь – высокое свидетельство незаурядного культурного развития всех этих далеко не молодых, отменно корпулентных (если я правильно толкую это слово) дам. В прошлой жизни занимались они всяким – в том числе и торговали культтоварами или распространяли билеты в приехавшие на гастроли театры, так что им и карты в руки, я их вовсе не хочу обидеть. Я их много видел и беседовал не раз, я каждый раз, на Брайтоне бывая, что-нибудь хожу послушать, и обычно смех мой горек. Только я отвлёкся. Услыхав, что Фира из Израиля («откуда сами будете, дама?»), стали все ей задавать вопросы, на которые немедленно сами же и отвечали, Фира только поражалась их категорической осведомлённости. Образовалась крохотная пауза, и Фира вставила в неё известные слова, что там, где два еврея – три несхожих мнения.

– Кто это сказал? – грозно спросила одна из женщин.

– Черчилль, – пояснила Фира. – Уинстон Черчилль.

– Черчилль? – с невыразимой гадливостью повторила собеседница. – И что вы ответили этому антисемиту?

Жаль, что пока что не сыскался Бабель, могущий описать это уходящее поколение еврейских пришельцев – но, быть может, он уже растёт и уже впитывает этот дух и эти речи? Хочется мне думать, что они не пропадут. Я как-то там (в плохом был очень настроении, хотел развеяться) услышал возле продовольственного магазина (как там солят, маринуют и коптят!) слова одной такой дамы в разговоре с подругой – слова, от коих испытал я чистое высокое счастье:

– И ты себе представляешь, – пылко говорила она подруге, – он сказал мне: идите на хуй! А я ему тогда сказала: молодой человек, а я была там больше, чем вы – на свежем воздухе!

Теперь начну я как бы снова и как бы по порядку. С интереса нашего, сугубого и острого, ко всему, что относится к евреям, где бы и когда они ни жили. С интереса, который начисто пренебрегает неким общепринятым, разумным и естественным (ха! – на все эти три слова) порядком изложения любых сведений. Это ярче всего видно на примере старой (десятилетиями прошлого века) Еврейской энциклопедии. Очень любил я некогда в застолье излагать цитаты из неё – не надо было никаких собственных шуток. Помню наизусть о Лондоне, к примеру: «Лондон – столица Англии. Основан в 1066 году, когда Вильгельм Завоеватель привёз туда несколько десятков еврейских семей». И так про всё на свете. Меня и всех приятелей моих весьма это смешило. Прошли года, уже в Израиле я жил, затеялся какой-то чахлый семинар, куда меня позвали по ошибке, и на коллективном завтраке в столовой я вдруг вспомнил эту и подобные ей фразы. Засмеялись, помню, все, только один спокойно и серьёзно сказал мне, что ему нисколько не смешно. Уже давно, сказал он так же ровно и неторопливо, всё на свете он воспринимает с точки зрения причастности к еврейскому народу. Я смолчал, поскольку сильно ошарашен был внезапным ощущением, что я ведь тоже с некоторых пор воспринимаю многое в таком же искажённом ракурсе. А, осознав, уже я этому и удивляться перестал. Всё как бы сохранилось прежним, только сильно сфокусировался взгляд. Что вряд ли хорошо, но это есть. Сквозь эту призму по-иному я на многое смотрю, и пакость, совершённая евреями (а сколько же её!) мерзее и больней мне, чем пакость, сделанная кем-то, кто вне этого сильно суженного взгляда.

Дина Рубина записала слова, однажды сказанные ей немолодым и невеликого образования человеком (уже здесь, в Израиле):

– Помни, деточка, – сказал он ей, – что самое хорошее и самое плохое на свете делается евреями.

Я не согласен с полнотой такого обобщения, но под словами о причастности нашей ко всему на свете, и к полярному по качествам притом – я подписался бы обеими руками. Это мания ве-

личия и миф об избранном народе? Нет, я думаю, что это – отражение реальности. И потому так правы старики, перечисляющие со смешной гордыней фамилии знаменитых соплеменников, и потому так правы в очень многом люди, ненавидящие нас. И вновь я сбился, старый графоман, на ту высокую тональность, что никак мне не по чину, а важней, что не по нраву.

Искажена моя картина мира – всюду вижу я талантливых (пускай способных), с бешеной активностью евреев. Может быть, пойти в сотрудники в журнал «Наш современник»? Сколько бы я мог им рассказать!

Я в Лондоне гулял дней пять с женой, а после был с туристской группой столько же. И не запомнил ничего, кроме отменной фразы гида как-то утром. Он сказал:

– Вниманию женщин! Следующий туалет будет только в доме, где родился Шекспир!

А моему приятелю завидно повезло. Он где-то на проспекте на огромный магазин набрёл, где на витрине краской масляной было написано по-немецки – «говорим на немецком», по испански – «говорим на испанском», по-французски – «говорим на французском». А на иврите там было написано – «для евреев – скидка». Кому это понравится, узнавши?

О взаимовыручке еврейской сколько ни написано – всё правда. Далеко неполная притом. Поскольку множество веков евреи скидывались специально в помощь соплеменникам, которые нуждались в ней, и это продолжается посейчас. И ничего величественней этого я как-то не упомяну. В лагере в Сибири с завистью и уважением смотрел я, как немедленно сплываются люди с Кавказа. Сбившаяся стайка их немедленно и радушно принимала своего новичка – а что творили с новичками и друг с другом люди коренной национальности! Вернусь к своим, поскольку миф о нашей выручке взаимной – справедлив почти вполне. Почти, поскольку в памяти стираются мгновенно грустные истории вчерашней жизни – как евреи старались не брать на работу других евреев, опасаясь, чтобы их не заподозрили в национальном потакательстве и вообще чего дурного не подумали. Таких испугов множество бывало – это характерно именно для растворенцев (не найду иного слова) – тех, кто жаждал слиться и прильнуть. Я ещё слышал о тайно жидовствующим растворенцах – те, согласно мифам и легендам, резали безжалостно евреев на различнейших экзаменах, свою повадку мотивируя идеей, что еврей обязан знать предмет не на пятёрку, а на шесть как минимум. Но это обсуждать мне неохота, я брезглив и забывчив.

Тут пора мне сделать отступление. С некоторых пор есть у меня заочный собеседник, в глазах которого хотел бы я выглядеть, по крайней мере, хорошо. А как он появился в моей жизни – целая история, к этой главе никак не относящаяся. Ибо она – о торжестве той внутренней интеллигентности, которая порой бывает вознаграждена. То есть к моей сугубо назидательной книжке прямое отношение имеет. Я как-то выступать приехал в некий

большой город (я все детали утаю, поскольку ни к чему они). И целый день я был свободен. Гулять по этому промышленному центру, доведенному годами советской власти до безликости из фантастических романов, не хотелось мне никак, и я проездил целый день в автомобиле своих местных импресарио, которые по разным поводам мотались по городу. По дороге я немножко выпивал, мне было хорошо и безразлично. А где-то на закате тормознули они возле двухэтажного складского вида помещения, пристроенного к жилому дому, и пошли туда, оставив меня в машине. Я выкурил, их ожидая, сигареты две, и оглядел окрестности, поскольку писать очень захотел. По-маленькому было тут легко сходить, не вылезая из машины, пешеходов не было почти, а рядом были даже кустики. Но я (по пьянке, видимо, поскольку раньше и потом я писал всюду и везде) подумал вдруг возвышенно и страстно, что я ведь не животное какое – нет, я человек, и я звучу гордо, и ничто человеческое мне не чуждо, и не буду писать я в кустах, как кошка, мама не тому меня учила. И я побрёл на этот склад, я полон был высокого сознания своей высокой правоты.

А дверь толкнув, я оказался в неожиданно большом и светлом зале, где по стенам аккуратнейше на стеллажах стояли книги в диком множестве, в уютных выгородках сидели люди за компьютерами – такая была смесь отменного сделанного магазина и издательства. Я закурил – никто не стал мне делать замечание, и потому я сигарету тут же потушил, и тут увидел, что сидевшие меня узнали: двое зашушукались, на меня глядя и улыбаясь, к ним подошёл третий, а с лестницы, ведущей на второй этаж, спускался торопливо человек, явно направлявшийся ко мне. А я – непроницаемо и вдохновенно смотрел на книги. И лучше я пописал бы в кустах, печально думал я.

– Вы Губерман? – спросил меня подошедший человек.

– Да, это я, – ответил я с достоинством, – а где у вас тут туалет?

Потом наш диалог мы обсуждали столько раз, что выходило – я спросил про туалет, когда он только подходил, то есть повёл себя, как Державин с Дельвигом при посещении Лицея, эта версия так льстит моему тайному тщеславию, что я согласен с ней, хоть видит Бог – я был взаимно вежлив.

– На втором этаже, – ответил человек, ничуть не удивившись. – А потом зайдите ко мне в кабинет.

И я зашёл, и протрезвел довольно быстро. Человек этот оказался владельцем замечательного издательства, и через полчаса я выходил оттуда с договором на трёхтомник, а всего там вышло уже шесть моих книг. Мы подружились (смею я надеяться) чуть позже, когда выпили в Москве, а после – в его городе, где я на кустики возле издательства ещё раз специально глянул, чтобы лишний раз подумать все о судьбе. Издатель этот – Саша – оказался человеком поразительной (прозрачной, редкостной) душевной чистоты. Забавно, что в Москве в один и тот же

день я кратко перекинулся словами, проверяя впечатление своё – с женой и Гришей Гориним. Жена моя, сторожко относящаяся к людям, и Гриша (был он скептик и мудрец) – со мной единодушно согласились. Потому я так серьёзно и воспринял Сашины слова, когда мы виделись в последний раз недавно – вам, сказал он, Игорь Миронович, свойственна странная гордыня, я уже несколько раз слышал от вас различные слова об избранности вашего народа – вы всерьёз так полагаете? По-моему, народы все равны.

Не стал бы я ни с кем вступать в бессмысленные споры, только тут почувствовал я настоятельную необходимость объясниться – что и сделаю сейчас, поскольку времени тогда не отыскалось.

Да, конечно, Саша, несомненно, правда, что народы все равны, однако есть неодинаковость, которую никак не утаить. И в этом смысле – полон я гордыни, Саша, ибо явно некими чертами так отмечен, что, похоже, – избран мой народ. И в том высоком, что давно и всем известно, и в том низком, что присутствует с такой же яркостью. Ведь любому глазу очевидно, что у человечества есть яркие носители полярных качеств – на обоих полюсах отчётливо заметен мой народ. А избран – отношением к нему других, историей своей кошмарной, так что не льготы эта избранность означила, а тягости и смерти. А вернуться если к полярности человеческих качеств, то и на том, и на другом полюсе умножены душевные черты на нашу дикую активность и энергию, уж не берусь я обсуждать её происхождение.

Опять в патетику я впал, а собирался что-нибудь снижающее пафос повестнуть. Вот о гордыне личной, например, – весьма одной запиской я горжусь, не помню точно, в каком городе я получил её:

«Игорь Миронович! Я пять лет прожила с евреем. Потом расстались, и я с той поры уверена была, что я с евреем на одном поле даже срать не сяду. А на вас посмотрела и подумала: сяду!»

Когда заведомое отношение есть к какому-то народу, то оно такие тонкие ходы в мышлении внезапно роет, что даёшься только диву, сколько творческого скрыто в человеке. Тут для коллекции большой соблазн, и я его, конечно, не избегну.

Тому назад двенадцать лет всё было, как сейчас, – кидали камни, жгли машины, взрывали автобусы с людьми, а винил тогда весь мир – конечно, нас самих. И вот один французский журналист, расспрашивая пожилого араба о бесчинствах оккупантов, сладострастно всё записывал – и как гонятся еврейские солдаты за невинными подростками, кидающими камни, и как жестоко разрушаются дома тех террористов, что и без того уже сидят в тюрьме за убийства, и всё прочее из обиходного набора той поры. Но был французом журналист, и потому спросил, естественно, – а не насилуют ли эти злобные еврейские захватчики арабских женщин. И ответил без раздумий собеседник, что

кошмаров много, но вот этого ни разу не было – нет, не насилуют. И с омерзением, презрительно сказал тогда француз:

– Какая ж это армия!

История вторая – из Баку недавних лет. На синагоге появилась за ночь надпись на стене – русскими буквами:

«Евреи, не уезжайте, вы наши братья! А будете ехать – пере-режем вас, как бешеных собак».

В главу о странностях любви хотел я эту надпись поместить, но здесь она на месте тоже.

На международной конференции советологов (или славистов) это было. Двое россиян в беседе кулуарной поливали евреев, на чём свет стоит, а их безмолвно слушал советолог (или славист) из Германии. Слушал-слушал этот немец двух коллег согласный диалог, потом не выдержало сердце, и сказал – как выдохнул, так страстно:

– Как я вам завидую, друзья, что вы имеете возможность говорить всё это вслух!

Всплыла история, которую люблю на выступлениях рассказывать – она как раз об отношении других народов. Мои приятели в Казани – много уже лет назад – оркестр уличных музыкантов сколотили (по содержанию того, что исполняют). И стал он одним из лучших в республике, мотаются они всё время по гастролям. Оказались как-то в небольшом городке, сыграли утреннюю репетицию в местном театрике – и вдруг сообразили, что до вечернего концерта запросто успеют выпить и отоспаться. Быстро покидали они свои нехитрые инструменты прямо в скверике возле театра, закупили выпивку и загуляли с полным удовольствием. И тут из воздуха образовался некий местный гражданин.

– Ребята, – спросил он, – это вы у нас сегодня выступаете в театре?

– Мы, – признались музыканты и певец.

– А я смотрю, вы что-то все евреи, – поинтересовался гражданин.

– У нас оркестр еврейский, – пояснили оркестранты.

– А я евреев уважаю, – оживился гражданин. – Как ни возьми хороших музыкантов – все евреи. А учёные – там математики, к примеру, химики и физики – опять евреи. Как хорошие учителя – опять евреи...

А уже вовсю разливалась по стаканам водка. Хотите? – предложили гражданину. Разумеется, кивнул он головой. Взял полстакана водки и продолжил наскоро:

– А как хорошие врачи – опять евреи.

Выпил свою водку, заел ломтем колбасы, вздохнул и заключил свой монолог:

– Но хитрые, падлы!

Благодаря вековечно похожему отношению к нам других народов и еврейские праздники обрели постепенно некое общее звучание. Сын одного моего приятеля нашёл точную общую

формулу проведения всех еврейских праздников. Она проста. Ведущий говорит:

– В таком-то и таком-то веке такой-то и такой-то деятель решил известить еврейский народ до единого человека. У него ничего не вышло. А теперь давайте покушаем.

Как раздражает даже в мелочах наша активность, расскажу короткий эпизод с актёром Леонидом Каневским (помните «Следствие ведут знатоки»? – это был пик его известности в Союзе). Он и сейчас ещё подвижен и экспансивен – в молодости он был подвижен, как ртуть, говорил громко, да ещё жестикულიровал. И в киевском автобусе он как-то разговаривал с друзьями. Очевидно, ему было хорошо и увлекательно, сыпались слова и двигались, им помогая, руки. И не выдержал шофёр автобуса. Он выключил галдящее радио и замечательные в микрофон сказал короткие слова:

– Развязно себя ведёте, Соломон!

Порою удаётся уловить совсем случайно те штрихи, нюансы, отблески, что сопутствуют образу еврея в так называемом коллективном сознании. Как-то в Берлине моего приятеля попросили поговорить с некой женщиной, настырно утверждавшей, что она еврейка, и поэтому община ей должна помочь. Он согласился с ней поговорить и, прежде всего, спросил, естественно, почему она уверена, что мать её была еврейка. Потому что мать моя на пасху всегда пекла мацу, ответила женщина.

– И как же она её пекла? – спросил приятель.

– По закону, как все, – ответила женщина, – замешивала тесто, клала дрожжи...

Мой приятель чуть подёрнулся неосторожно, и женщина с готовностью сказала:

– Добавляла чуточку крови...

Я из романа своего «Штрихи к портрету» вытащу сюда одну историю, рассказанную мне старым зэком. Было это в лагере на Северном Урале где-то в начале пятидесятых годов. В бараке вечером однажды завязался спор, какой национальности людей больше всего сидит по лагерям. Кто-то немедленно сказал, что русских, но его остановили, пояснив, что следует считать в пропорции к количеству этой нации во всей империи. Тогда кто-то сказал, что грузин – ибо кавказцев было много в лагере, но разные они собой народы представляли. Опытные зэки быстро согласились, что, в пропорции если считать, то более всего сидит евреев. Пожилой украинец, молча лежавший до сих пор на нарах, услышав это согласное мнение, с омерзением сказал:

– Какая нация: всюду пролезет и своих протащит!

Эти дивные слова мне ключевыми кажутся и для споров об активности в революции, и при обсуждении количества Героев Советского Союза в войну, и для многого, многого прочего. Забавно прочитать мне было как-то (в «Нашем современнике», естественно) о периоде борьбы с космополитами и дела врачей. Немыслимые выпали евреям унижения тогда: кто испугался, кто

поверил, кто воспользовался. Вся та боль, нанесенная целому народу, рассосалась и растаяла вместе со временем. И вот уже мыслитель из почтенного публицистического дома пишет, об эпохе той вспоминая, что даже в те года, какой из списков ни возьми с лауреатами Сталинских премий – чуть не треть из них окажутся евреями – кто явный, кто не сразу угадаешь. Конечно! А куда же было деться от кошмарной этой нации, весь разум свой, все силы и усердие отдавшей этой дьявольской империи. Есть у меня одна угрюмая и еретическая убежденность: если б Гитлер свою ненависть к евреям придержал до некоей поры, то неисчислимое количество евреев так же озаренно и старательно работали бы на Третий рейх.

Веский довод в пользу этой мрачной убежденности моей: нам свойственна беззаветная слиянность с духом той эпохи и того народа, где застали нас рождение и зрелость. Не случайно все века Арабского халифата, где евреи жили полноправно и спокойно, лучшие еврейские поэты и философы писали на отменном арабском языке, в Германии они такими стали немцами – достаточно назвать хотя бы Гейне, а в России так они восприняли дух разрушения во имя справедливости и счастья сразу всех, что страшно вспомнить их кошмарную активность. А понимал ли кто-нибудь из них, что обречён? Навряд ли. Так же, как они навряд ли это понимали бы, трудись они на Третий рейх.

А что касается нашей пресловутой житейской сметки (видеть наперёд – её естественное свойство) – я только напомним, как в тридцать девятом году Жаботинский распинался в голос, объясняя польским евреям, что из Германии идёт к ним смерть, и надо уезжать куда угодно. Был освистан, даже назван был фашистом горяча, сегодня вспоминать об этом дико и необходимо.

А теперь поговорим о нашей мрази – я бы с мелкой начал. В первые же дни приезда нашего в Израиль позвонил мне полужнакомый (виделись единожды) осведомлённый доброжелатель и спросил, а были ли у меня за время литературской жизни в России – книги, почему-либо зарезанные.

– Ого-го, – сказал я радостно и горделиво. – Целых три, а если и статьи прибавить, то с лихвой четыре наберётся.

– А за что их зарезали? – задал мне доброжелатель странный для меня вопрос.

– Как это за что? – спросил я ошарашенно. – Я ж тогда все умственные силы клал, чтобы сказать о советской власти всё, что я о ней думаю. За навязчивые ассоциации, они тогда аллюзиями назывались, так что, в сущности, за попытку оклеветать наш дивный строй, они меня по делу резали, понять их можно.

– Вы забудьте это, – мягко посоветовал доброжелатель. – Напишите, что вас резали как еврея, что вы – жертва государственного антисемитизма, это очень вам поможет в получении различных льгот.

– Вы что, с ума сошли? – спросил я грубо. – Для чего же мне так низко лгать?

– Я вам добра желаю, – сказал доброжелатель с лёгкой обидой. – Я от всей души.

Ещё потом он жаловался общим друзьям на мою хамскую неблагодарность. И был прав, конечно.

А мотив этот я вспомнил уже лет пять спустя в одном российском городе. Ко мне явился за кулисы местного театра некий средних лет еврей, знакомый моих знакомых, так что сразу доверительно попросил о помощи. Чем могу, ответил я с готовностью. Был у него посажен сын – по чистой уголовке – за растрату и за воровство, на коем схвачен был с поличным, – и ничем тут с очевидностью помочь было нельзя.

– Так чем же я могу быть вам полезен? – спросил я недоуменно.

– Вы сейчас такой заметный человек, – терпеливо объяснил мне горестный отец, – что вас может принять посол Израиля.

– И что? – не понял я.

– И можно возбудить скандал, что садят еврея, – человек даже понизил голос от уважения к идее.

Я уже всё понял, но спросил на всякий случай с тупостью, простительной эстраднику:

– Но посадили ведь его за воровство, а не за еврейство?

Уже готов я был сказать различные слова, но человек на меня глянул и ушёл. А привкус у меня от той беседы ещё долго сохранялся.

Густ поток подобных спекуляций, и подробней говорить об этом – тошновато. Думаю, что меня уже поняли.

А что касается людей с размахом мерзости повыше, то у каждого народа есть своя такая мразь, и тут гордиться нашей избранностью мне никак не выйдет. Нет, я вру, и с радостью хватаю себя за руку. А про потоп сегодняшнего криминала что же ты забыл? И это правда. Я как бы должен осуждать неслыханный поток бандитов и воря, весь мир сегодня захлестнувший, выльясь с необъятных просторов первой в истории страны социализма, – что ж, если кто-нибудь настаивает, я их осуждаю. Хотя глупо осуждать естественные, как землетрясение, почти природные процессы. Снова среди этого потока – невероятное количество нашего брата, и я, о них читая, с неправедной гордыней думаю порой: какие ж вы талантливые, падлы!

Я вообще хочу сказать, хотя греховность этой мысли сознаю, но я уверен, что обилие жулья с размахом – это веский признак живости народа в целом.

Нет, повторю я снова, мне ничуть не стыдно за слепых и воспалённых комиссаров тех далёких лет, не стыдно за людей, насквозь пропитанных тем губительным высоким духом разрушения, что поразил тогда насквозь Россию целиком. Но неужели из сегодняшних никто не вызывает во мне чувство омерзения, а следовательно – и стыда за соплеменность? Нет, есть один. О нём я расскажу немедленно.

Он, несомненно, умный человек, поскольку таковым не будучи, никак нельзя играть того шута и агрессивного придурка, какого он давно уже играет, с бесцеремонной оживлённостью суюсь во все дискуссии, проблемы и отверствия. Сейчас, по счастью, спала и затихла его бурная известность, а было время – в каждом зале города любого шли записки (штук по пять, по шесть) с одним вопросом – как я отношусь к Жириновскому и что я думаю о нём. Казалось бы, всё очень просто: отношусь я к нему крайне плохо, а думаю и того хуже, потому что этот фюрер для бедных – натворить такого может, что Россия, ужаснувшись и опомнившись, немедля вспомнит о его еврействе. Но я, однако, иностранец, никаких советов я давать не вправе, а предупреждать и пророчествовать – вовсе глупо и бессмысленно. Я отделялся неким давним стишком, который по счастливой случайности подходил Жириновскому с полной определённости:

*Среди болотных пузырей,
надутых газами гниения,
всегда находится еврей –
венец болотного творения.*

И зал смеялся неизменно, а я тоскливо думал всякий раз: откуда же берутся миллионы, что голосуют за этого опасного шута?

Так повторялось много раз, и тут судьба решила поиграть со мной – подсунула мне встречу с Жириновским. Будучи в Москве однажды, пришёл я в Дом литераторов на обсуждение последней книги одной замечательной негромкой писательницы. Забавно, что и книжка та была – о фашизме. Говорилось и о его перспективах в России. Будучи курильщиком отъявленным и злостным, больше часа я не утерпел и вышел покурить в фойе. Купил себе десяток книг в ларьке у двери (это существенная для дальнейшего деталь), положил их на стоявший там же столик и блаженно закурил, наблюдая краем глаза за книгами, дабы коллеги их не спёрли. Кто-то подошёл поговорить, и я услышал, что в соседнем (большом) зале происходит встреча российских писателей с Жириновским. Я, разумеется, остался его ждать, и сигареты через две он появился. Три телохранителя в комиссарских кожанках плотно окружали его. А он – с его лицом и в местечковом картузе – смотрелся среди них, как пожилой еврей, арестованный за сокрытие ценностей. Я подошёл к нему и вежливо представился. Сказал, что я живу в Израиле, что литератор, и мне жаль, но нету с собой книжки, чтобы подарить ему (а про себя подумал: и была бы – я бы тебе хер её подарил), и что хотел бы увезти с собой его автограф. Эту речь я вовсе не готовил, мне хотелось только поглазеть, и для чего я вдруг к нему попёрся – сам не понимал я, и с немалым удивлением слушал, что мелю. И для чего автограф?

Жириновский наклонился к невысокому плотному человеку средних лет – по виду явно литератору и устроителю всей встречи, и тот быстро и жарко нашептал ему на ухо что-то хвалебное в мой адрес. Ибо с обаятельной улыбкой мне Владимир Вульфович сказал:

– Конечно. Давайте мне любую книгу, я вам с удовольствием распишусь.

Таким он выглядел приветливым, наивным, кротким и простым, что я, за книжкой метнувшись, ощутить успел своё коварство, вероломство и творимую подлянку. Ибо я через секунду возвратился с только что вышедшей тогда в Москве книжкой – «Дневники Геббельса». Я даже распахнуть её успел: на Жириновского смотрел пустой белый лист, на котором как раз и ставят автографы. Глаза мои лучились чистотой и интересом к государственному мужу.

Но Жириновский посмотрел, какую книгу я принёс, мне протянул её обратно и сказал слова, от которых душа моя облилась блаженством, ибо я мгновенно себе представил, как сегодня же на пьянке буду их рассказывать друзьям, а мне не будут верить. Он сказал:

– Вы знаете, я тут никак вам не могу поставить подпись, меня и так о нём всё время спрашивают.

Я молча метнулся за другой книгой, это оказался Розанов, и Жириновский, повертев её в руках и сомневаясь, поставил подпись. Книгу я привёз домой. А вся история стала цветком в букете моих эстрадных баек. Ибо я рассказываю только правду, а она – намного ярче вымысла.

Да, милый Саша, мы такой народ – даже способное отребье крупной масти мы поставляем яркое и энергичное.

В Израиле заметно снижен наш накал. Дух левантйской беззаботности, беспечности и всякого такого – сильно овекает нас, и кажется порой, что всё-таки еврею жизненно необходимо явное и тайное сопротивление среды. Нет, оно есть и тут, но тут оно совсем иное. Я довольно скоро по приезде эту ситуацию почувствовал, но сформулировать боялся, опасаясь, что незнание языка толкает меня к неверным обобщениям, на которые я права не имею. Но однажды натолкнулся на статью раввина Адина Штайнзальца, одного из мудрейших людей нашего времени, и там я просто прочитал слова, которые не смел произнести даже во время дружеского трёпа. Я сейчас большую выпишу цитату, лучше всё равно я не скажу. И то, что выше я писал, тут будет лаконично и весомо.

Сперва Адин Штайнзальц отмечает нашу сложившуюся за века «поразительную способность видоизменяться, приспосабливаться, становиться похожими на тех людей, среди которых мы живём». Но, пишет он далее, «Наша адаптация – это внутреннее преобразование... Мы не просто обезьянничаем, а становимся частью этого народа... Это вызывает обиду и возмущение. У других народов складывается ощущение, что евреи...

изошрённо похищают у них душу и таким образом становятся их национальными поэтами, драматургами, художниками, а через некоторое время – устами и мозгом их народа. Мы становимся большими англичанами, чем сами англичане, большими немцами, чем сами немцы, большими русскими, чем сами русские...»

О, как я это знаю по собственным ощущениям! А в том числе – и по любви к России, которая незыблемо во мне живёт и болями сегодняшней России мучает. Теперь я очень далеко и лишь поэтому могу себе позволить вслух в своей любви признаться, там это было стыдновато, там позволяли себе вслух об этом говорить (в корыстных целях – и кричать) только рептилии различного пошиба. Но продолжу.

Зафиксировав это уже общее место, пишет далее раввин Штайнзальц: «Основатели Израиля мечтали создать здесь новый тип человека... Этот человек, унаследовав духовное величие прошлого, должен был приобрести черты, которых, по мнению евреев, ему прежде всего не хватало – физическую силу, прямоу, умение сражаться и сражаться хорошо, способность жить оседлой жизнью в своей стране... И они преуспели. По правде говоря, даже чересчур преуспели... Появилось поколение, у которого есть масса превосходных качеств. Но до чего же оно странное! Черты, которые считались типично еврейскими, – гибкость ума, утончённость, обширные знания, самокритичность, – качества, которые были частью нашей сути, исчезли».

Я разрывал пространный текст, чтоб обнажилась ярче горькая, пронзительная мысль статьи: израильский еврей – нечто иное, нежели тот образ, что сложился в нас за годы жизни в России. Удивительно ёмко и лаконично обо всём этом сказала дочь одной моей знакомой. Дочь сюда приехала пятнадцати лет, закончила тут школу, вольно и свободно чирикала и писала на иврите, полностью влилась в местную жизнь. И вдруг через шесть лет решительно собралась возвращаться в Питер. И на все разумные резоны матери отвечала полным с ней согласием.

– Но в чём же тогда дело? – обескураженно спросила мать.

И дочь, слегка подумав, ей ответила:

– Но, мама, где же я себе найду здесь князя Мышкина?

На мой взгляд это сказано так точно, что любые комментарии только опошлили бы веский довод.

Из-за этого нам часто трудно здесь и часто ощутимо чужеродно. Даже несмотря на чувство дома, замечательно интимное чувство. Столь же мной владеющее до сих пор, когда я попадаю в Россию. Мне крепко повезло: душа моя, не разрываясь, ощущает родиной обе страны. Правда, российские квасные патриоты утверждают с давних пор, что евреи продали Россию, но так как я своей доли денег пока не получил, я числю эту родину своей.

А как изменится в Израиле наш облик дальше – не берусь гадать или предсказывать. Сегодня всюду множество пророков и провидцев – им и карты в руки. Я же лучше приведу слова одно-

го своего знакомого, который держит в Иерусалиме магазин со всякой вкусной пищей, и внутри там на стене висит плакат с отменным текстом:

«Евреи были, евреи есть, евреи будут есть!»

Уже идёт к концу эта глава, и вспомнился мне бедный Лев Толстой. Всю силу гения своего отдал он нравственному улучшению – всеобщему и своему в том числе. И в процессе заведомо обречённых стараний этих будто бы (за достоверность не ручаюсь, лень было искать) он записал однажды где-то в дневнике слова печальные и твёрдые (я прослезился, их услыша, от умиления и сострадания к душе его великой): «Трудно любить еврея, но надо!»

Это, конечно, трогательно очень, только совершенно и категорически излишне. Лично вот меня любить не надо – я не доллар и не юная девица. Имею я огромное количество различных недостатков. Среди которых (не последний) – непомерная гордыня, что принадлежу к незаурядному и ярко одарённому народу.

Поэтому время от времени я закрываю глаза и с наслаждением слушаю безостановочное шуршание плавно текущего по свету всемирного еврейского заговора.

ЧТО НАМ В НАС НЕ НРАВИТСЯ

Кто бы там и что ни говорил, а самая поразительная еврейская черта – это, конечно, неприязнь к евреям. Ни один в мире народ не сочинил сам о себе такого количества анекдотов, шуток и издевательских историй. Из них, на мой взгляд, лучшая – как Моисея некогда спросили, почему он, выведя евреев из Египта, после этого сорок лет водил их по пустыне. И немедля якобы ответил Моисей:

– А с этими людьми мне было стыдно ходить по центральным улицам!

Любое возражение, что, может быть, такие шутки сочиняют некие отъявленные юдофобы, – не проходит, ибо я и лично знаю множество подобных сочинителей, и сам давно уже принадлежу к их числу, чего нисколько не стыжусь. И более того, мне кажется, что смелость смеяться над собой – такая ценная особенность, что надо ею гордиться, ибо есть в ней верный признак и душевного здоровья нации, и жизнеспособности её. Однако же – одно дело смеяться, а другое – воспалённо осуждать. А мы и в этом сильно преуспели. Где-то я прочёл идею, что возникла в нас эта способность (или склонность) ввиду как раз необычайнейшей пластичности нашего народа: мы, дескать, веками живя в разных странах, живо перенимали и впитывали все психологические особенности коренного населения, а в том числе – и взгляд на нас, пришельцев. Как бы выучились мы смотреть на себя отчуждённо, сторонними глазами, а уж тут – чего хорошего

увидишь. И отсюда будто в нас такое ревностное самоосуждение. Возможно, спорить не берусь. Я вообще не спорю никогда с высоколобыми глубокими суждениями о чём бы то ни было. Они обычно сами выдыхаются со временем. Но не берусь я предложить и никакую собственную гипотезу, поскольку сам с собой обычно не согласен. Просто мне охота поболтать на эту щекотливую и занимательную тему.

Среди такого рода книг стоит особняком и сильно выделяется некогда знаменитая книга Отто Вейнингера – «Пол и характер». Жизнь этого философа, короткая и странная, длилась всего двадцать три года. В самом конце девятнадцатого века принялся он обучаться в Венском университете, кроме философии, попутно изучая биологию, физику, математику и психологию. Ещё студентом будучи, он стал писать свою книгу, а издав её, с собой покончил. Было это в 1903 году. Мучила его депрессия, и с нею он не справился. А для самоубийства выбрал он известную венскую гостиницу, тот номер, где за несколько десятков лет до этого скончался Бетховен.

Вся книга Отто Вейнингера – о различии мужчин и женщин. И мужчины все – носители добра, а женщины – наоборот. И до такой, представьте себе, степени, что «наиболее высоко стоящая женщина всё же стоит бесконечно ниже самого низкого из мужчин». Признаться честно, у меня такое убеждение клубилось некогда (мне изменила одна чудная подружка), только оно длилось около недели, потому что я другую встретил – совершенство, и моя по женской части мизантропия исчезла без следа. Я боюсь, что молодого Отто сходная постигла ситуация, но он глубокий был философ, и из краткого отчаяния выбраться не смог. И книга о женщине как воплощении всемирной пустоты и зла – осталась человечеству в наследство.

О евреях там большая интересная глава. Честно признавшись, что он сам из этого народа, Отто Вейнингер, не обинюясь, заявил, что всё еврейство в целом – это некий бездуховный и аморальный элемент, проявляющий женское начало в его худшем виде. Ибо евреи тяготеют к коммунизму, материализму, анархизму и атеизму. Перечень отменный, правда же? И что-то в этом есть. Чтоб избежать соблазна комментариев (а хочется – кошмарно!), я в дальнейшем только самые мои любимые цитаты приведу.

«Евреи, как и женщины, охотно торчат друг возле друга, но они не знают общения друг с другом ... под знаменем сверхиндивидуальной идеи».

«У истинного еврея нет того внутреннего благородства, которое ведёт к чувству собственного достоинства и к уважению чужого «Я».

«Евреи и женщины лишены юмора, но склонны к издевательству».

«Он (еврей – И. Г.) подобен паразиту, который в каждом новом теле становится другим ..., тогда как он остаётся тем же».

Евреи семейственны (они хорошие семьянины), потому что семья – это «женское материнское образование, которое ничего общего не имеет с государством, с возникновением общества».

А так как Отто Вейнингер ещё очень не любил англичан, то в этом месте написал он, что англичане – «в известной степени родственны евреям». Бедные англичане, подумал я с сочувствием, так не вовремя попались под руку.

Но, невзирая на семейственность, – «нет ни одного народа в мире, где было бы так мало браков по любви, как у евреев: ещё одно доказательство отсутствия души у настоящего еврея».

Еврей – «не особенно добр, не особенно зол, в основе же своей он ... прежде всего – низок».

«Еврей, подобно женщине, нуждается в чужой власти, которая господствовала бы над ним».

«Еврей – это бесформенная материя, существо без души, без индивидуальности. Ничто, нуль. Нравственный хаос. Еврей не верит ни в самого себя, ни в закон и порядок».

«Еврей – это разрушитель границ». Я тут не удержусь от комментария, поскольку на мой взгляд и вкус последнее утверждение – высокая и важная хвала. Но в юном мыслителе возобладал австрийский дух.

«Еврей не испытывает страха перед тайнами, так как он их нигде не чувствует. Представить мир возможно более плоским и обыкновенным – вот центральный пункт всех научных устремлений еврея».

«Этот недостаток глубины объяснит нам, почему евреи не могут выделить из своей среды истинно великих людей, почему им ... отказано в высшей гениальности».

Ну что, евреи, огорчились? То-то же!

И ещё одна, последняя цитата. Боже мой, как неохота мне её сюда писать, я вижу пронизательные и насмешливые взгляды, устремляемые прямо на меня, и я поёживаюсь зябко, только внутренняя честность не даёт мне выкинуть слова из этой дивной песни:

«Еврей никогда серьёзно не считает что-либо истинным и нерушимым, священным и неприкосновенным. Поэтому у него всегда флиртующий тон, поэтому он всегда надо всем острит».

Я не собираюсь вступать в дискуссию с бедным покойным философом, гораздо интереснее мне в этом перечне какое-то смутное звучание правды – например, о нарушении границ.

Я абсолютно убеждён (а если довелось бы спорить, то готов поставить любую свою ногу против кочана капусты), что и мерзкую идею о делении народа на евреев и жидов – сочинили наши соплеменники. В ней ярко светит подлое и жалкое желание любой ценою отделить себя от вековой участи народа, заранее обезопаситься и упасть таким психологическим предательством. У моей уверенности об авторстве этой идеи есть очень личное, глубинно статистическое подтверждение: десятками встречал я человеческую гнусь, которая эту идею прокламиро-

вала, и ни разу мне такого не сказал достойный человек. Это весьма удобная психологическая щель для неудачников, для прохиндеев, для завистников и всех, кто ищет крайнего в невзгодах своего существования.

Однако, вовсе и совсем не только для таких. Ибо весьма способные, даже талантливые, успешливые и по жизни состоявшиеся люди – своего еврейского происхождения чурались, от него пытались откреститься. Последнее слово – не каламбур, а некая реальность, ибо не только предпочитали эти достойные люди умалчивать своё еврейство, но и крестились, дабы христианством его как бы зачеркнуть. В 1930 году некий немецкий философ Теодор Лессинг выпустил книгу под названием, исчерпывающе точно обозначившим эту психологическую загадку: «Еврейская самоненависть». Он описывал этот феномен на примерах известных деятелей немецкой культуры, то есть людей отнюдь не тёмных и способных осознать своё стремление порвать с еврейскими корнями – одновременно с глубинным ощущением своего неискоренимого еврейства. С той поры, как мне рассказывали сведущие люди, появлялись разные и книги, и статьи о том же самом, но, увы, – мне эта вся литература напроць недоступна. Поскольку я не шпяхен, я не спик и не парле, а на русском языке такое появиться не могло. И мне из-за невежества и темноты моей до множества вещей приходится доходить своим умом, который тоже ведь – увы – не безразмерные колготки. Однако же домыслить, как проистекают и клубятся душевные метания такого рода, – можно и воображению доступно.

Только сразу откажусь я от идеи, выдвинутой неким Барухом Курцвайлем, автором книги «Ненависть к самим себе в еврейской литературе». Нет, я этой книги тоже не читал, поэтому я уподоблюсь тому ныне знаменитому слесарю, который поносил книгу Пастернака, честно и неосмотрительно признавшись, что в глаза её не видел. Но у меня есть некая ключевая цитата из этой книги, так что я вполне могу понять, о чём там речь: «Для еврея, утратившего веру в своё духовное призвание, становится сомнительным и отвратным его физическое бытие». Теперь доступен он любому поруганию и (почему-то) склонен разделить мнение окружающих о своём народе. Нет, я это не намерен обсуждать, поскольку убеждён, что вера в богоизбранность свою и своего народа, искреннее соблюдение обрядов – это текст из оперы совсем иной, хотя спасительной для самоуважения, но к нашей теме мало относящейся.

Но вторит этому угрюмый голос мрачного писателя Йосефа Бреннера (начало прошлого века): «Можем ли сами мы не принять приговора тех, кто нас презирает? Поистине мы достойны этого презрения... Можно ли не ненавидеть такой народ? Не презирать его?.. Можно ли, видя его перед своими глазами, не поверить любым, самым гнусным наветам, которые возводились на него издревле?»

Таких тоскливых откровений – многое множество у самых разных авторов-евреев. Сколько мы такого же слышим на бытовом уровне – знает и слышал каждый. Что ж это такое и откуда?

С той поры, как психолог Адлер ввёл понятие о комплексе неполноценности, этот удобный для употребления ярлык принялись клеить куда ни попадая, но к нашей теме он действительно имеет прямое отношение. С ранних лет и в большинстве стран света ощущает юный еврей свою чужеродность окружающим сверстникам. Ему о ней напоминают, именно о ней талдычат ему родители: есть у тебя изъян, ты должен быть усердным и старательным гораздо более, чем остальные. Люди маленького роста, с косоглазием и хромотой, заиканием или иными недостатками – стандартные обладатели комплекса неполноценности. Им свойственна злость на себя, придирчивый стыд за свои истинные (или мнимые) изъяны, и они всю жизнь их как-то компенсируют. Добиваясь утешающего их успеха в самых разных областях. Я в это не буду углубляться, я только напомним о Демосфене, который боролся со своим врождённым косноязычием так усердно, что сделался знаменитым оратором. И забыл начисто о своём когдатошнем недостатке, как забыл о своём маленьком росте тот артиллерийский офицер, который стал Наполеоном. Но с евреем вечно остаётся его происхождение, а вокруг и рядом – вечно остаётся шустрый и нелюбимый никем народ, к которому он от рождения принадлежит. И принадлежность эта – начинает его больно тяготить. И его ход мыслей (а точнее – ощущений) мы легко (хотя и очень приблизительно) можем себе представить. Попробуем?

Я довольно много добился и достиг в этой нелёгкой жизни. Мои способности, моё усердие, моё желание не быть последним, чем бы я ни занимался, – принесли свои плоды. Я – нужный и уважаемый член этого общества, что бы я о нём ни думал. Разумеется, в стране, устроенной разумно, я достиг бы много большего и меньшими усилиями, но я родился тут и здесь живу. Всё хорошо и правильно, за исключением того, что я всё время помню: я – еврей. А я ведь настоящий русский (немец, англичанин, француз, испанец). Я владею языком намного лучше большинства коренного населения этой страны, я в точности такой же по одежде, по привычкам, поведению и отношениям с людьми. Литература и история этой страны – родные мне, они запечатлелись у меня в душе и памяти. Я нужен здесь и уважаем всеми, с кем общаюсь. И одновременно я чужой. Неуловимо я другой, чем те, с которыми хочу быть настоящим земляком. Они это знают, чувствуют и часто, слишком часто дают почувствовать и мне. Поскольку я еврей. И самое обидное, что я себя евреем ощущаю. И друзья мои ближайшие – евреи. С ними мне легко и интересно. Только это дополнительно воздвигает стену между моей дневной, распахнутой, и вечерней, чуть укромной жизнью. Почему мы так и не сумели раствориться? Почему на нас на всех так явственно клеймо (иного не найду я слова) при-

надлежности к той нации, которую никто нигде не любит? И вполне заслуженно, если поближе присмотреться. Эти юркие, пронырливые, цепкие, настырные, бесцеремонные до наглости, всюду проникающие люди – неужели я такой же только потому, что я из этой же породы? Самоуверенность, апломб, неловко скрытое высокомерие – с непостижимой лёгкостью сменяются у них пугливостью, униженным смирением, готовностью терпеть обиды и сносить насмешки. Втираются они всюду, куда только удаётся втереться. Корыстолюбие, угодливость, услужливость – и тут же назойливая тяга к равенству, хотя своим они готовы помогать в ущерб всему. А нескрываемая их симпатия друг к другу и стремление кучковаться среди своих? По самой своей сути торгоши, они готовы заниматься чем угодно во имя процветания и прибыли. За евреев-проходимцев мне так стыдно, словно это моя близкая родня. За что же мне такое наказание? И в том, что их не любят все и всюду – что-то есть, дыма без огня не бывает, невозможно, чтобы ошибались сразу все, везде и все века подряд. Нет, нет, ассимиляция и растворение – единственное, что способно выручить мой низкий и самоуверенный народ. Пусть станет он таким, как я, и я тогда смогу не стыдиться своей к нему принадлежности.

Обо всём этом с разной степенью сдержанности и страдания говорили и писали люди разные – а для примера назову я столь несхожие имена, как Карл Маркс и Борис Пастернак.

Такое вот стремление и невозможность слиться с окружением – терзают, как мне кажется, довольно многих. Сам я это в молодости кратко пережил, потом ушло – и навсегда, к счастью. Никаких осознанных усилий я к тому не приложил, мне просто повезло.

Когда же это с нами началось? И почему именно с нами так случилось?

Отвечу я сперва вопросом на вопрос: когда, читатель, по твоему просвещённому мнению, прозвучало в первый раз зловещее предупреждение о том, что евреи потихоньку завоёвывают мир?

Не напрягайся, друг-читатель, и не торопись, ты всё равно не угадаешь, ежели не знал заранее. Этот вопрос я задавал весьма осведомлённым людям. Называли мне в ответ века, довольно близко отстоящие от нашего времени. Теперь цитата (честное слово, подлинная):

«Еврейское племя уже сумело проникнуть во все государства, и нелегко найти такое место во всей вселенной, которое это племя не заняло бы и не подчинило своей власти».

Эти слова написал историк и географ Страбон в первом веке до новой эры! Вот ещё когда всё стало ясно умным людям! Так что мифы христианства только усугубили замеченное много раньше.

Очень, очень рано принялись бежать евреи с того клочка земли, где я сейчас сижу, беспечно разглагольствуя о преврат-

ностях национальной судьбы. Этот клочок земли непрестанно топтали орды завоевателей, и в поисках покоя и благополучия отсюда люди уходили. Надо ли говорить, что на такое отваживались люди сильные, активные, готовые трудиться и отстаивать своё существование. Очень часто – с острой авантюрной замашкой. Это были не беженцы (когда бегут, то все подряд и без разбора личных качеств), это были переселенцы-эмигранты, изначально готовые к нелёгкой участи пришельцев. Было их довольно много. Ещё до Вавилонского пленения в Вавилонии жило такое же приблизительно количество переселившихся евреев, как в самой Иудее. Скапливались они и в других окрестных государствах. Всюду в те века было немало пришлых людей, и к ним терпимо относились, но евреи почти сразу оказались исключением. Они упрямо соблюдали свои странные обряды (обрезание, субботу), поддерживали своих и проявляли раздражавшую других сплочённость. Самое же главное – преуспевали, процветали, а отдельные из них достигали разных административных высот, что уж вовсе непристойно для инородцев. То есть, говоря короче, было всё, как и сейчас – а это ли не повод для неприязни? Славились они в те времена как отменно храбрые и верные солдаты – им, бывало, поручали самые опасные – пограничные гарнизоны. Тут непременно приведу я некое забавное свидетельство: писатель того давнего времени Аполлоний Молон не любил евреев так страстно, что пытался опровергнуть общее мнение об их воинской храбрости. Это не храбрость, написал он презрительно, это «безумная и дерзкая отвага». Такая репутация была у наших предков. Не чураясь никакой возможности выжить, занимали они те щели и лакуны, в коих запахло было работать коренному населению, – к примеру, охотно служили в таможах и жандармерии на речных торговых путях (это уже в Греции). И торговали, разумеется, повсюду – обвинение в коммерческой недобросовестности возникло почти немедленно. Конечно, не были они святыми в этом смысле, только с греками им было не тягаться, замечает автор книги, из которой я сейчас обильно дёргаю удобные мне факты.

Историк античности Соломон Лурье написал свою книгу «Антисемитизм в древнем мире» ещё в начале двадцатых годов. Много лет назад она ко мне случайно попала, и я был просто потрясён тем, насколько ничего не изменилось. Автор цитировал и анализировал сохранившиеся древние тексты и бесчисленные книги своих коллег, настроенных и за, и против. На каких-то страницах этого сухого академического текста я заливался смехом: например, одним из самых распространённых обвинений того времени было еврейское нахальство. Под этим словом подразумевалась та бесцеремонная активность, коей и по сию пору славен мой народ. Но более всего пугало древних единение евреев. Вот как пишет об этом сам Лурье: «Это еврейское государство без территории, эта сплочённость, солидарность и

тесная кооперация вызывали сильнейшее недоверие и страх в античном обществе».

Словом, я там вычитал довольно много и советую другим. Но я пока что непростительно отвлёкся от той темы, которую затеял. А забрёл я в эту историческую даль только затем, чтобы сказать пустые и банальные слова: всегда так было, и неприязнь (до ненависти доходящая) других народов – многие столетия обжигала, отравляла и подтачивала наши души. А мифы христианские – они только добавились к тому, что уже было многие столетия до них. И безнадёжное желание и жажда быть, как все – одно имели утление и выход: согласиться, что евреи – в самом деле пакостный и вредный человечеству народ. И начинали мы смотреть глазами наших осудителей. И смотрим до сих пор, если признаться честно. А такого рода взглядом можно многое увидеть, ибо мы и впрямь весьма разнообразны и полярны в наших качествах (выражаясь мягко и осмотрительно). К тому же очень ярки мы и интенсивны как в высоких, так и в низких проявлениях. Наблюдая взглядом пристальным, к тому же заведомо неприязненным (в силу вышеназванных мотивов), каждому легко и просто углядеть лишь низменную часть. Отсюда – и такое редкостно огромное количество хулы в свой адрес.

Тут читатель памятный с лёгкостью схватит меня за руку: так ты ведь изложил как раз ту точку зрения, что ты упоминал в самом начале – дескать, от большой психологической пластичности мы просто смотрим на себя глазами окружающих. Нет, отвечу я, разница есть. То пристальное и зоркое (сплошь и рядом – осудительное) отношение к собственному народу, которое я описал только что, – проистекает из желания видеть лично себя в лучшем свете, как бы отделиться и обособиться от мало симпатичной общей массы, кажущейся слитной неприязненному взгляду. Я не такой, как эти, я хороший, хоть я и еврей. Такое отношение к восточно-европейскому еврейству открыто культивировали, например, немецкие евреи, полагавшие себя такими культурными и высокоразвитыми, такими немцами, что вовсе были им не соплеменники те тёмные замшелые евреи, что, к примеру, жили в Польше и на Украине. Что судьба их оказалась одинаковой, не стоит и напоминать. Короче, я о том, что наше осудительство своих – оно от острого желания возрадоваться собственному иллюзорному слиянию со всем человечеством. Когда б на это человечество мы посмотрели столь же пронизательно, у нас это желание весьма ослабло бы. Но мы ко всем подслеповато снисходительны. И мы веками жарко жаждем слиться с большинством. Увы, но так устроен человек, не мне его за это порицать.

В Израиле нас ожидало болезненное сокрушение мифа о вневременном единении еврейства. Наша пресловутая пластичность сыграла с нами забавную и горестную шутку: сюда приехали евреи самых разных национальностей. Нет, я нисколько не оговорился: приехали яркие представители тех народов, среди кото-

рых они жили. И трещины разлада и непонимания тут пролегают по линиям совершенно неожиданным. Евреи светские и евреи религиозные, евреи восточные и западные. Ибо евреи из Марокко и Узбекистана, из России и Йемена, из Эфиопии и Грузии – так похожи на народы тех стран, откуда вышли, что порой с трудом находят общий язык, и лёгкий оттенок снисходительного презрения витает в наших разговорах друг о друге. Те слова, что говорят порой о соплеменниках российского разлива разные высокие раввины (люди с очевидностью глубокой веры и столь же недалёкого ума), – составили бы счастье для любой черносотенной печати. Но невидимые миру трещины проходят и между евреями религиозными, ибо сильно разветвились за века их религиозно-партийные пристрастия. Запрет на осуждение друг друга соблюдают они тщательно и прочно, только нет-нет, а проскользнет их подлинное отношение к позорно заблуждающимся единоверцам. А порою этот чисто идеологический разлад всплывает вдруг отчётливо и ярко. И тогда такое можно прочесть, что хочется составить том по типу тех, что называются «Евреи шутят», и назвать эту заведомо толстую и удивительную миру книгу – «Свод еврейской глупости». Я поясню это простым примером.

В городе Харькове живёт некий почтенный еврей Эдуард Ходос. Он человек почтенный в полном смысле слова, ибо возглавляет городской Еврейский Совет. Человек видный и состоятельный, он часто даёт интервью и даже написал две книги (у одной из них – знакомое название: «Моя борьба»). У него есть лишь одна, чисто человеческая слабость: он не любит хасидов. Но не всех, а именно хасидов Любавичского Ребе (который основал движение Хабад). Так вот, в одном из интервью он объяснил читателям, что Монику Левински натравил на ширинку президента Клинтона именно Хабад, поскольку это был один из способов скинуть Клинтона и подвинуть ближе к власти государственного секретаря, который втайне сам – хабадник (бедный секретарь и знать, естественно, не знает о своём скрытом религиозном пристрастии). А из книжки этого мыслителя я вычитал историю (и кровь похолодела в моих жилах) о происхождении денег у приверженцев Любавичского Ребе. Эдуарду Ходосу идея эта в голову пришла (он так и пишет), когда он случайно как-то вечером посмотрел по телевизору передачу о послевоенной тайной жизни в Америке того самого знаменитого фашиста Мюллера (из «Семнадцати мгновений весны», добавлю я для демонстрации своей осведомлённости). И осенило Ходоса пронзительное озарение (вслушайтесь в логику): если столько лет был ещё жив Мюллер, то значит – жив был и Борман, а значит – пресловутые огромные деньги нацистской партии были им не спрятаны, а переданы кому-то! А кому именно – ты уже догадался, читатель? Вот откуда и возникли у Хабада его средства для распространения по миру. Самому отпетому антисемиту – в голову такое бы не пришло, а если бы пришло, то он бы промолчал, чтоб не осмеяли даже единомышленники.

А признаться честно – мне было чуть грустно, когда лопнул в моей картине мира этот красивый черносотенный миф о нашем единстве.

Забавно, что роль некоего обобщённого еврея исполняет в наше время Израиль. Я не говорю о том, что постоянно он оказывается в фокусе внимания других народов – нет, я о самих евреях говорю. Чем дальше от Израиля живёт еврей, тем больше он его любит и тем больше он имеет всяческих советов и претензий. Евреи всего мира не сводят с Израиля глаз (и я их понимаю), одобряя или осуждая его как некоего близкого, но недалёкого родственника, довольно симпатичного Изю, за которого попеременно чередуются то стыд, то гордость. Чаще всего Изю осуждают: что это он столько лет никак не сыщет общий язык со своими соседями! То он заносчив и задирист не по чину, то – ещё хуже – позорно мягок. С обвинением последним я довольно часто сталкиваюсь, будучи в Америке. Ко мне почти что в каждом городе приходят за кулисы или ловят меня в антракте старики, с которыми проистекает практически один и тот же разговор:

– Вы, кажется, живёте в Иерусалиме? – утвердительно спрашивает собеседник. Я киваю головой.

– И вы туда вернётесь?

Я опять киваю головой.

– А когда?

Я отвечаю.

– Пожалуйста, когда вернётесь, сразу передайте вашему правительству: ни шагу назад!

И собеседник отпускает меня с чувством замечательно исполненного национального долга. А тот факт, что где я, а где правительство – его не просто не волнует, он уверен, что мы все тут – воедино. Ах, когда бы это было так!

Есть один еврейский писатель (автор интересной русской прозы), у которого, когда он пишет публицистику, есть два всего врага: оставшиеся в России евреи и Израиль как таковой (хотя Израиль – враг любимый, ибо родственник). Российских евреев он клеймит не всех подряд, а только своих коллег по перу. Зато клеймит за подлинное злодеяние: когда он жил ещё в России, то они его не допускали разрабатывать ленинскую тему, а он развить бы образ Ленина мог более талантливо и глубоко. Ну, после этого о нём, казалось бы, уже не стоит говорить серьёзно, только он всё время пишет нечто пылкое, ругая упомянутого Изю и обучая его жить. А главный тезис тот же: никакой позорной мягкости, вперёд и до победного конца! А слова и оскорбления, которые при этом он употребляет, не могу здесь привести даже я, любитель вольной лексики. Естественно, этот учитель жизни проживает в Германии, так что ему и карты в руки в смысле понимания ничтожных Изиных проблем.

Есть ещё одна забавная идея о причинах нашей самонеприязни. Мы, дескать, такую подсознательную чувствуем семейст-

венность в отношениях друг к другу, что не можем мы не быть пристрастны, а уж как мы осудительны по отношению к любой родне – известно каждому. Я бы не скидывал эту идею со счетов, хотя она мне кажется чуть смешноватой. Но тут, в Израиле, – я к ней вернулся уже с меньшим недоверием. Мы все тут чувствуем себя как дома, а к домашним всех мастей – известно требовательное и безжалостное отношение. Как и в целом – требовательность и придирчивость к естественному (и родному) месту обитания.

О, как неистовствуем мы, живя в Израиле! За что мы его только не поносим! Как-то неохота и перечислять. Одну только историю я непременно расскажу – о дьявольской бездушности страны, где мы так обречённо прозябаем. Жил некий средних лет еврей в России где-то. Заболели почки. Сразу обе. И врачи сказали сразу: делать операцию бессмысленно, вы безнадежны, жить осталось месяц или два. И от отчаяния (только от него) еврей этот приехал умирать в Израиль. Многие к нам приезжают, заболев. Израиль в этом смысле превратился в некий госпиталь, куда берут безоговорочно и невозбранно и немедленно лечат. Многие после того и уезжают. На здоровье, можно лишь гордиться пропускной способностью и сумасшедшим гуманизмом этой клиники, имеющей полным-полно других забот. Но я отвлёкся. Осмотрели человека местные врачи, и покачали головами, и назначили, конечно, пенсию, поскольку – полный инвалид, ни о каком труде не может быть и речи. Получал он пенсию, пока что вовсе не собирался умирать, а вскоре лёг на операцию – врачи решили, что в таком безвыходном и очевидном случае имеет смысл рискнуть. И полностью вернули человека к жизни. Полностью буквально, встал из-под ножа совершенно здоровый человек. И в связи с этим через год, когда настало время подтвердить инвалидность, её не подтвердили, и его лишили пенсии. Какой тут шум поднялся и какие жалобы на медицинскую бездушность! Я, эту историю услышав, решил провести собственный психологический эксперимент. Я принялся везде её рассказывать. Почти до самого конца меня выслушивали нехотя, вполуха, ибо разговорное пространство сильно тут насыщено рассказами о том, как жизнь вернули, но едва только текли слова, что пенсии лишили, одинаково у большинства реакция звучала:

– Какие сволочи!

Однако же, с чего я так раскукарекался? Ведь никого ни в чём ни убедить я не хочу, ни порицать я никого не собираюсь – так, беседую. Но у меня в блокноте давнем некий эпизод записан, тут он будет кстати. У меня помечено, что дело было в Харькове когда-то (Ходосу – мой пламенный привет). Ехала в автобусе большая группа старших школьников, а с ними – почти столь же юный их руководитель. Явное, как говорилось так недавно, лицо еврейской национальности. Школьники галдели, спорили, вопили, их вожатый тихо их пытался урезонить, но напрасно. Вдруг он громко выговорил:

– Слушайте!

От неожиданности наступила тишина, и, в эту звуковую щель просунувшись, вожатый им сказал:

– Вы себя ведёте, как болтливые попугаи и упрямые ослы!

Молчание ещё слегка продлилось, а вожатый улыбнулся и сказал:

– Я дал намёк!

ИЗ ДНЕВНИКА

* * *

К сожалению, новости постигают нашу страну гораздо чаще, чем хотелось бы. Я пишу это в конце октября 2000 года. По вечерам слышны выстрелы, на экране телевизора – беснующиеся толпы. Вовсю идёт интифада. По-арабски это слово означает извержение – весной у верблюдов непрерывная интифада. Наша – каменная и бутылочная с зажигательной смесью. Коктейль Молотова невероятно тут привился. Сам Вячеслав Михайлович (поскольку он наверняка не в раю), наверно, с гордостью обсуждает этот факт с соседом по котлу кипящей смолы. И сверху донизу (я говорю о социальной лестнице) у всех одинаково унижительное ощущение полного бессилия, потому что силу применить не к кому – беснуются организованные подростки.

Позвонили из Москвы, из «Общей газеты», чтобы я сказал что-нибудь по этому поводу. Я написал, что у меня два чувства – омерзения и стыда. Омерзение – к тому, что делает Арафат, старый и талантливый убийца. Написал, что всё это напоминает мне лагерь, где любое проявление доброжелательства, улыбка, готовность что-то уступить – немедленно трактуется как слабость, и матёрый лагерник звереет, удваивая нажим. Здесь то же самое, но это не лагерное, это просто средневековое сознание, и тьма тому подтверждений. Если в Божьем храме открыто и яростно призывают кого-нибудь убивать (это ныне главное содержание службы во всех мечетях), то это более напоминает тёмные времена средневековья, нежели двадцатый век. А дети, которых они берут с собой и даже гонят вперёд? Мы просто из разных цивилизаций, и то, во что превратилась мусульманская, ещё покажет миру в полной мере своё стремительно дичающее лицо. И все достижения технического прогресса пойдут в ход, а пока – выпущены Арафатом из тюрем несколько десятков террористов, сидевших за массовые убийства, – разумеется, они начнут с евреев, а уже потом спохватятся все. И длиться это будет, нарастая, – век, который начинается, пройдёт под этим весь. Недавно где-то прочитал

(или услышал?), что минареты более всего напоминают ракеты класса «земля – земля» – кошмарный и кошмарно точный образ. Израиль – крохотный островок западного мира в этом океане, но беда, что для западного мира он – коллективный образ еврея, и фоном, основанием пакостных и слепых резолюций о нашей агрессии служит не реальность, а стихийная, биологическая к этому еврею неприязнь.

Естественно на самом деле, что к резолюциям этим присоединилась и Россия, так что стыд мой за неё – скорей фигура газетного красноречия, ведь иначе и быть не могло. Забавно, что всё время вспоминается Киплинг – вот уж в самом деле «несите бремя белых», идиотически горделивое утешение для нашего гуманного времени. И снова обязательно повторю: так будет здесь всегда. А значит, более полезно вспомнить, как споткнулась и упала жена протопопы Аввакума, и спросила его, доколе им так идти. До самой смерти, матушка, заботливо ответил Аввакум. Ну тогда ладно, сказала она и пошла дальше.

* * *

Я продолжаю это в январе две тысячи первого года. На дворе все то же самое. К израильским дорогам по ночам приходят снайперы, стреляя в проходящие машины. Есть убитые, и раненых полно. Фанатики-убийцы неустанно пытаются пронести взрывчатку в людные места, чтобы погибло как можно больше людей, включая женщин, стариков, детей, и часто, слишком часто им это удаётся. Их науськивают на это в мечетях, им за это платят (или оставшейся семье) – смесь тёмной ненависти с бизнесом весьма результативна. В этой атмосфере мы живём, звоня всем близким при известии о новом взрыве в автобусе или на рынке, возмущаемся правительством, которое не позволяет солдатам стрелять, покуда нет явно смертельной опасности. И понимаем в то же время, что нельзя стрелять в детей, которых родители выводят на улицу, – как раз потому, что знают – в них стрелять не будут. И бессилие такого рода портит жизнь не меньше, чем сама повсюдная опасность. В этой ситуации кромешной появляется в Москве статья в коммунистической газете, писанная здешним журналистом Израэлем Шамиром. Тут же появляется она, естественно, и в Интернете, и теперь это доступно миллионам. В ней полно грязной и несправедливой облыжности, но на то и есть свобода печати, чтобы при отсутствии мыслей употреблять голые оскорбления. Всё было, как и в большинстве статей этого слегка клинического автора, а гниlostный душок, текущий от него, порой даже забавен. Только вдруг наткнулся я на фразы, которые мне проще передать цитатно:

«...Царь иудеев, генерал Барак, преемник царя Ирода, убивает младенцев Вифлеема. По его приказу детей убивают от-

кормленные израильские снайперы, получающие премию за каждого убитого ребёнка... Отряды убийц безнаказанно отстреливают палестинцев с вертолётa, как дичь на сафари... Отравлены подземные воды, облака газа душат стариков в домах и младенцев в чреве матери...»

Признаться, в первый день прочтения я даже обсудить это ни с кем не мог – стояло где-то ниже горла мерзостное ощущение проглоченного по оплошности куска гавна. Но после я опомнился и трезво понял, что об истоках такой подлой лжи скорее всего следует спросить у психиатра. И спросил. Психиатрии издавна и хорошо известно клиническое тщеславие. Чаще проявляется оно в патологическом вранье, однако склонно и к поступкам. «Комплекс Герострата» – обозначили его врачи. Тот древнегреческий маньяк, что сжёг когда-то в городе Эфесе храм, – единственно затем, чтоб его имя зазвучало на устах, – не просчитался, ибо все подобные деяния теперь имеют его имя. Жаль только вашего – как там вы его назвали? – сказал врач, потому что вмиг забудется его статейка, в суд никто не обратится, Израиль наплюёт на эту гнусь, как и на прочие, а жгучее тщеславие останется у этого бедняги. И будет полыхать на всём немереном пространстве между малой одарённостью и острой жаждой стать известным.

И во мне тихо шевельнулось сострадание к этому мелкому больному организму.

* * *

Тёща моя Лидия Борисовна – интеллигентнейший человек, известная писательница, постоянная участница всяких культурных мероприятий. Однако именно она мне подарила нужные слова для окончания этой книги. Недавно мы приехали в Тель-Авив, там заезжий сумашай-американ делал доклад о некоей советской школе (как раз о той, где некогда училась тёща), и остановились покурить у входа в университет. Вокруг была неопиcуемая красота из зелени и всяческой архитектуры. Тёща глубоко и с наслаждением затянулась сигаретой, выдохнула дым и, глянув на окружающий ландшафт, сказала с чувством:

– И что же, это всё арабы собираются забрать себе? Хер им в жопу!

Дина Рубина
НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ

Отрывок из романа

...Стоит мне оказаться в Римини, как на
меня набрасываются призраки, уже сдан-
ные в архив и разложенные по полочкам.

Федерико Феллини, «Делать фильм»

* * *

Гуляя по Москве в одно из недавних своих гостеваний, я вдруг обнаружила, что Проезд Художественного театра переименован в Камергерский проезд...

И вдруг память выдала такое, что изумило и даже испугало меня мощным выбросом давно забытого.

Я вспомнила, как в детстве, в Ташкенте, на Алайском рынке, у старухи, рассевшейся на земле со своим жалким товаром — нитками, гребешками, пуговицами и прочим мелкохозяйственным скарбом, — я за две копейки купила старую блеклую открытку. Четверка обезумевших лошадей, запряженных в карету, неслась по краю оврага, и по тому, как опасно накренилась карета, было совершенно очевидно, что невидимая пассажирка, чья нежная, в кружевах, рука пыталась ухватиться за распахнутую дверцу, вот-вот погибнет... (Странно, что это изображение представляется мне сегодня не застывшей картинкой, а протяженной чередой кадров)...

Бог знает, чем меня полузатертая открытка привлекла, скорее всего, бисерной россыпью на обороте. Приглядевшись, я обнаружила, что слова-то с ятями!

Эта мелкая бегущая вязь до сих пор перед моими глазами:

«Ея превосходительству Наталии Петровне Введенской. Москва, Камергерский переулок, дом купца Рыкова, поворотя во двор, налево.

Воистину Воскресе, милая Наташа! Шлю искренния пожелания счастья и исполнения желаний. Спасибо за карточку. Это правда, что на ней я не узнаю прежнюю милую Наташу, к тому же значительно похорошевшую и возмужавшую... Помню Вас, помню счастливые дни, проведенные с Вами на то давнее Рождество...И тонкий пальчик, который написал на морозном стекле то, что навеки в моем сердце осталось...»

Что-то еще, что я навеки забыла, и –
«Целую Ваши руки и молю за Вас небо, Ваш...»
Подпись, конечно, неразборчива...

Тревожная связь между падающим экипажем на открытке и милым, но неуловимо грустным письмом на обороте покорила мое влюбчивое воображение.

Не с того ли дня я оказалась отравленной сладостным ядом разысканий человека во времени...

Помню чувство оторопи: как – они были настоящими, живыми людьми?

И – тонкий пальчик?!...И, тем не менее, все они отошли, исчезли...

Значит, и я когда-нибудь умру?!

И жаркое открытие, что остается, в конце концов, лишь – тонкий пальчик, царапающий по морозному стеклу...

Не это ли было тем глубинным тихим взрывом, радиоактивные последствия которого заставляют меня сегодня множить и множить слова, жалобно бегущие по краю все той же, длиною в жизнь разросшейся открытки?..

С возрастом, если что и интересует меня, так это отношения человека со временем. Человек – и ускользящая, улетающая прочь, дырявая, как клочья тумана, бесформенная субстанция, которую можно высчитать и разбить на мельчайшие доли, а также описать все свои мельчайшие движения в эти мгновения (так создают бесплотную фреску на окаменевшей плоти минут и часов), но невозможно постигнуть и удержать. Убийца, которому нет определения, ибо бесплотность его вошла в поговорку.

* * *

Старый Ташкент был сокрушен в 66 году подземными толчками и дружбой народов, снабженной экскаваторами. Старый Ташкент, пересечение судеб, прибежище для озябших, голодных и гонимых, – милые особнячки, ореховые и яблоневые сады, тополя и карагачи в лавине солнечного света.

Второй раз его стерла с лица земли История, и жаль, если эти слова кому-то покажутся напыщенными.

Боюсь, что второй раз это было сделано персонально для меня.

Ташкентское землетрясение, шевелящаяся под твоими ногами спина дракона.

Отлично помню те весенние каникулы, запахи земли и глины, маки в развалинах саманных домишек на окраине бурно разрастающегося жилого массива Чиланзар.

Вся наша квартира была заставлена стеклянными банками, в которых стояли букеты багровых маков – каждый день, воз-

вращаясь из своих опасных странствий по полям и бахчам, я приносила новый букет. Я действительно пропадала черт знает где с утра до позднего вечера – мы ловили в развалинах скорпионов, – милое занятие для двенадцатилетней девочки (до сих пор иногда мне снится омерзительно-ласковое подрагивание суставчатого хвоста, дугою занесенного над головой смертельной твари).

Не мудрено, что, являясь домой, я валилась спать, как убитая.

С весны до осени мы с мамой и шестилетней сестрой спали на веранде. И однажды под утро я проснулась от голоса отца. Он стоял в нижнем белье и кричал:

– Война, говорю тебе, война! Одевай детей, спускайтесь вниз.

(Многих тогда ввели в заблуждение зарево на небе и подземный гул, похожий на гул летящих бомбардировщиков.)

Раздетые жители окрестных домов высыпали вниз, во двор, многие были завернуты в простыни, – блуждали, как тени в Дантовом «Аду».

Я столкнулась со своим одноклассником по имени Гамлет Цой, который с радостным возбуждением предрек, что экзамены – вот увидишь! – в этом году отменят.

А через час на своей развалюхе приехал мой дядька. В багажнике были лопата, лом и грабли – он приехал нас откапывать. Его саманный домишко на Кашгарке растрясло довольно забавным и удачным образом: одна стена дома целиком выпала на улицу, явив всем желающим бесплатный уличный театр. Отдельно и, как принято сейчас говорить, – концептуально – стоял унитаз «The best Niagara», тот, что дядька приволок когда-то из заброшенных британских казарм.

Так что несколько недель, – пока их не переселили во временное жилище на окраине Ташкента, – всей семьей они спали, ели, ругались как бы на сцене, в естественных трехстенных декорациях, на ночь завешиваемых простыней.

И все то веселое беспризорное лето мы спали во дворе на раскладушках и шлялись где попало меж строительных палаток, которыми был покрыт город.

Я всем телом помню тошнотворно-качельное колыхание земли: до сих пор любая неустойчивость под ногами обдает меня волной вестибулярного ужаса.

А однажды, когда мы играли в парке, весь мир дрогнул, еще, еще раз, вдруг подпрыгнули и сникли деревья, и шагах в тридцати от нас образовалась в земле глубокая корявая трещина, шириной сантиметров в семьдесят, – изнанка земли, прошитая изнутри корнями, – через которую мы немедленно затеяли прыгать...

Невероятно, что между тем летом, когда босыми ногами я взрывала пухлые борозды серой пыли от снесенных экскавато-

рами домишек, и тем днем, когда впервые приложила к груди своего новорожденного сына, прошло всего-то семь лет...

Помню, как через неделю после выписки из роддома я стояла на остановке автобуса, искоса поглядывая на незнакомого парня, сидящего на скамье, и думала – неужели и у моего сына когда-нибудь будут такие же красивые крупные руки с сильными длинными пальцами?..

Это было двадцать шесть лет назад.

У моего сына сорок седьмой размер ноги и под два метра росту.

Почему меня преследуют эти картины, запаянные в целлофан исчезнувших минут, как таблетки сульфадимезина времен моего детства?...

Во имя чего, что мне хотят показать? И может быть, прав был раби Нахман из Брацлава, утверждая, что Бог дал человеку все, кроме времени?

* * *

Во времена моего детства на гастроли в Ташкент приехала знаменитая Има Сумак – певица то ли индонезийская, то ли ямайская, то ли мадагаскарская. Гигантский диапазон голоса Имы Сумак вмещал в себя рокот джунглей, рев леопардов, шум водопада, визг диких кабанов и пронзительное пение диких птиц экватора. Ее голос ошеломлял. Она брала предельную высоту звукового барьера, которую, казалось, уже не мог преодолеть слух сидящей в зале публики. И когда эта, иглой летящая нота протыкала шквал аплодисментов, Има Сумак замирала, вздымала огромную, как кузнечные мехи, грудь и вдруг брала еще одну, последнюю, более высокую ноту... а за ней – в обморочной тишине зала – почти бесшумную, сверхзвуковую, потустороннюю...

Я очень боялась ее пения. Вечером, когда из распахнутых окон доносилась эта невероятная голосовая жизнь джунглей (все тогда словно помешались на ее пластинках), боялась пересекать наш темный двор.

И это можно понять, думаю я сейчас. Такое чудовищное мастерство должно либо утрашивать, либо омыwać водопадом счастья.

Куда она делась, легендарная Има Сумак? Я двигаюсь впотьмах с вытянутыми руками по огромной свалке моей памяти, пытаюсь нащупать любимые, затерянные во времени, родные моему сердцу вещи...

«The best Niagara!» – зову я шепотом неизбывной нежности, – зе бест Ниагара...

Персонажи моего детства толпятся за кулисами памяти, требуя выхода на сцену. А я даже не знаю – кого из них выпустить первым, кто более всех достоин возглавить этот парад полусумасшедших родственников, соседей, знакомых и просто диких людей, застрявших в послевоенном Ташкенте.

Позволю-ка я Маргоше первой прошвырнуться по авансцене развинченной жалкой походкой. Маргоша-блядь по кличке «сто восьмая» жила на чердаках. Каждый вечер спускалась во двор и тащилась в сквер.

Часам к семи к «шестиграннику» стекались студенты, стилиги и алкаши.

Маргоша задирала юбку, и за этот неприятный аттракцион ей давали вина – самыми популярными были «Ок мусалас», «Хасилот», «Баян-Ширей» – все ценностью в пределах рубля. После чего она присоединялась к толковому обсуждению матча, проигранного вчера «Пахтакором».

А за Маргошей-блядью пойдет – живее, живее! – диссидент Роберто Фрунсо, в своем – и в жару и в холод – резиновом плаще до пят. Он носил кепку «бакиночку», тогда многие ее носили – короткий черный пластиковый козырек, поверх него – плетеная косичка. По ночам слушал «Би-би-си», «Голос Америки». Просыпаясь часов в двенадцать, шел в библиотеку и прочитывал там все газеты.... Потом направлялся в Парк Тельмана, где в «Яме» – знаменитой пивнухе, действительно расположенной в естественном природном овраге – собирались алкаши, криминалы, студенты, прогуливавшие лекции, и там громогласно проводил политинформацию. Кто пивка наливал ему, кто кусочек воблы даст пососать, кто отсыпал соленого миндаля.

Однажды он принес в «Яму» послание Бен-Гуриона Кнессету. Читал наизусть, стоя на скамейке с протянутой страстно рукой... Алкаши взирали на него с немим изумлением.

Потом прошел слух, что в Ташкент приезжает Барри Голдуотер. Роберто стал откармливать петуха. Привязал во дворе на веревочку, кормил пшеном, – откормил огромного петушину с переливчатым гребнем. Намек Барри Голдуотеру, чтобы тот пустил «красного петуха» Советскому Союзу.

Наконец какая-то добрая душа пристроила его работать на Текстилькомбинат. В первый же день – дело происходило осенью, – рабочих согнали на собрание. На повестке дня был только один, извечный колониальный вопрос: отправка людей на хлопковые поля.

Он встал на скамейку, в резиновом плаще до пят, – как Ленин на броневик, – и гаркнул луженой своей, натренированной на политинформациях глоткой: – «Не дождетесь, чтобы Роберто Фрунсо гнул спину на советских плантациях!»

Летними вечерами в парке ОДО – Окружного дома офицеров (бывшее дворянское собрание) крутили кино, перед кино

показывали документальные фильмы, – «Волочаевские дни», например... Роберто Фрунсо появлялся на заключительных словах песни «И на Тихом океане свой закончили поход», – и победно выкрикивал: «Ничего, большевички, скоро ваш поход мы остановим!»

Как могло случиться, что этот полусумасшедший человек годами и даже десятилетиями свободно разгуливал по улицам и говорил, что бог на душу положит? Ташкент, Ташкент... мягкий климат, солнце, растопляющее страхи...

Зато у входа в парк дружинники и милиция отлавливали стиляг. Стилягу ловили, двое его держали, третий выбривал отросшие патлы.

Самым известным стилягой был Хасик Коган – высокие каблуки, голубые брюки, огромный кок. Нес он свой кок осторожно, чтоб не упал. Всех, кто ехал в Москву, просил привезти бриолин. На танцплощадке не танцевал никогда, осторожно и горделиво прохаживался, – боялся кок растряссти.

Куда делся Хасик, кто скажет мне – куда делся Хасик Коган?!

А дирижер, дирижер, обитавший в сквере, сумасшедший старик в коротких штанах и черном драповом пальто! Он дирижировал невидимым оркестром яростно и нежно. Форте!! Дольчиссимо... модера-а-а-то... Форте!!

Говорили, что он пережил Варшавское гетто, потерял там близких, всю семью, девочек-близнецов. Спятил. И с тех пор дирижировал и дирижировал девятой симфонией Бетховена. Форте!! Фортиссимо!! – безостановочное движение на четыре четвертых... Обнимитесь, миллионы!!.. Странная фигура моего детства, черный ворон...

А соседская бабка Фира, безумная старуха, спятившая на ревности! Она ревновала своего восьмидесятилетнего мужа Зюню Хаскелевича, кроткого полуслеплого старичка в обвисшей пижаме. На весь двор разносился ежедневный вопль:

– Опять!? Опять принялся за свои развратные штучки?!

Она не оставляла несчастного старика ни на минуту в покое. Когда тот ковылял к дощатой будке в конце двора и задерживался там по причине вялого старческого желудка, она кричала ему:

– Уже оторвись от своих шикс, бесстыдник, что ты себе думаешь!!

А истопник, истопник в котельной нашего двора! Мы, малышня, ссыпались к нему по высоким ступеням в подвал, он выдавал каждому листки, выданные из тетрадки, и мы в них рисовали. Я носила очки, и он называл меня «Профессор кислых щей». Потом, много лет спустя, уже после его смерти, мы узнали, что дядя Володя был известным московским художником, профессором Суриковского института, отсидел свой срок по пятьдесят восьмой в лагере под Бегаватом и доживал у нас во дворе, в комнатке рядом с котельной, где работал посменно...

Недавно я опять надела очки, которые забросила в юности... Сiju, рассеянно рисую на листочках своих записных книжек... Не слишком уже молодая тетка. Профессор кислых щей...

Солнце – вот что нас объединяло. Бесконечное ташкентское лето. Нас вспоило и обнимало солнце. Его жгучие поцелуи отпечатывались на наших облупленных физиономиях. Все мы были – дети солнца.

«В апреле я влезал в трусы и снимал их в октябре, – вспоминал недавно мой старый друг, режиссер Семен Плоткин, – все мое детство я помню себя в черных сатиновых трусах. Если б надо было соорудить памятник моему детству, я повесил бы на стену черные сатиновые трусы и написал: «история моего детства»...

Сенька, а помнишь, мы играли в тени тутовника в ташкентскую игру, «в ащички», – (тяжесть вываренных в кастрюле, отполированных ладонями мослов удобно укладывается в памяти моей руки) – и ты, как всегда, мухлевал, потому что хотел выиграть у меня замечательную, великую марку: Сталин и Маожимают друг другу руки, а за ними реют советские и китайские знамена.

(Мы уже знали, что марка уникальна, потому что на ней – разоблаченный злодей Сталин, но еще не знали, что она уникальна вдвойне – не разоблаченный злодей Мао Цзэдун был жив-здоров, а культурная революция только на подходе.)

Вдруг в арке двора появилась мама, у нее было странное торжественное выражение лица. Она подошла к нам и сказала:

– Знаете, дети, что сегодня произошло? Сегодня человек полетел в космос!

Семен, ты выронил все выигранные у меня ащички и застыл по стойке смирно. Я это помню. Ты стоял по стойке смирно, рядом лежал на боку твой самодельный самокат, где-то в ужающей высоте героически матерясь, одиноко летел в космосе первый человек, и в эти же минуты как раз переезжали Либерманы из сорок третьей. Они переезжали, а внук их Сашка, в знак протеста вышел на балкон и пилил на скрипке, которую обычно брал в руки со скандалом. Он стоял в большущих сатиновых трусах и пилил, пилил, пилил – так не хотел переезжать! Уже был подогнан грузовик, и старый их дед тащил черный радиоприемник, а бабка кричала ему на идиш:

– Что его брать, когда по нему только узбеков и слышно?!

Я делала вид, что не понимаю этих старых евреев, так же, как поступала с собственной бабкой, когда ко мне приходили одноклассники.

– Диночка, почему этот мальчик полез на крышу?

– Чинить антенну, ба...

– Он еврей?

– Нет, ба!!

– Все равно, я не хочу, чтоб он разбился!

Боже мой, почему все это мне хочется вспоминать под музыку вроде музыки Нино Рота к «Амаркорду»? Помнишь, когда зимним вечером мальчики танцуют на террасе заколоченного на зиму заснеженного отеля?

И ответь, Сенька, друг мой, – существует ли сегодня вещь более далекая от нашей жизни, чем дурацкие полеты человека в дурацкий космос!?

* * *

Летом и осенью огромный Веркин двор жил особой коммунальной жизнью. Посиделки, перепалки, мордобои и обсуждения международного положения – все это выносилось на крылечки, на сколоченные из досок и врытые в землю скамейки.

Едва ослабевал азиатский млеющий зной, едва длинные тени от урючины и яблонь сливались и густо застилали кривые и щербатые дорожки из красного кирпича, из окон домов выползали черные змеи резиновых шлангов. Толстые и потоньше, скрепленные на стыках белой алюминиевой проволокой, они протягивали к земле раздвоенные языки воды, и земля жадно подставляла под холодные струи сухую горячую спину. И когда прибывалась пыль и напивалась земля, в воздухе возникал и плыл, вливаясь в раскрытые зарешеченные окна домишек, тонкий и порочный запах «ночной красавицы» – маленьких красно-лиловых цветков, похожих на крошечный раструб граммофона.

Двор наполнялся голосами, смехом, вскриками, визгом ребятни, окриками матерей, двор гудел, напевал, выплескивал из окон звуки радиол. Бабка Соня каждый вечер просила зятя Рашида ставить ее любимую – «На позицию де-е-вушка провожала бойца...» Он ставил, не мог возразить. Был человеком мягким и уступчивым, хотя и ругачим. Ставил пластинку толстыми своими пальцами долго, сопя, не сразу попадая дырочкой на никелированный штырек, вздыхая и бормоча: «Собака ты, собака...»

В двух зажиточных семьях уже имелись телевизоры «КВН» – маленькие, с квадратными экранами, с дутыми линзами перед экраном.

Умелец Саркисян иногда пускал «посмотреть» на мерцающий телевизор – если бывал в хорошем расположении духа и в ладу с супругой, – в комнату набивался народ со двора, приносились стулья, табуреты, садились друг к другу на колени, полужележали на полу. Саркисян – маленький, верткий, в дырчатой майке и синих бриджах то и дело ревниво подсказывал к телевизору: «наладить» – подправить линзу, крутануть какую-нибудь ручку. Саркисян гордился собой, своим телевизором, комнатой с синими бархатными портьерами, суровой женой Тамарой, детьми – Лилькой и Суреном, но главное – телевизором. «У меня цветной», – сдержанно добавлял он. Цветной – это делалось так: добывалась где-то твердая прозрачная плен-

ка с тремя цветными полосами, красной, синей и желтой, и лепилась на линзу перед экраном. Таким образом, лицо киногероя или диктора новостей, и без того обезображенное линзой, одутловатое, становилось и вовсе жутким – лоб и волосы мертвенно синими, глаза и нос красными, как у вурдалака, а рот и подбородок ярко желтыми.

Но какой восторг перед чудесами прогресса испытывали все зрители – от бабки Сони до шестилетней Верки!

Саркисян славился во дворе любовью к семье и твердыми моральными устоями. Каждое лето он отправлял жену с детьми к родным в Армению, а сам принимался за ремонт.

– Саркисян опять впрягся, – с уважением говорил кто-нибудь, следя за тем, как ворочает маленький Саркисян большие мешки с алебастром.

– Семьянин! – замечала бабка Соня таким тоном, словно Саркисян носил это звание официально, как чемпион или лауреат. – Семьянин!

Саркисян и вправду обладал выдающимися семейственными достоинствами. Он волок на своем горбу семью сестры жены Тамары, обе четы дряхлых родителей, а главное – опекал и страшно любил своего несчастливого брата Мишу, инвалида детства. Четырнадцатилетним мальчиком Миша попал под трамвай. Мачеха послала его за маслом в магазин, он по пути заигрался с пацанами в «лянг», а, спохватившись, помчался, боясь ее гнева, – магазин мог закрыться. Ему отрезало обе ноги выше колен. И это горе согнуло его, скрючило в безвольного злобного алкоголика. Младший брат был главной ношей трудяги Саркисяна. Дважды в день Мише носили кастрюльки с горячим. Однажды летним днем, в жару, уже пятнадцатилетняя Лилька принесла Мише приготовленную матерью долму. Она отперла дверь своим ключом, вошла и увидела Мишу спящим на балконе. «Понимаешь, – рассказывала она лет пятнадцать спустя Вере, с которой до того не виделась примерно столько же лет, – он лежал на матрасике, без протезов, беспомощный – полчеловека».

Недели за три до смерти он поскаandalил с братом, с благодетелем. Явился пьяным, орал на весь двор немыслимые гадости. Саркисян не вынес публичной обиды, прогнал его с глаз долой. Лилька в то время готовилась к свадьбе. Она как раз ехала в трамвае, возвращалась с женихом из магазина, где по талонам покупали ему черный жениховский костюм. На задней скамейке полупустого трамвая трясся пьяный Миша. Увидев племянницу, поднялся, проковылял по вагону и, перед тем, как выйти, бросил ей, гадливо улыбаясь: «Тварь!».

Спустя неделю Миша повесился и висел три дня. Какой-то его собутыльник вошел в незапертую квартиру, увидел висящего Мишу, прибежал к Саркисяну:

– Поди вынь брата из петли!

Тот пошел и вынул.

Еще лет через пять бабка Соня ослабеет настолько, что перестанет подниматься вовсе, и ненавидимый ею зять Рашид будет мыть ее, менять под ней пеленки, ставить затертую любимую пластинку, по-прежнему не сразу попадая дырочкой на никелированный штырек.

«На позицию де-е-вушка провожала бойца...»...

«Собака ты, собака, – вздыхал он, стирая загаженные старухой пеленки. – Собака ты, собака...»

Летом двор полон был знойной райской жизнью. Он гудел и вибрировал этой жизнью, как улей со сладостным медом. Со всего света слетались на кусты сентябринок крохотные цветные бабочки, цепкие и доверчивые. Босиком, с замершим сердцем, Верка кралась к кусту, где на звездчатом, голубом, с желтой сердцевинкой цветке колебалась от ветерка сине-вишневая, в черных крапинках, бабочка; плавно заносила руку, нежно и убийственно точно брала ее чуткими пальцами и, ощутив на мгновение замшевую, трепетную дрожь крылышек, отпускала на свободу яркое крохотное чудо, чтобы в следующую минуту, проследив глазами нервный пунктирный полет крупной капустницы, красться к месту ее оцепенелой передышки и вновь с замершим сердцем заносить руку.

Это биение в собственных пальцах чужой хрупкой жизни, ощущение собственного могущества волновало ее необычайно. Были минуты, когда ей хотелось распорядиться этой жизнью: оторвать крылышко, или приколоть бабочку к картонке, как это делали многие ребята во дворе, но каждый раз девочку удерживало смутное чувство, которое никогда бы она не смогла объяснить. Была ли это жалость к мимолетной яркой жизни, вспоминала ли она в эти минуты карающую руку матери, которая частенько напоминала дочери о своем могуществе... Скорее всего, то было ощущение непобедимой, животной, всеобъемлющей радости, когда ты уверен, что все на земле непостижимым образом крепко переплетено между собою. Детское ощущение мироздания сродни религиозному. Нельзя было обидеть крохотное существо, ведь точно так же кто-то мог обидеть и Верку.

По двору, испепеляемому лютым солнцем азиатского лета, можно было путешествовать без конца.

Кирпичи обжигали босые ступни, даже в сандалиях было горячо. А если уж в подошве случались дырочки, а это часто случалось – подошвы протирались недели за две («классики» опять же, прыганье через веревку – все шаркающие игры), а сандалии куплены на все лето – то уж терпи тут или беги в тень, отдергивая от земли лапки, как лягушонка.

В дальнем углу, за сараями, у дощатого забора возле ржавых баков раскинулась великолепная помойка. Таила она множество чудес. Однажды Верка наткнулась там на картонную коробку в форме сердца, выстланную изнутри грязноватым белым атласом. В углублениях коробки покоились два пустых

граненых флакона из-под духов «Красный мак», один большой, другой поменьше, и оба с чудными гранеными крышечками. От флаконов тонко пахло пролитыми некогда духами, и этот нежный запах соперничал с могучей вонью помойки и удивительно гармонично сливался с нею.

Это была царская находка, и Верке долго завидовала Лилька, дочь Саркисяна, с которой Верка подруживалась иногда, если Лилька придерживала свой дрянной характер.

Подобные находки на богатейших просторах помойки навели Верку на некоторые размышления о жизни. Например – кому из жителей двора принадлежала изящная коробка? Вероятно, учительнице музыки, которая жила в третьем, если считать от бабки Сони, доме. Учительница склонялась уже от средних лет к пожилой поре, но все еще красила губы, подчеркивала пояском набрякшую талию.

К ней каждый день ходили ученики – мальчики и девочки с нотными папками. Они аккуратно шли по кирпичной дорожке к дому, огороженному низким зеленым штакетником, и уже по благонравной походке видно было, что они во дворе чужие... Каждый раз, когда кто-то из учеников с нотной папкой попадался Лильке на глаза, она делала равнодушное лицо и замечала:

– Мне папа тоже хочет пианину купить, а я – ни в какую!

Из домика доносились наводящие оторопь гаммы. Иногда сама учительница играла «Полонез Огинского» – и тогда горькая польская тоска странным образом сливалась с грешным запахом «ночной красавицы» и кружила по двору, кружила...

В противоположной от помойки стороне краем двора протекал арык – довольно широкая канава глубиной с метр. Он выныривал из-под забора, ходко бежал метров пятьдесят вдоль стены высоченных кустов бархатно-вишневой и нежно-лиловой мальвы, добегал почти до ворот и снова нырял под забор.

Верке арык казался глубокой речкой, «с ручками и с ножками». В жару ребята постарше не вылезали из него целыми днями.

Однажды Верка увидела на дне его бумажный рубль. Да, целый рубль, а если учесть, что случилось это уже после реформы, то можно представить, какие это были огромные деньги. На рубль можно было купить всю вселенную: красного липкого петушка на палочке – их продавала на углу черная, иссушенная жарюю узбечка; белые хрупкие, крошащиеся в пальцах шары жареной кукурузы; липучки, перевито раскрашенные, как купола собора Василия Блаженного на праздничной открытке; туго выдутые из аптечных сосок пузыри. (В пузырях перекачивались сухие вишневые косточки. Пузыри гремели, как мексиканские погремушки. С пузырями можно было «делать Кармен». И Лилька бы сдохла от зависти, и пусть бы она подавилась своим телевизором и своим кукарекающим котом в сапоге!)

А сколько газировки можно было выпить на сдачу с этого рубля – да тут обопьешься и лопнешь!

Удивительно, что она первая обнаружила сокровище, удивительно, что в те минуты – а было уже время, когда день мерк и растворялся в сумерках, – никто из ребят не плескался в воде и не околачивался здесь, возле забора. Голоса доносились откуда-то с противоположной стороны двора из-за кустов мальвы и сентябринок. По внезапным воплям можно было заключить, что люди яростно и самозабвенно играют в казаки-разбойники.

Лежа на животе, низко перегибаясь к воде, девочка палкой пыталась зацепить рубль. По дну арыка стелилась и волновалась по течению темно-зеленая трава. Сквозь прозрачную бегущую воду видны были скользкие коряги на дне, тускло отсвечивающая консервная банка, множество бутылочных осколков, о которые частенько ранила босые ноги ребятня. Рубль зацепился за одну из коряг. Течение играло им, волнуемая бумажка была похожа на извивающуюся пиявку, она то облепливала корягу, то раскрывалась как раз той стороной, где написано было «1 рубль». Толща прозрачной воды над ним придавала зрелищу призрачное волшебство. Кроме того, существовала опасность, что в конце концов драгоценная бумажка отцепится, поплывет по течению и безвестно сгинет за забором. И вся вселенная, заключенная в ней – и липучки, и петушки, и тугие надувные пузыри – сгинут в дальних странствиях, в неведомых морях.

Нет, дальше медлить было невозможно. Верка скинула сандалии, схватилась одной рукой за ветку ближнего к воде куста и осторожно, нащупывая ногою дно, стала спускаться, вернее, соскальзывать в арык, не сводя глаз с колеблющегося на дне рубля. Когда, наконец, обеими ногами она стала на дно, выяснилось, что тут ей вовсе не «с ручками». Но вода доходила до подбородка, так что приходилось задирать голову, чтобы не нахлебаться.

На ощупь она добралась до заветной коряги. Требовалось сделать еще один единственный шаг, но для этого пришлось бы выпустить ветку, а как тогда выбраться на берег?

Ах, драгоценная желто-зеленая рыбка, только не уплыви, не исчезни, достанься мне, мне, я так люблю тебя заранее!

Минут десять девочка стояла в воде, достигающей подбородка, и пыталась ногою дотянуться до коряги. Вода уже вовсе не казалась ей теплой и ласковой, хотелось поскорее завершить рискованное предприятие и выбраться на землю.

Она отпустила ветку и шагнула к коряге. Не сразу, зажав гибкими пальцами правой ноги скользкую бумажку, стоя на одной левой, она перехватила рубль рукой и, крепко сжав его в кулаке, перевела дыхание и огляделась. (Все шло отличным образом. Капитан Сильвер достиг желанного острова и вырыл сокровище, закопанное двести лет назад испанскими конкистадорами. Оставалось только запастись водой и съестными припасами да набрать новую команду по портовым тавернам, предварительно перестреляв старую.)

Вдруг что-то скользкое и тугое крепко обвило ее ногу и тут же отпустило. «Змея! Водяная змея!! – поняла Верка. Дернулась всем телом, заорала и с головой ушла под воду.

Она барахталась, воя, хрипя, булькая и пытаясь дотянуться до слабой поросли травки на берегу. Странно, что теперь почти невозможно было нащупать ногами дно. Может быть, этому мешали ужас и омерзение. При этом, молотя по воде кулаками, Верка не выпускала заветного рубля.

Вдруг ее схватили за волосы, дернули, потянули, перехватили подмышками, какая-то сила потащила ее вверх, вытянула на берег и больно проволокла животом по мелким камушкам и колючкам...

...Она сидела на траве и хныкала, из носу текло, по лицу, по содранному животу с волос бежала вода. Над ней стоял большой мальчик из ремесленного училища и носком ботинка подталкивал ее, как дохлую мышь.

– Дура! Встань, шо расселась! Шо в арык полезла, щас утопла бы, к ляду!

Да пусть бы он и вовсе пинал ее своими ремесленными ботинками и ругался хуже, чем мать, даже и тогда Верка испытывала бы к нему величайшее доверие и благодарность.

Он опять легонько поддал ей в бок носком ботинка.

– Шо ты там забыла, придурочная? Купалась, что ль?

Она замотала головой, улыбнулась и, глядя на него снизу вверх, разжала кулак с мокрым комочком рубля.

– Ого! – воскликнул он, схватил рубль и разгладил его на ладони.

– Молодец, выловила... – помахал бумажкой в воздухе, подул на нее. – Щас высохнет... – помолчал и искоса взглянул на Верку. Девочка все еще сидела на траве – худая, в мокрых, облепивших тело сатиновых трусах. Она тихо икала и, блаженно улыбаясь, смотрела вверх, на могущественного человека.

– Ну, ладно, топай домой, – хмуро велел он, – а то, вон, совсем синяя...

Верка поднялась и доверчиво протянула руку за своим, так тяжело добытым трофеем.

– Ты шо? – ухмыльнулся парень. – Да это мой рубль, поняла, головастик? Я его здесь утром посеял. Давай, проваливай! Надоела...

Ничего еще не поняв, Верка в молчаливом недоумении глядела на него. Она ждала, когда могущественный благородный спаситель отдаст ей ее сокровище.

– Ну, шо зенки вылупила? – крикнул он нетерпеливо. – Это мой рубль, ясно? – сунул бумажку в карман форменных брюк, повернулся и пошел в сторону ворот.

– Отдай, – тихо попросила Верка, все еще не веря, что ее так страшно обидели. Побежала следом, повторяя: «Отдай, отдай...»

В мокрых трусах было холодно, струйки воды сбежали по зябнущим ногам.

– А ну, пошла отсюда, придурок! – негромко и зло бросил он.
– А то щас врежу!

– Отдай! – упрямо повторила девочка, глядя умоляющими глазами.

Он быстрым бреющим движением смазал ее по затылку.

– Еще?! – спросил, – или отстанешь?

Но Верка была привычна к побоям. Она уцепилась обеими руками за форменную куртку, бормоча исступленно: – Отдай, отдай, это мой рубль, я нашла!

Он стукнул ее еще несколько раз – не очень сильно, но, когда понял, что эта липучка не отцепится, ребром ладони что есть силы рубанул по худым рукам, не отпуская полу его куртки. Она взвыла, затрясла руками. А он, рассвирепев по-настоящему, бил ее уже от всего сердца, кулаком, по плечам, по голове. Наконец, пнул по ногам, и она повалилась на землю, лицом в пыль.

Он повернулся и пошел.

– Сволочь!! – крикнула она с земли, задыхаясь от ненависти
– Гад, сволочь!!

– Шо-о-о? – изумился он. – Ах, ты ж!.. – подбежал, но не стал бить, а уселся верхом ей на спину. – Ну? Повтори, сучонок, шо-та я не расслышал?..

Верка лежала лицом в пыли. Пыль набивалась в рот, в ноздри, к тому же она ударилась о камень и перед глазами из носа в пыль текла бурая лужица крови. Грудная клетка была сдавлена под тяжестью сидевшего на ней верхом парня. Ненависть остро и больно перекачивалась в животе, булькала в горле.

– Ну?! – он подпрыгнул и больно придавил задом ее спину. – Ну, повтори!!

Надо было молчать, молчать, лежать, как мертвая. Тогда он встанет когда-нибудь, поднимет когда-нибудь с ее спины проклятый свинцовый зад.

– Сволочь!! Гад!! Ворюга! – плача и кашляя, повторила она ртом, полным пыли и крови. – Сволочь проклятая! Чтоб ты сдох! Чтоб тебя разорвало!!

– Ладно, – сказал он удовлетворенно. – На! – И снова ребром ладони рубанул ее несколько раз по шее, по спине, – как отбивают кусок мяса для биточков.

Но видно, ему надоела глупая возня с этой злобной глистой. Он поднялся, поставил ногу в ботинке на ее тощую, как у кильки, спину. Придавил легонько.

– Лежи, – приказал он, – а то весь встану, враз подохнешь!

Она лежала, молчала. Пыль набилась в рот, в горло, в сердце. Серая пыль была в сердце, и хотелось умереть.

Тогда напоследок он наклонился, оттянул резинку ее сатиновых трусов, и когда обнажилась белая озябшая попка, смачно харкнул на нее, захохотал и пошел прочь...

...Верка долго лежала на земле в темнеющем дворе, слыша, как где-то за кустами мальвы и сирени раздаются голоса

детей, играющих в казаки-разбойники. Земля остыла от дневного жара и глубинным могильным холодом проникала в щеку, в грудь и в живот...

Наконец, она села, потрогала щеку, распухшую губу и качающийся зуб. Покачала его немного грязным пальцем, попробовала потянуть, но решила оставить это огромной важности дело на завтра.

Над высокими кустами мальвы желтым тусклым оком глядел на девочку фонарь из-под жестяного колпака. Со всех концов двора, из окон, с крылечек созывали детей матери зычными, пронзительными, грозно спохватившимися голосами. Тут девочка различила голос и своей – надсадный, словно измученный.

– Верка-а-а! – звала мать и голосом обещала расправу, – Ве-е-ерка-а!!

Вера знала, что после каждого такого зазыва мать добавляла негромко: – Ну, явись только, сволочь!

Она поднялась с земли и поковыляла к дому...

...Вот тут бы мне и отпустить ее на все четыре стороны. Расстаться, отлепиться от нее, наконец, тем более что никаких особых симпатий я к ней никогда не испытывала. Странно, что я все еще прижимаю ее к себе, как заложника, которого тащат к самолету (катеру, машине...) чтоб под прикрытием его тела скрыться...куда? Ведь давно уже ясно, что скрыться мне не суждено....Тогда зачем я волоку ее по этим страницам и даже, кажется, пускаюсь с ней в какие-то выяснения отношений? ...

Да это я, я ходила к той пожилой учительнице музыки в Веркином дворе, я чинно шла по кирпичной дорожке, прижимая к животу нотную папку с вечно оторванной веревочной ручкой! Это я, вы слышите, я играла «Полонез» Огинского!

Непреклонно мое лицо на фотографиях тех лет... Беззащитные глаза, квадратные скулы. Жалкое существо, угнетенное служением прекрасному искусству, будь оно проклято...

Мое созревание, – то есть, настаивание цыплячьего мозга на спирту и специях жизни колониальной столицы, – сопровождалось видениями. Самая обыкновенная вещь – сценка, случайная тающая фраза в уличной толпе, обиходная деталь быта вдруг высекали во мне сверкающую искру, и я впадала в прострацию. Нежный подводный гул в ушах, давление глубинной толщи, парное дребезжание воздуха, какое в жару поднимается над раскаленным песком, сопровождали эти непрошенные медитации. Так однажды на уроке физики я вылетела из окна и совершила два плавных круга над школьной спортплощадкой – я уже писала об этом.

В другой раз дивный пейзаж на щелястой стене деревянного нужника в углу полузаброшенной стройки ослепил меня по дороге из музыкальной школы. Пейзаж, пейзаж. Я имею в виду буквально картину. Почему-то я не остановилась внимательно осмотреть находку, а, прижимая к тощему животу нотную папку, прошла мимо, только выворачивая назад голову, пытаюсь удержать чудное видение (гул в ушах, вибрация воздуха)...

На следующий день никакого пейзажа не оказалось.

Мною овладело обморочное отчаяние, тоска по зефирно-фарфоровым красотам загробной жизни. Сейчас я думаю, что это была мазня одного из рабочих, – почему бы и нет? Вероятно, он вывесил картину сушиться, после чего снял. Словом, сегодня меня ни на йоту не заинтриговали бы подобные приключения моего воображения. А в то время я жила глубоко и опасно. На грани умопомешательства, как многие подростки.

Все мое отрочество – постоянное выпадение в транс. Провалы в какие-то колодцы подземной блаженной темноты, сладостное оцепенение и разглядывание себя изнутри: атласное дно закрытых глаз, с бегущими вбок снопами изумрудно-оранжевых искр. Своего рода защитный экран от вечно раскрытых перед носом, засиженных точками нотных листов.

И сегодня, спустя сорок лет после начала музыкальной эпопеи, я все еще не собралась с духом для решающего поединка с моим Проклятым Рабовладельцем. Возможно, потому, что исход этого поединка мне известен заранее.

Что может быть страшнее и нереальнее экзамена по фортепиано? Дребезжание рук, ускользание клавиатуры, дактилоскопические следы от вспотевших пальцев на узких спинках черных клавиш. ...И оскорбительное забывание нот. Что вообще может сравниться по издевательству и униженности с твоим непослушным тебе телом?

Поджелудочная тоска, тошнота в суставах, обморочный заплыв глаз – так, как я боялась сцены, ее не боялся никто. Я выплеснула из себя в детстве и юности прибой этого горчичного ужаса, выдавила этот предсмертный липкий холод из застывших пор. Мне уже ничего не страшно – я видела все, я возвратилась из ада.

Поэтому никогда не волнуюсь на своих литературных вечерах.

Сначала целый год трамваем с пересадкой ездила на другой конец города к учительнице музыки. Стояла необычно холодная для Ташкента зима – на мое детство их выпало две, кажется... От трамвая до дома учительницы еще бежала минут двадцать по морозу. Зачем? Не могу вообразить, чтобы я отправила свою дочь ехать трамваями в такую даль, за чем бы то ни было. (Правда, по мнению всех родственников, моя дочь невероятно разбалована, да и нет трамваев в наших иерусалимских краях...)

Зато перед выходом учительница заставляла меня выпить стакан горячего чаю. «Из дому надо выходить с запасом тепла», – говорила она, и одной этой фразой вот уже сорок лет прочно обитает в моей памяти.

Итак, к учительнице минут двадцать надо было бежать петлястыми переулками и заброшенными пустырями. Бог знает – какие опасности ждали там восьмилетнюю девочку... Раз два я чудом ускользала от обидчиков. Господи, во имя чего все это было, – во имя «Полонеза» Огинского?

Помню, как однажды заметелило и долго, долго не было сначала одного трамвая, потом минут сорок я стояла на пересадке, ждала другой, потом, подвывая, бежала в бушующей снежной пене домой...

Когда позвонила в дверь, мама открыла и сказала бодро:
– Замерзла? Иди пирожки с картошкой кушать!

Я сидела за столом с тугой картофельной щекой, каменные коленки сладко отмерзали, пальцы ног болели, за окном крутила, юлила, валила мучная, свитая в косицы и веревки сволочь, и я поверить не могла, что еще несколько минут назад погибала (в этом я была уверена!) там, одна, на дороге.

Детское одиночество – я говорю о чувстве – может сравниться только со старческим. Самый любимый ребенок в семье, как и обласканный всеми детьми и внуками дед, независимо от обстоятельств может чутать этот космический холод еще-уже близкой бездны. Одни еще недалеко ушли, другие подбираются все ближе.

Кажется, мама была очень довольна, что я не пропустила урока. Наверное, она была права в чем-то существенно важном. Например, в том, что ребенку следует прививать чувство ответственности.

Провались оно все пропадом. Я прожила большую часть жизни, послушайте. Ни за что и никогда не заставляйте детей преодолевать препоны этого проклятого мира. В метельный вечер пусть они сидят дома. И тогда, милосердный Господь, есть надежда, что все они останутся живы.

К тому же я была обуюна жадой прославиться. Почему-то ни на миг не сомневалась, что стану знаменитой. Странно. Кто вбил подобные бредни в мою кудлатую башку? Боюсь, что отец. Он всегда был одержим честолюбивыми родительскими мечтами. Он и сейчас упорно пророчит мне богатство. Богатство, хм... Интересно, в каком возрасте человек, наконец, способен взглянуть в глаза самому себе?

Несколько месяцев подряд, зимой и летом папа водил меня на концерты в Городскую библиотеку... Мы торжественно шествовали под руку по улице и папа, вероятно, гордый, что я в свои тринадцать почти доросла до него, неизменно повторял:

– Хорошо пройтись под руку с молоденькой девушкой.

Эта фраза меня коробила и казалась верхом неприличия...

Но колесница будущей славы, запряженная «Полонезом» Огинского, продолжала волочь меня, невольника музыкальных плантаций, все дальше и дальше.... Так и не сумев придержать коней, на полном ходу я въехала в специальную музыкальную школу при консерватории – очень престижную. Участь моя была решена.

Школа имени Успенского. Кто он был, этот деятель, в честь которого множество детских губ повторяли благоговейно «школуспенскава», или просто – «Успенка»? Не помню. Зато помню старый дом через дорогу от школы, в котором жил странного вида, обросший буйной бородой, явно сумасшедший человек. Мы сочиняли про него истории, якобы «чесслово» бывшие. Кто-то рассказывал, что у него умерла невеста, и он дал обет не бриться. Что он пошел работать в морг, чтобы самому ее обмыть. И Бог знает, что еще понапридумывали мы про этого беднягу.

Яркие и разрозненные сколки памяти – «технический» экзамен в восьмом классе – мы сдавали гаммы, арпеджио, этюды. Потом, в ожидании припозднившихся родителей, стояли с одноклассницей перед окном, одни в пустынной школе, грели руки о батарею парового отопления и тихо переговаривались. Сыпал снег – и это была одна из ташкентских холодных зим... Так странно, что при моей ужасной памяти все это я помню – буквально, слово в слово, как будто – о, Господи, как банальны и подлинны, и трагичны все наши чувства! – как будто все это было вчера, вчера, вчера...

* * *

Однажды, не так давно, когда я поняла, что забыла все, совсем, помню лишь названия двух-трех улиц (кстати, давно уже переименованных), я попросила отца нарисовать план Ташкента по памяти.

Меня заботит тающая вещественность, скудеющая плотность мира, которая позволяет если не останавливать время, то хоть немного тормозить его скользящий гон.

Мой отец художник, у него профессиональная визуальная память и отменное чувство ориентации в пространстве. Довольно быстро, по ходу роняя названия, он набросал карандашом паутинки улиц, обвел кружочки площадей, в центре поместил большой круг – Сквер революции.

С тех пор каждого знакомого ташкентца я просила рисовать по памяти план города.

И каждый рисовал нечто совершенно отличное от реально существовавшей карты. Что это значит? Страшно подумать. Что, каждый жил в каком-то своем городе? В каком-то своем, вымышленном, нереальном городе? Так, может быть, его вообще никогда не существовало?

Пятнадцать лет спустя после отъезда я оказалась в Ташкенте. Как я и предполагала, с первых же минут, уже в аэропорту шибанула меня в лицо застылая отчужденность.

Тотальная монголоидность лиц вокруг, переименованные улицы, забытое ощущение собственной детской потерянности. Я смутно узнавала какие-то перекрестки, но, как бывает во сне, не могла вспомнить – что здесь со мной происходило, кто здесь жил за углом и почему так сжалось сердце при взгляде на гигантский платан у ворот того особняка? Поворачивала за угол и оказывалась в незнакомом месте. Как в детской игре, когда, завязав глаза, тебя раскручивают до головокружения, до тошноты, затем оставляют, и ты должен нащупать правильную дорогу... Пошатываясь, протягивая неуверенные руки, с завязанными глазами ты идешь на голоса...

– Ты еще не была на Алайском? – спросил меня голос приятеля юности. – Обязательно сходи. Ты обалдеешь. Это грандиозно, они все перестроили.

Нет, я туда не пошла. Это была единственная возможность сохранить Алайский рынок таким, каким он был и должен пребывать вовеки – со старухой, разложившей на газете гребешки, пуговицы и старые открытки, – ...пока мой экипаж, запряженный четверкой безумных лошадей, не перевернется окончательно.

На третий день я отвязалась от сопровождающих и пустилась сама нащупывать дорогу в город своего детства.

Кстати, цвела сирень – белая и чернильно-фиолетовая.

Вдоль местного Бродвея, в прошлом улицы Карла Маркса («Карла-Марла»), обосновались продавцы всяческой кустарщины для туристов (пестрота керамики, желтый и красноватый блеск медной утвари), по обочинам улицы были натянуты оранжевые брезентовые шатры общепита. Возле одного такого шатра, привязанный за лапу к колышку, бродил вокруг ствола платана встрепанный коршун, сердито выклеывая что-то в траве.

Повсюду праздными группками стояли и что-то обсуждали комсомольского облика местные молодые люди в галстуках.

Я долго шла, влекомая утробным чувством общего направления, словно кошка, завезенная на глухой полустанок и вываленная там из мешка.

Вдруг обнаружилось, что в центре Ташкента все еще можно встретить небольшие пустоши среди одноэтажных тихих улочек под высоченными платанами и тополями, пустоши с высокой густой травой, в которой пасутся овцы.

На меня обрушились запахи ташкентских дворов по весне, сдобренные влажной духотой плодородной почвы, нежной и буйной зеленью апреля: кухонные миазмы из окон, запах вывешенного на просушку белья и прелых чапанов, запах пасущихся овец и оброненных конских яблок, запахи травы и расцветающих деревьев... Так терпко и сладко пахнет пот любимого...

Я мгновенно ошалела и благодарно заплакала, потому что стала узнавать – не улицы, а мгновения, эпизоды моей – на этих улицах – жизни.

Оказалась на Педагогической и пошла по ней.

По пути выплывали из небытия хореографическое училище – тяжелое сталинское здание с двумя балеринами улановского облика на барельефе, Окружной дом офицеров и ТюЗ, в котором я бывала раз двести, но который выпал из моей памяти, как стена дядькиного дома, – выпал вместе с площадью и памятником, если не ошибаюсь, Навои. Или Хорезми. Бронзовый, словно аршин проглотивший, худой старик...

И я дошла, наконец, до высоких невидимых ворот моего города. И воздушные стены его расступились и приняли меня. Воздушные стены города, в котором мне по-прежнему было хорошо.

То невысокое деревце, деревце – ...дже?.. жи?.. джида! Я даже вспомнила – каковы они на вкус, плоды этого дерева. Вернее, ягоды – сухие, словно из папье-маше, ворсистые, как бархат.

Та улица с непроизносимым ныне названием, – она вела к школе, а на крыльце того особнячка всегда сидели два старика. Здесь жил доктор, дантист. Грек. И это было нетипично. У греков принято было шить костюмы и стричься в их колонии – в Греческом городке. Греки были мастерами, они привнесли нам *западный стиль*. У меня была марка! – как я могла забыть! – «Солидарность с греческой демократией».

Ее мечтал у меня выманить Демос, одноклассник, лица не помню, помню только недетскую степенность и торжественный строй речи.

«Иисус был грек! – утверждал он.

– Почему? – удивлялись мы все, ибо уверены были, что Иисус, конечно же, был русским.

– Послушай: *Есус Христос!* – говорил он, подняв палец. – Грек! Кто же еще?!»

Приземистое старое здание кинотеатра «30 лет комсомола» – здесь во время спектакля умерла Комиссаржевская. Запнулась на середине реплики, схватилась за занавес, упала. А жила где-то недалеко, на улице Воскресенская. Каждое поколение смотрело здесь свои фильмы. На долю нашего выпали «Фантомас», «Лимонадный Джо» и «Искатели приключений»...

А позже, выше, над юностью, над любовью – витает поцелуйное словечко «вермут», со сладким причмокиванием на смыкании губ. Да: в подвале, рядом с кинотеатром был винный магазинчик, в него мы *спускались* по пути из консерватории...

И какие-то обрывки иностранных слов, произнесенных высокомерно любезным тоном...Зинаида...(Отчество? Отчество, черт возьми! Анатольевна?) Антоновна!

Зинаида Антоновна, старуха, из бывших дворян, разумеется, отсидевшая...Жила где-то здесь... Чаепитие по – не вспом-

нить уже – какому поводу....Ах да, я заходила за нотами! – у нее был «Темперированный клавир» Баха с замечательной аппликатурой, проставленной самим Глазуновым.

Время от времени звонил телефон, и она говорила с какими-то своими знакомыми – то на английском, то на французском, то на немецком. И когда опускала трубку, продолжала по инерции говорить со мною на том языке, на котором только что беседовала по телефону...

Я шла, и все было по пути, все кстати, все двигалось со мною, вокруг меня, словно я стала осью, вокруг которой нарастал мой собственный, давно рассыпавшийся город. Он собирался, восстанавливался, восставал из дешевых картинок моей безответственной безалаберной памяти, как восстанут в будущем мертвые из маленькой, но нетленной косточки.

Как собралось и выстроилось в затылочек странное имя улицы – *Маломирабадская*.

Как выросло вдруг на углу старое кирпичное здание аптеки.

Дорихона! Как я смела забыть это слово, ведь я с ним выросла, с этим словом, пахнущим йодом и новенькими бинтами, маминами каплями «корвалол» и подушечками приторного гематогена!..

* * *

Когда я сильно устаю, я вспоминаю вязкий мед ташкентского солнца... Керамический блеск виноградных листьев, тяжелые брусы янтарных сушеных дынь, светящуюся охристую плоть абрикос, сладкую истому черной виноградной кисти с желтыми крапинами роящихся ос.

Из дому надо выходить с запасом тепла...

Мне до сих пор тепло, благодарение Создателю.

Солнечное свечение дня. Солнечная, безлюдная сторона улицы...

Карагачи, платаны, тополя – в лавине солнечного света.

Мне до сих пор тепло.

Я ничего не изобретаю, ничего уже не пытаюсь понять, просто закрываю глаза и погружаюсь на дно потока. И если забыть, что я – это я, то и раствориться в этом потоке совсем не страшно.

Но страшен момент обнаружения себя в бездонных водах времени – вселенский ужас и вселенская тоска: где я? кто я? как смогу преодолеть этот бурный путь в кошмарной мгле?

И неужели меня не станет, когда я доплыву?

Слава Винтерман
ФОРМЫ ОТПЧАЯНИЯ

* * *

Конечно, с Греции начать
и с кораблей в порту,
и с амфоры – на ней печать,
но вкус вина во рту,

и с дымки нежно-голубой,
где юркают слова.
И крылышками вразнобой,
как ссорится, листва.

Продолжить Римом, ядом, сном,
усталостью копья.
Чернила мерзнут. Кровь с вином
прозрачнее, чем я

с уже скопившимся внутри,
разбитым на слои –
по правилам не той игры,
где все вокруг свои.

Продолжить домом и страной,
с которых весь отсчет,
детьми, смышленною женой,
что вяжет и печет,

любовью, теснотой в груди,
одной оглядкой вспять...
Мужают камни позади –
рельефа не узнать.

* * *

...Не вечность, а постный пейзаж за окном.
Заснувший каштан пробуждается пальмой.
И небо немытое с жирным пятном
луны или солнца державы опальной.

* * *

Я для тебя свяжу снежок,
пущу ледовую слезу.
Пусть не увязнет сапожок,
пока я за двоих везу.

Еще не снег, холодный дождь
крадется по листве за мной
по гривам сосен – эту дрожь
я тоже чувствую спиной.

Не дождь, а морось, страсти, бег
по веткам, высохшим от слез.
А я вяжу колючий снег
для вьющихся твоих волос.

* * *

По узким бородатым улицам,
по городу – внутри кишóк.
Шажок – и все слегка обуглится,
и вывалишься за шажок –
окаменелостью... Безумием –
сравнишься с Господом самим...
Как петуха, о прошлом думая,
крути меня, Иерусалим.
Раскачивай меня бессонницей,
жить не давай – и не прошу.
Пусть неустойчивая клонится
душа – я это опишу:
как примиряет или мучает
и не удерживает в том,
что было смыслом, волей случая,
как взвешен я и невесом.

После тебя начнется другая жизнь:
более дерзкая, ибо теперь я вырос.
И проникая в душу сквозь плаття вырез,
и вдоль прекрасных ножек взлетая ввысь, –
я пополняю лунных певцов – орду –
смысла, что сам собою – в любви и страсти –
цельно, еще ничем не разбит на части,
невыразим, как тело, в котором дух.

* * *

Я город позабыл, где жить хотел,
и женщину, и важную цитату.
И все не так, и зеркало – предел!
И сам себе: чужой и бородатый.
О, Господи, здесь твой водораздел:
любви и нелюбви, чем жизнь богата.

Читаю стоя, чтобы не заснуть.
Но и с дыханьем ускользает суть.

Соломинку, что ласточка уносит,
как строчка, про которую не спросят.
Я спал и потому не записал,
не вспомнил, застилая штиль постели
глотаю кофе, дергая гантели,
не отвечая тем, кто ночью звал.

* * *

Почувствовать штрихи сюжета,
не связанные красной нитью, –
скалистый холм, луны монета,
взгляд, обращаемый к зениту.

Как передвижник, всю картину
я потяну на юг бесстрашно.
Пейзаж легко заводит глину:
построить женщину и башню.

И будет так, как пожелаю! –
как музыка, звучит без спроса.
И небо тянет под колеса,
дорогу к Богу закругляя.

* * *

Сопротивляясь? – вяло огрызаясь!
сливаясь с нероскошной природой,
застывшим небом, платною работой,
согражданами... И не называясь,
чертить на всех залысинах породы,
на облаках поющих желторото.

Мир движется замедленной заботой.
И кто не умер – станет знаменитым
в своем цеху, в своей стихии дикой...
Скалистый холм. В симметрии двуликой –
небесные мазки. И старый ритм
заводит механизм с пол-оборота.

* * *

Я в поезде, а за окном –
Европа – чертежом!
Китаец что-то на родном
читает – на чужом.

Поля вокруг. Поля, поля,
сырые тополя.
Оранжевым огнем земля
взойдет от фитиля.

Плывут раскосые глаза
двоящейся луны.
И рельсов дикая лоза
неведомой страны.

* * *

Все города напомнят чем-то Киев,
затем напомнят Иерусалим.
Нет, все не то, и люди не такие
по улицам плывут полупустым.

В запутанных природой отношениях
блеснет зеленой змейкою ответ.
И вдруг возможным станет продолженье
и выход на искусственный, но свет,

из снов, кошмаров, где болеют дети,
из страха, что не сон, – по одному
нас не приветит город на рассвете,
а выбросит за белую корму.

И все исчезнет плавно по теченью,
террасами опустится на дно.
Ne déjà-vu, а просто совпаденье
еще одно, еще одно, еще одно.

Леонид Вейцель

ПО ЭТИКЕ И ЭСТЕТИКЕ

БУКЕТ ЦВЕТОВ

Лоянский приехал на центральную автостанцию Хайфы. Они с Замшем договорились встретиться в двенадцать и вместе поехать сменить ребят на базе в Эль-Фуране.

Всю роту по тревоге подняли в Хеврон. Лоянский, Замш, Брамс и Манки решили закосить и вызвались добровольцами охранять палатки на базе.

– Хоть поспим нормально, – ворчал Брамс, переворачиваясь в спальном мешке. Вся рота с криками «Мы им покажем!» загружала снаряжение в грузовик.

– Суки... Потише они на тревогу собираться не могут, – ругался Брамс, ворочаясь на раскладушке.

– Ничего, – успокаивал Брамса Манки, – вот сейчас они уедут, а мы поспим. Правда, Лоянский?

Лоянский свернулся калачиком в спальном мешке, и только нос его торчал наружу. За палаткой выл ветер, как капризный ребенок. Бушевал, сбивая кольца американской палатки.

– Котик, ты чего молчишь? – ласково обратился Замш к Лоянскому.

У Лоянского мурашки пробежали по коже. Хотя Замш и назвал его армейской кликухой, но Лоянский подумал: «живодер».

– Манки, дай пару затяжек сделать, – увидев красную искорку в темноте, попросил Брамс.

– Брамс, последняя, у меня больше нету, – начал Манки.

– Ну хватит плакаться, как баба, – перебил его Брамс, – у меня в сумке целый блок. Просто сейчас неохота его доставать – холодно.

– Тот, кто не плачется, тот не морской пехотинец, – промычал из спального мешка Лоянский.

– Кот проснулся, мяу-мяу, – захрюкал Брамс.

Вся рота с песнями погрузилась в автобус и уехала. Утром командир отделения очкарик Моше, он же – Маньяк, дал всей четверке чистить бельгийские пулеметы.

«Вот и отоспались», – подумал Лоянский.

Днем к ним прибежал Моше-Маньяк.

– Всю роту из Хеврона отпустили на шабат домой. Капитан дал добро, что на этот шабат двоих из вас тоже отпустят. Ну, кто хочет?..

Лоянский и Замш согласились.

– Но вы обязаны приехать и сменить Брамса и Манки на праздники, это приказ. Чтоб вы не забыли, когда праздники, я вам напоминаю: в воскресенье сразу после шабата. Чтобы потом не говорили: «Командир, у нас не было календаря, и мы не посмотрели и поэтому не знали, когда сменять своих друзей».

– Такого мы не скажем, – пробурчал Лоянский.

– Нет, не скажем, – подтвердил Замш.

– И не опаздывайте. Чтобы ваши товарищи тоже смогли добраться домой вовремя, – кричал им вдогонку Моше.

Лоянский и Замш тормознули кибуцника, и он подвез их прямо до Хайфы.

– Замш, смотри, в воскресенье не опаздывай, – кричал ему Лоянский, залезая в автобус.

– Я не могу, – мямлил Замш, – я живу в Араде.

– В воскресенье в двенадцать тут! – кричал Лоянский, высунув голову в окно автобуса.

– Но я живу в Араде, на юге, я не смогу.

– Замш, сделай усилие, постарайся.

– Все будет хорошо, – успокоил Лоянского Замш.

Лоянский посмотрел на часы.

– Блин, только десять, – грустно вздохнул он.

Присев на скамейке у автобусной остановки на Кирьят-Шмону, Лоянский задумался, что ему делать дальше. Праздники Лоянский не любил. Во время праздников весь город вымирал, было пусто и одиноко. «То ли дело в Союзе, – подумал Лоянский, – флаги, автобусы, карусели, народ живет». Что-то вроде ностальгии скрутило ему сердце. Лоянский оставил свою большую зеленую сумку на скамейке и решил прогуляться по станции. На одной из витрин маленького магазинчика лежал порножурнал. С обложки на солдата смотрели сиськастые смазливые красотки с многообещающим взглядом.

– Эх, – горько вздохнул Лоянский, вынимая кошелек из кармана и внимательно проверяя, сколько там денег.

– Да, солдатик? – ласково улыбнулась Лоянскому продавщица.

– Вот этот журнал, – указал пальцем Лоянский.

– Тридцать шекелей, сладкий, – сказала продавщица.

Крепко зажав журнал подмышкой, Лоянский проходил мимо лавочек с вкусно пахнущей едой. Каждый из продавцов ловил голодный взгляд солдата, зазывая его к своему ларьку. Лоянского привлек запах швармы. Сочное мясо, жарящееся на вертеле, исходило сочной слюной. От такого зрелища Лоянский и сам пустил слюну.

– Эй, солдат, для военных у нас скидки, – крикнул продавец швармы.

– Сколько? – заглатывая голодный ком, спросил Лоянский.

– Пятнадцать шекелей, дорогой, только для солдат.

Руки продавца быстро резали питу, наполняя ее салатами и стружками мяса. Лоянский со вздохом раскрыл опустевший кошелек. Вытаскивая скомканные бумажки, в сердцах он проклинал Замша за вынужденную трату денег.

Страхивая с зеленой формы крошки хлеба и обрывки мяса, Лоянский направился к желтому телефону-автомату.

«Последний раз его жду», – прошипел Лоянский, вклинившись взглядом в набегающую на него толпу. Толпа неслась, Лоянский вырывал из нее лица, фигуры, позы, ноги. Да, ноги. Сейчас он проводил глазами молодую бабу с туго налитыми ляжками, растущими прямо из коротких шорт. Две русские девки нагло разглядывали его фигуру, подпирающую телефон.

– Ну, чего надо? – состроил грозную рожу Лоянский.

Девки прыснули со смеху прямо ему в лицо, развернулись и медленно уплыли в толпе. Развалившись на скамейке автобусной остановки, Лоянский развернул журнал. Подул ветерок. Лоянский поднял голову, и сердце его запело: ёк-ёк-ёк. Она была вся такая воздушная, ветер играл ее длинными волосами, то открывая, то пряча нежное лицо от чужого взгляда. Ей также было интересно узнать, что же там рассматривает солдат Лоянский.

– Девушка, интересные я картинки смотрю? – задал вопрос Лоянский, быстро сворачивая журнал в трубку и пряча в тесный карман армейских брюк. Девушка смутилась, криво улыбнулась и покраснела.

– А как тебя зовут? Я – Лоянский, мое армейское прозвище Кот.

– Почему кот? – спросила девушка.

– Посмотри, разве я не похож? – Лоянский завертел головой во все стороны.

– Да, похож, а меня зовут Марина, – сказала девушка.

– И куда мы едем, Марина?

– В Кирьят-Шмону, я живу там в интернате.

– О, так нам по дороге, – соврал Лоянский.

Тут он понял, что больше ему сказать нечего. Мимо пробежала женщина, продающая букеты цветов.

– Ты хочешь идти в армию? – спросил ее Лоянский.

Марина рукой поправила волосы.

– Нет, не хочу, и ребята из моего класса тоже не хотят.

– А я служу в боевых частях, в морской пехоте, – Лоянский с гордостью выпятил грудь и коснулся фиолетового берета.

– Солдатик, купи для своей девушки букет, – пропела продавщица скрипучим голосом.

Марина потупила взгляд, ветер играл ее волосами, она ловила их, отбирая у ветра. Лоянский поглядел на Марину, на продавщицу цветов. «У меня совсем нет денег», – защемило у него сердце.

– Сколько?..

– Вот, возьми букет роз, всего десять шекелей.

«Последние...», – посмотрел в свой кошелек Лоянский.

Он гордо, почти торжественно вручил цветы Марине, она окунула в них свое лицо. Резкий звук тормозов разорвал тишину, подъехал автобус, из него посыпались люди. Марина поднялась с цветами.

– Ты куда? – спросил ее Лоянский.

– Приехал мой друг, – сказала Марина, указывая на парня, вышедшего из автобуса.

Мир Лоянского застыл, он видел только волосы, играющие на ветру, и букет роз.

– Это цветы для меня, – громко заржал парень.

Марина сквозь розы бросила взгляд на Лоянского и ушла.

Лоянский развернулся. Перед ним стоял Замш.

– Замш, ссука, из-за тебя я все деньги просрал.

– Я не виноват, – сказал Замш, – я живу в Араде.

– Это будешь рассказывать тем, кого мы сменяем.

Ночью Лоянский и Замш поднялись охранять бункер. Ветер сбивал их с ног.

– Замш, давай спрячемся в палатку возле бункера, – предложил Лоянский.

– А если нас офицер поймает, мы с тобой останемся тут сторожить до следующих праздников.

– Замш, спокойно! – Лоянский вошел в палатку первым, за ним Замш. Они уселись на ящики с минометными снарядами.

Лоянский достал журнал и, подсвечивая фонариком, начал разглядывать глянцевого девиц.

– Эх, Замш, если бы ты знал, какую девушку я сегодня встретил... – Лоянский вздохнул. – Ну почему с другим?

Замш молчал.

– Замш, ты меня слышишь? – Лоянский посветил фонариком в лицо Замша. Замш спал.

КОМАРОВА

Приехал мой армейский товарищ Фукс вместе с женой-лабанкой. Брамс, Фукс и я служили в одной роте. Брамс хвастал, что тоже знает литовский, но, кроме первой фразы «лабас дэнас», он уже больше ничего родить не мог. Жена Фукса Люция забрасывала Брамса разными забористыми выражениями, но Брамс гордо и с достоинством – по меньшей мере, так ему казалось, – молчал. Фукс начал подсмеиваться над Брамсом.

– Ты, Фукс, – маленький ребенок, – говорил ему Брамс, – мы тебя воспитали, мы тебе и жену нашли, а на детей, таких, как ты, я не обижаюсь. Верно, Лоянский?

– Верно, брат Брамс, правду говоришь.

Фукс снисходительно улыбался.

– Саша, – обратилась к Фуксу его жена Лючия, – ну, мы едем искать Комарову или нет?

– Откуда я знаю? – истерично взвыл Фукс, при этом глазки его широко раскрылись и быстро захлопали. Этот фуксовский танец глазами Брамс называл «брэйкданс».

– Лоянский, ну мы едем искать Комарову? – чуть не плача, спросила Лючия.

– Едем, – успокоил её Лоянский.

Развалюха «Субару» со скрипом остановилась возле ворот общаги. Фукс и Лоянский вылезли из машины, нацепив черные очки. Лючия встала между ними, по ходу пьесы она одёрнула свою кожаную мини-юбку, бросив исподлобья хитрый взгляд на парней, и прошипела: «Выглядят точно как два сутенёра».

– Здравствуй, милый, – Лючия одарила своей ослепительной улыбкой охранника-эфиопа.

Фукс ревниво засопел, как только эфиоп обнажил ряд белых зубов.

– Ненавижу рекламу зубного порошка, – заворчал Фукс.

– Не знаешь ли ты, где живёт моя сестрелка Комарова? – спросила его Лючия.

– Комарова... – подумал минуту эфиоп, вдруг его осенило, как Архимеда в Сиракузах, – конечно, знаю, она часто сидит у меня в будке.

Фукс ехидно заржал. Каким-то шестым чувством Лоянский определил нужную дверь и постучал. Дверь им открыла незнакомая девица.

– Комарова тут? – спросил Лоянский.

Девица скрылась в проходе, но через минуту вернулась.

– Комарова не хочет вставать, хотите, будите её сами.

Фукс и Лючия подтолкнули Лоянского внутрь.

– Как ты с ней познакомился? – спросил его Фукс в машине.

– А почему это тебя так интересует? Лючия, твой муж не прочь сбежать налево, – подначивал Лоянский.

Тяжелым взглядом Лючия придавила Фукса к рулю.

– В пятницу вечером я и Толик пошли на дискотеку, – начал рассказывать Лоянский.

– Это какой Толик? Тот самый жмот, который одну бутылочку пива в складчину на троих покупает?

– Ну что поделаешь, Фукс, такая наша загадочная еврейская душа.

– Фукс, вопросы в разговор не вставляй, дай Лоянскому рассказать, – приказала Лючия.

– Я и Толик быстро сориентировались в этой мухобойне. Мы увидели брюнетку с причёской Медузы-Горгоны и неоновым блеском глаз. «Я знаю этот блеск, – кричал мне в ухо

Толик, – так глаза светятся только у новых русских». Целый час мы танцуем вокруг неё, кружим как ночные мотыльки, а она ноль внимания.

– Под кайфом, что ли, она была? – спросил Фукс.

– Фукс, не вставляй! – заткнула его Лючия. – Я тоже любила помучить мальчиков на дискотеках.

– Мне надоела эта охота за новой русской, я махнул на все и пошел к бару. А там стоит девушка, в одной руке стакан, в другой сигарета; одета, словно кукла, и притоптывает в такт музыке, как ангел с подрезанными крыльями. В это время диджей меняет пластинку на медленный танец. «Потанцуем?» – говорю я ей. Она долго пристально меня разглядывает, чуть щуря глаза, а потом и говорит: «Извини, я плохо вижу, очки дома забыла». «Ничего, для меня нет барьеров. Моя таинственная незнакомка, это медленный танец, и я поведу вас сам», – говорю, сжимая в это время своими музыкальными пальцами её запястье.

– Это у тебя-то музыкальные пальцы? – удивляется Фукс.

– Фукс, не вставляй, – рычит на него Лючия, – твой мизинец даже в ноздрю не влезет, так что сиди и помалкивай.

Лоянский продолжил:

– Она мне сказала: «Только допью и докурю – и идем». В это время медляк закончился, и мы пошли с ней танцевать транс. Мы танцуем, она размахивает руками и головой, я тоже вхожу в экстаз и вдруг плечом задеваю её подбородок, и челюсть таинственной незнакомки клацает на всю дискотеку.

– Челюсть хоть цела? – смеётся Фукс.

– Не знаю, приедем – посмотрим, – обещает Лоянский.

– Комарова, вставай, – закричал Лоянский, – к тебе гости пришли.

– Какие гости? – раздался из соседней комнаты глухой сонный голос. – Я спать хочу.

– Она красивая? – спросил Лоянского Фукс, сжимая в руках коробку конфет.

– Сейчас увидишь, – обнадёжил его Лоянский. Лючия ревниво посмотрела на Фукса. В комнате воцарилась тишина.

– Что-то никто не идёт, – промычал Фукс, открывая коробку.

– Комарова! – яростно закричал Лоянский.

– Ну... – слышался в соседней комнате недовольный женский голос.

– Или ты сейчас же выйдешь к нам или мы все зайдём к тебе, – пригрозил злой и в то же время растерянный Лоянский.

– Иду, иду... Спать людям не дают... – из комнаты выползло что-то ужасное, взлохмаченное, завернутое в плед. На ощупь, один глаз под слипшимися космами так и не раскрылся, оно двигалось на гостей, пока не напоролось на угол стола. Шоколадные конфеты Фукса вывалились из его мёрт-

вой руки на стол коричневым дождём: кап-кап-кап. Лоянский видел вытянутое от удивления лицо Люции и злорадную улыбку соседки Комаровой.

Лоянский стоял у окна, скрестив руки, и смотрел вдаль.

«Неужели я перепил в тот вечер? – задавал он себе единственный вопрос, украдкой поглядывая на сгорбленную Комарову, вылавливающую длинными пальцами шоколадные конфеты со стола. – Надо ей хоть какой-то комплимент сделать», – подумал Лоянский. Неделю он мучился, не спал, стараясь представить себе эту встречу.

Она ему казалась такой загадочной и неземной, он ни с кем не хотел о ней говорить, боясь, что чувство обрётённого счастья испарится и улетит.

Но такой встречи он, конечно, представить себе не мог. «Все переживания, надежды, ради чего? – смеялся он над собой. – Ради этой нечёсаной бабы, с жадностью хватающей рассыпанные по столу конфеты?».

– Комарова, у тебя красивые пальцы, – сделал над собой усилие Лоянский.

Комарова, довольная, осклабилась и перекусила пойманную конфету пополам.

– У меня есть друг, и я ему верна, – сказала Комарова. – Это так, для справочки, если вдруг я забыла тебе это сказать.

– И где же твой друг? – спросил её Лоянский.

– На Урале, – ответила Комарова.

– Слушай, Комарова, так мы даже не переспим?

– Нет, – ответила Комарова, неторопливо макая конфету в чашку с чаем.

– Последний вопрос. Комарова, скажи мне, в тот вечер нашего знакомства я был сильно пьяный?

Комарова чуть подумала, подняв глаза вверх и грызя конфету.

– Нет, был вежлив, и всё как надо.

– Ну, тогда будь, Комарова. Я поехал.

– Пока, – махнула ему Комарова перепачканными в шоколаде пальцами.

Прошёл год.

Я гулял по городу, шум проезжающих автобусов заглушал мои мысли.

– Лоянский? – кто-то позвал меня, и я обернулся.

– Блондинка, чего тебе надо?

– Ты меня не помнишь?

Я смутно узнаю знакомые черты, тень проезжающего автобуса пятном легла на мое сознание, но вот автобус уехал, сноп яркого солнца бьёт в глаза.

– Комарова, ты, что ли?

– Я, – улыбается Комарова, – у меня плохая память на лица, но тебя, Лоянский, я сразу узнала.

Светофор сменил красный свет на зелёный, и сквозь нас полился поток людей.

– Комарова, ну что, переспим?

Люди безжалостно толкают нас, сбивают, пытаются унести с собой в потоке.

– Может быть, может быть, – загадочно улыбается Комарова.

Любви у меня к ней уже не осталось, только одно желание.

– Комарова, как твой друг поживает на Урале?

Визг тормозящей машины больно режет уши, Комарова хмурится.

– Я этому подонку показала, что такое этика и эстетика. Тоже мне Ромео, к бабе хотел примазаться, у которой ребёнок и муж-бизнесмен.

Лицо Комаровой стало похоже на кокер-спаниеля: чёлка, спадающая на горящие злобой глаза, и длинный нос, тянувшийся кверху.

– Ты его любила, Комарова?

– Нет, мне было всё равно, я быстренько побежала к мужу этой бабы и всё популярно ему объяснила.

Автобус заслонил нас от солнца.

– Зачем ты их заложила, Комарова?

– Чтоб этот мерзавец знал, что такое этика и эстетика.

«Ну и мразь», – подумал я.

– Комарова, о моём предложении забудь, нам с тобой не по пути.

Зажёгся зелёный свет, и автобус уехал.

– Так что, до встречи через пару лет? – кричала мне вдогонку Комарова.

– И не надейся, Комарова, по этике и по эстетике даже не надейся, – моё признание утонуло в людском шуме улицы.

Александр Файнберг

ИЗАБЕЛЛА

– Любимый мой...

– Любимая моя...

По улице, монистами звеня,
Цыганка бродит, чёрная змея,
Звучат из окон пьяные гитары.
В проулках по-над зеленью оград
Лучится изабелла-виноград,
И две души гуляют наугад.
И винный дух витает над кварталом.

– Любимая моя...

– Любимый мой...

Подвал прохладой дышит земляной.
Но устлан пол кошмою шерстяной,
И в нише золотой свеча пылает.
А юных губ вишнёвая смола
Околдовала и с ума свела.
– Гореть, – сказала, – так гореть дотла.
И вспыхнуло божественное пламя.

– Любимый мой...

– Любимая моя...

Там, наверху, в цветах лежит земля,
На чьей-то свадьбе, трубками дымя,
Играют на цимбалах молдаване.
Но их не слышат ни она, ни он.
Здесь тайна слёз и счастья тихий стон.
Колоколов нездешний перезвон.
Седьмые небеса стоят в подвале.

– Любимая моя...

– Любимый мой...

Снежок летит над праздничной Москвой.
На площади – водоворот людской.
Текут вдоль мавзолея демонстранты.

Держа детей испанских на плечах,
Они «Ура!» правителям кричат.
Но отчего-то всё же по ночам
На Спасской всё тревожней бьют куранты.

– Любимый мой...

– Любимая моя...

Лежит в руинах польская земля.
Европу оплели концлагеря.
В ночи поют летучие сирены.
А здесь, в подвале – стол да полка книг
Хранят благословенный сон двоих,
И над кошмою осеняет их
Жасмина дым и облако сирени.

– Любимая моя...

– Любимый мой...

Стал на колени муж перед женой.
Целует край рубашечки льняной,
За светлый дар благодаря планиду.
В сыром подвале на краю страны,
Не зная ни проклятий, ни войны
Под вечно золотой звездой Давида.

– Любимый мой...

– Любимая моя...

Ещё тихи днестровские края.
Но вновь цыганка – чёрная змея,
С утра напившись, горе всем гадает.
Ещё летают аисты окрест.
Ещё светлы одежды у невест.
Но есть граница. На границе – Брест.
Над ним зарницы. Плачь, моя родная.

– Любимая моя...

– Любимый мой...

Обняться бы с отцовскою землёй.
Но землю эту, лязгая бронёй,
Уже терзают танковые рыла.
Прожить бы век свой, неба не кляня.

Не знать бы ни Рейхстага, ни Кремля.
Но в небе, громокая и ревя,
Сам бог войны кресты несёт на крыльях

– Любимый мой...

– Любимая моя...

В грязи осенней тонет колея.
Играет Вагнер. Над толпой паря,
Валькирии врагу поют победу.
И к Богу вскинув чёрный свой кадык,
Кричит цыганка. Но под этот крик
Корябает стальной солдатский штык
Звезду Давида на воротах гетто.

– Любимая моя...

– Любимый мой...

Прикладом – в спину. Лай сторожевой.
Вокзала копоть. Колокола бой.
– Молчи, молчи. Не говори ни слова.
В прощальном небе – стаи воронья.
– Я твой навеки.
– Я навек твоя.
Но хрюкнула арийская свинья.
И на вагонах лязгнули засовы.

– Любимый мой...

– Любимая моя...

Дивись, цыганка, чёрная змея.
Хоть разлучают всех концлагеря,
Но эти двое выпали из правил.
Там, у печей, где смертная зола,
Она его, живого, обняла.
– Гореть, – сказала, – так гореть дотла.
И вспыхнуло божественное пламя.

– Любимая моя...

– Любимый мой...

Блажен виновный не своей виной.
Так для чего ж роптать перед судьбой?
– Молчи, молчи. Не говори ни слова.

С чужой земли, не глядя больше вниз,
В свою родную улетаю высь,
Два дыма в небесах переплелись,
Чтоб никогда не разлучаться снова.

– Любимый мой...

– Любимая моя...

Поклон тебе, молдавская семья.
Четыре года страх в сердцах тая,
Ты укрывала мальчика-еврея.
Спасённый от петли и от свинца,
Он вырос. Но с отвагою истца,
Чтоб есть и пить за маму и отца,
Он двинул к берегам золотого Рейна.

– Любимая моя...

– Любимый мой...

Бог с нею – с этой сытою страной.
Бог с ней с её повинной головой,
С её богатством и её гордыней.
Она, как Феникс, встала из руин.
Прекрасны Франкфурт, Гамбург и Берлин.
Но посмотри на это небо, сын.
Ты видишь два качающихся дыма?
Ты слышишь над собой колокола?
Жил на земле отец, и мать жила.
Так для кого ж хранит она – зола –
Ту память, что святою именуем?
Но сын и головы не повернул.
К столу поближе он подвинул стул.
С усмешкой «Изабеллы» отхлебнул
И вилку ткнул в свиную отбивную.

– Любимый мой...

– Любимая моя...

Феликс Кривин

ПАРК

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АДАМА

Дедушка Рабинович не любил анекдотов, потому что все они были про Рабиновича. Не было сказок про Рабиновича: жил-был король Рабинович. Не было былин: ой ты гой еси Рабинович, добрый молодец. Не было песен: и с нами Рабинович, первый красный офицер, сумеем постоять... за что бы Рабиновичу постоять? Жизнь складывалась так, что приходилось стоять не Рабиновичу, а за Рабиновича.

Зато у дедушки дедушки Рабиновича жизнь складывалась иначе. Был у дедушки Рабиновича дедушка, тоже, между прочим, Рабинович. Большой знаток и любитель анекдотов. Время было трудное, дореволюционное; анекдоты, как старые евреи, обрастали бородами, и тогда, чтобы их как-то усмешнить, обновить, что ли, дедушкин дедушка прибегал к помощи известных авторитетов. «Мне великий князь рассказывал», «Мне его сиятельство рассказывал», «Мне его святейшество рассказывал». Конечно, анекдоты от великого князя и святейшества слушались с большим интересом, чем анекдоты от никому не известного Рабиновича, но тут грянула революция, обесценившая в один момент все старые авторитеты, и пришлось прибегать к новым: «Мне Ленин рассказывал», «Мне Троцкий рассказывал».

Но случилось так, что Ленин умер, Троцкий оказался троцкистом, и на него ссылаться уже было нельзя. Пришлось ссылаться на более мелких. На Зиновьева, на Каменева. В анекдотах бы им жить и жить, но время было для жизни не приспособленное. Расстреляли Зиновьева и Каменева, и анекдотам от них пришел конец.

И тогда настало время анекдотам от Бухарина. Бухарин – любимец партии, уж он-то Рабиновича не подведет. А когда расстреляли Бухарина, тут-то в поле негласного зрения попал и Рабинович. Заинтересовалось негласное зрение: что же такое мог ему Николай Иванович рассказать?

Стали копать под Рабиновича. Но он, кроме анекдотов, ничего не знал. Подсадили к нему надежного человека на предмет информации. И что вы думаете? Информация тут же появилась. Ему Ежов рассказывает. Он же его сажает, и он же ему анекдоты рассказывает.

Делать нечего, посадили Ежова. За эти самые анекдоты, которые он рассказывал Рабиновичу.

Тут и Рабиновичу пришел конец. Дали Рабиновичу, что положено, без права переписки.

И было за что. Царя из-за его анекдотов расстреляли со всей семьей, Зиновьева с Каменевым расстреляли, Троцкий из-за него покинул родную страну. Ежова, кристальной чистоты человека, поставили к стенке. А рядом с ним – какая честь! Рабиновича.

И тогда началась его посмертная жизнь – в анекдотах. «Что такое с Рабиновичем?» – «Он умер». – «То-то я смотрю, его хоронят...»

Нет, не похоронили Рабиновича без права переписки. Но в анекдотах допускается эта небольшая вольность.

Зато попробуйте расстрелять анекдоты от Рабиновича! Они вечно живые, как сказал один драматург, – правда, по другому поводу.

Это-то и угнетало внучатого дедушку Рабиновича. Поэтому он выпивал. Не в лежку, не в запой, а лишь по серьезным, можно даже сказать, историческим поводам. То он отмечал победу русского оружия под Москвой, то под Бородином, то аж на Куликовом поле. А однажды пил целый год, не зная точно, в какой именно день прорубили окно в Европу.

Вот какой человек был дедушка Рабинович. А его в анекдоты. Позор!

Последний раз мы с ним виделись, когда он праздновал день рождения Адама.

– Какого Адама, дедушка?

– А ты не знаешь? Первого человека.

– И сегодня у него день рождения?

– А что у нас сегодня? Двадцать третье октября? Ну, значит, сегодня.

Дедушка Рабинович налил и выпил для освежения памяти.

– Главный его юбилей будет в девяносто шестом. Шесть тысяч лет – как тебе эта круглая дата? Три тысячи лет Адама отмечал царь Давид, пять тысяч лет – Владимир Красно Солнышко. Неплохая для нас компания.

Дедушка налил, выпил и до того освежил мозги, что сообразил: не дожить ему до этого юбилея. До него еще жить и жить, а у дедушки уже все годы вышли.

Он налил мне, словно передавая эстафету:

– Ты-то хоть не забудь отметить. Запиши где-нибудь. Заодно и меня помянешь. Я хоть и не первый человек, но помянуть можно.

Я пообещал и записал на бумажке: «23 окт. 96 г. пом. Ад. и д. Р.».

Через много лет попалась мне эта пожелтевшая бумажка, и я не смог прочитать, что на ней написано. Видно, крепко передал мне эстафету дедушка Рабинович: ничего не осталось в памяти.

Да и не верил я в Адама. Шесть тысяч лет назад земля уже кишела людьми, а тут – на тебе! – является первый человек. Может, он был первый не по порядку, а по занимаемому положению? Какой-нибудь фараон или вождь племени.

Потом еще прошло много лет. Девяносто шестой год пролетел незаметно. Скромно отметили юбилей академика Сахарова, пышно – переизбрание президента на новый срок, а об Адаме – ни слова.

И тут совершенно случайно раскрываю я один исторический труд, а там черным по белому, теперь уже по желтому: так, мол, и так, доктор Джон Лейтфут, профессор Кембриджского университета, кстати, доктор наук и все прочее, в результате пятнадцатилетнего упорного труда установил, что первый человек Адам появился на свет 23 октября 4004 года до нашей эры. Ровно в 9 часов утра, вот с какой точностью. Получается, что в минувшем году ему исполнилось шесть тысяч лет.

Я пропустил эту дату. Я не помянул Адама, не помянул дедушку Рабиновича. Не составил компанию царю Давиду и великому князю Владимиру. До следующего юбилея – 999 лет, и кто его отметит? Да и будет ли кому?

Я подвел дедушку Рабиновича. Не я первый его подвел. Его подвели и сказки не про Рабиновича, и былины, и песни не про Рабиновича. Одни анекдоты не подвели дедушку Рабиновича. Напрасно он на них обижался.

АЛЕВТИНА

Русская женщина Алевтина в свои сорок с небольшим изящным хвостиком лет не могла себе представить двух вещей: что она выйдет замуж и что сменит свое почетное гражданство, которому так завидовали граждане других государств. Но вездесущий Бог, у которого все государства были, как на ладони, имел на нее свои виды, хотя с ними до поры до времени не спешил. А когда она его торопила, отмахивался: да погоди ты, Алевтина, не до тебя. Не видишь, что ли, что в мире деется? Лишь бы сдыхаться, раз подсунил ей какого-то мужичка, второй раз подсунил мужичка, но все они отлетали от Алевтины, как горох, забывая возвращаться обратно. Да что ж это за напасть такая, сокрушался Бог, с одной, извините за выражение, бабой не могу управиться. И грозил: гляди у меня, Алевтина, еще раз такое учдишь, я от тебя отрекусь навеки.

И подсунил Алевтине старичка. Манюсенького такого, хлипенького и вдобавок еврейского происхождения. А что, думает, надо и евреев куда-то девать, совсем они у меня запущены в национальном вопросе.

Старичок сидел в милицейском сквере на скамеечке, а Алевтина шла мимо. Она всегда ходила мимо милиции с высоко поднятой головой, гордая своим гражданством, давая всем понять, что ни на какое другое гражданство его не променяет. А тут почему-то приостановилась, смотрит – сидит на скамеечке старичок. Аккуратный такой, симпатичный, но чем-то как будто рас-

строенный. Сидит и плачет прямо на глазах у милиции. Даже Бог прослезился, заморосил дождиком. Опять, думает, я чего-то недоглядел.

Дал указание Алевтине. Подсела она к старичку, стала утешать его, гладить по лысинке. Интересоваться, что у него стряслось и что вообще может стрястись на глазах у такого надежного и достойного учреждения.

И вот сквозь слезы и всхлипы поведал ей старичок, что ему уже много лет, но он не об этом плачет, совсем не об этом. Когда-то у него был отец, который давно уже умер. Полвека прошло. Но не то обидно, что папа умер, сейчас бы он все равно уже умер, а то обидно, что от него, умершего, справку требуют, не возражает ли он, чтобы сын покидал страну. А то, говорят, явится ваш отец за пенсией, а государство его содержи в отсутствие законного сына. Ну какая пенсия на том свете? И как он справку даст, если его давно уже нет? И о том, что он умер, справку не дают, никто не помнит, что он вообще жил на свете. А милиция без справки не хочет выпускать старичка. Что, говорит, это будет, если государство начнет выпускать каждого?

Неужели наше государство любит своих людей? Мы-то об этом никогда не подозревали, думали, что государству на нас наплевать, а оно, оказывается, нами дорожит, от себя не отпускает. Взять хотя бы этого старичка. Какая от него польза государству? Пусть бы валил на все четыре стороны. Освободил бы жилплощадь, и пенсию не пришлось бы платить. Но государство его удерживает, принеси, говорит, справку, за справкой принеси выписку, за выпиской доверенность, что тебе доверяют другое государство, а от того государства – обязательство взять на себя о тебе заботу. Но все это только повод, чтоб удержать старичка при себе. Потому что государство любит старичка, хотя вида не показывает.

Почему оно не показывает? За всю его долгую жизнь ни разу не показало. Да если б оно хоть как-то, хоть самую чуточку показало, он бы, может, не уезжал, зачем ему на старости лет мыкаться по свету? Но государство держит любовь в себе, прячет в самых глубоких инстанциях, а наверх выставляет такое, что, не глядя куда, сбежишь.

Как услышала Алевтина, что старичок намылился покинуть Родину, хотела встать и уйти, но Бог приказал:

– Сидеть! Больше сочувствия, понимания!

Ну, сказанул! Откуда у нее понимание к совершенно незнакомому человеку?

А Бог между тем развивает мысль:

– Я думаю, тебе надо выйти за него замуж.

– Это как? – удивилась Алевтина. Придуривается. Сорок лет прожила и не знает, как это дело делается?

Бог даже не стал отвечать. На кой ему пустые разговоры. А она уже смотрит, примеряет к себе старичка. И решительно говорит, как с Богом вообще-то не разговаривают:

– Не хочу за него замуж!

– Хочешь! – говорит Бог.

И сразу Алевтине захотелось. Так захотелось, ну прямо никакого терпения. И именно за этого заморыша, которого жизнь где только не валяла, не мяла, не корежила. Подавай ей эти объедки.

Но и это еще не все. Бог продолжает гнуть свою линию:

– Насчет справки – я на тебя полагаюсь. Оформите документы – и сразу на самолет.

– Это с родины? В чужую страну? – ахнула Алевтина.

– Ничего страшного, – утешает Бог. – Страна хорошая, обетованная. Пять миллионов населения, и из них чуть не половина евреев.

Столько евреев Алевтина в жизни не видела.

– А меньше евреев нельзя? – взмолилась.

– Может быть, впоследствии, – обещает Бог. – Они постепенно переселяются в Америку и в Канаду.

– Не хочу к евреям! – заныла Алевтина.

– Хочешь! – твердо сказал Бог. И в ту же минуту Алевтине захотелось к евреям. Так захотелось, ну просто мочи нет. Прижалась к еврейскому старичку, просит:

– Возьми меня замуж, миленький, увези в еврейскую страну!

Глянул старичок на Алевтину и опять заплакал – теперь уже от радости. Она же еще совсем молодая женщина для него, старого бугая (так он себя уважительно называл, в отличие от старого козла, как его называли другие). Будет с кем старость коротать, а если повезет, мысленно подмигнул он себе, то и молодость.

Встал со скамейки. Маленький получился. Женщина – и то выше, хотя и сидит.

– А вы меня любите? – спрашивает. Обнаглел.

– Люблю, – подсказывает Бог Алевтине. Но Алевтина уклоняется от прямого ответа.

– Как же тебя, маленького, не любить? – отвечает вопросом на вопрос, уже по-еврейски. И старичок подумал: действительно. Как же его не любить? Сколько его жизнь в этом разубеждала, а он все еще верит, надеется.

Повел Алевтину к себе домой, показать квартиру, мебель, все, что придется продавать. Бог отстал по дороге. Сколько можно с ними панькаться? Взрослые, сами разберутся. А у него дел и так выше головы.

Это он загнул. Выше головы у него ничего нет, все дела на земле, а он на небе. Так бы каждый хотел устроиться.

Старичок оказался тихий, безответный, совершенно к жизни не приспособленный. Ничего, она его приспособит. Не к жизни, конечно, а вообще. К жизни в таком возрасте приспособливать бесполезно, но к другим семейным обязанностям приспособит наверняка.

Она сразу стала называть его Мишей, игнорируя отчество Арнольдович, тем более, что папаша Арнольд умер черт-те где и черт-те когда. И старичку Мише Алевтина тоже понравилась.

Если она берет на себя оформление документов, все заботы о переезде, плюс заботы о нем, старичке, то скажите: чему же здесь не понравиться?

Прямо из-под венца Алевтина ринулась на взятие документов. Развила такую энергию, что начальник милиции собственноручно выписал справку не только от лица милиции, но и от себя лично.

Старичок Мишенька, хоть и был на вид захудалый, имел прекрасную, звучную фамилию: Венберг. Но, как многие фамилии, она имела свое уязвимое место. Если читать ее по-русски, слева направо, получится еврейская фамилия, а если по-еврейски, справа налево, получится русская. Это сразу заметила мадам Венберг, заметила и заволновалась: а вдруг их с Мишенькой в Израиле прочитают по-еврейски? У них же там всех так читают.

Но все получилось не так плохо. Если уж читать по-еврейски, так читать. И у Алевтины по-еврейски имя прочиталось просто замечательно: Анитвела. Такого красивого имени вообще ни у кого нет.

А у Михаила, если не особенно придирается к гласным, как принято в еврейском языке, можно прочесть главное еврейское слово: ЛЕХАИМ.

К ЖИЗНИ! Ну, наконец-то к жизни. Прежде, когда Алевтина еще не была Анитвелой, она двигалась в обратную сторону.

СЧАСТЛИВЧИКИ

В Далетском парке у Эры Моисеевны было любимое местечко. Не самое тенистое. Не самое уединенное. Прямо через это место ходил, бегал и прыгал с лечебной целью народ, и даже скамеечки не было, во избежание сидячего образа жизни. Но было у любимого местечка Эры Моисеевны одно великое преимущество: здесь лучше всего ловилось радио «Свобода».

Люди, которые в глаза не видели свободы, любят слушать ее по радио. Как сказал по радио баснописец Эзоп в одноименной пьесе, где здесь пропасть для свободных людей? Сказал – и бросился в пропасть, чтобы хоть на мгновение почувствовать себя свободным человеком.

Потому что радио «Свобода» в то время не было. А зачем Эре Моисеевне шмякаться неизвестно куда, причем с заранее известным исходом? У нее было радио «Свобода», сопровождавшее ее всю ее долгую несвободную жизнь. В несвободе «Свобода» слышится лучше, чем на свободе.

Большое видится на расстоянии, но слышится лучше вблизи. А Эра Моисеевна верила только радио «Свобода». Государству она не верила – и вот она здесь. Мужу не верила – и он ушел от нее к другой женщине. Детей пропустим. Внук в армии. И как ему в армии ни тяжело, там ему почему-то лучше, чем у бабушки.

Хотя бабушка не командует: «Смирно! Кругом! Марш-бросок на десять километров!»

Бабушка вообще старается рта не раскрывать, но внуку у нее почему-то хуже, чем в армии. Наверно, это потому, что бабушка намного старше по сравнению с ним. Но где вы видели внука, который был бы старше бабушки?

А внука у Эры Моисеевны не хочет учиться. Она хочет только гулять. И как гулять! Совсем не так, как Эра Моисеевна гуляет по парку. Она хочет гулять вообще, а не по парку, вот в чем беда.

А тут еще врачи бастуют целыми больницами. Болезни не бастуют, а врачи бастуют. Должна же быть какая-то согласованность.

Вот здоровье – оно бастует не переставая. Поддерживает врачей, будто с ними сговорилось. А болезни на сверхурочных работах. И в дневную смену, и в ночную. Ни сна, ни отдыха.

Вот радио «Свобода» не бастует никогда. Если его, конечно, слушать в определенном месте, прижав его плотно к уху и зажав другое ухо, чтоб не слышать ничего лишнего,

От звуков хотя бы можно что-то зажать, но что зажать от мыслей?

Так стоит Эра Моисеевна, немножко свернувшись калачиком, в удобной позе не для нее, а для радио «Свобода», когда к ней с зажатой от него стороны подходит Серго Соломонович.

Серго Соломонович был дамский угодник. Еще в четвертом классе он пытался заигрывать с учительницей арифметики, но между ними существовало неравенство (мезальянс): она знала, а он не знал арифметику. Он улыбался учительнице, подставлял ей стул, приносил из учительской мел, но не мог решить ни одной задачки. Потому что из всей арифметики он любил только учительницу арифметики, а для серьезных чувств этого недостаточно.

Из школьных предметов он больше всего любил литературу. Но учительницу литературы он не любил. Она была старая, некрасивая, особенно на фоне русской литературы. Он мечтал, чтоб литературу преподавала учительница арифметики! Он бы читал ей наизусть «Мороз и солнце – день чудесный», рассказывал своими словами про Ваньку Жукова, девятилетнего мальчика, который написал письмо на деревню дедушке, и она бы плакала, потому что это очень жалостливый рассказ.

Он надеялся, что с годами его увлечения женщинами пройдут, но чем старше он становился, тем больше ему нравились женщины. Работая на книжной базе, он влюбился в директора базы. Все решили, что он подхалим, но он влюбился в директора как в женщину, потому что директор и был женщиной. Идя на базу, Серго Соломонович покупал по дороге цветы и вручал их директору. Директору это было приятно. Если Серго Соломонович приходил на работу без цветов, у директора сразу портилось настроение. Однажды он даже хотел директора поцеловать, но в последний момент не решился, ошибочно полагая, что целовать

директора может только директор. А директор был вовсе не прочь, чтоб его целовали подчиненные, в том числе и Серго Соломонович, и даже особенно Серго Соломонович, потому что Серго Соломонович приносил директору цветы.

Как-то, находясь в командировке, он послал директору телеграмму. У него не хватило денег на полный текст, и он соединил частицу «не» с глаголом, хотя и знал, что с глаголом все частицы пишутся раздельно. Но, конечно, они пишутся раздельно, когда за них не нужно платить, об этом не было сказано в грамматике, но жизнь вносила свои коррективы.

Так бы он и отправил телеграмму, но телеграфистка оказалась такой хорошенькой, что было неудобно выглядеть неграмотным в ее глазах, а главное – целовать при ней другую женщину. И он отделил на радость грамматике частицу «не» от глагола, вычеркнув слово «целую». Даже в телеграмме не удалось директора поцеловать.

Чтоб гарантировать себе поцелуи на будущее, пришлось директору выйти за Серго Соломоновича замуж. Некоторые считают, что женитьба – лекарство от любви, но это не совсем точно. Женитьба – лекарство от одной любви и стимуляция второй, третьей, четвертой. По крайней мере, так это было у Серго Соломоновича. И однажды, когда уже не было сил целовать директора (который, кстати, был очень хорошим директором, если только его не целовать), Серго Соломонович, подобно военному летчику, не вернулся на свою базу.

В Далетский парк Серго Соломонович приходил со своим телескопом. Не каким-нибудь большим, пулковским, а карманным, привезенным из Одессы, с Обсерваторного переулка, одно время переименованного в переулок Тон Дык Тханга, но в последнее время разымененованного, как разыменена была Дерибасовская, которую переименовывали то в Чкалова, то в Лассалья, известного, кстати, оппортуниста в рабочем движении. И именем такого человека назвать самую прекрасную улицу на свете? Это вам не оппортунизм?

А кто такой Тон Дык Тханг? В Ханое его каждая собака знает, но Одесса вам не Ханой, у нее совсем другие знакомые. Как же можно было единственный на всю Одессу Обсерваторный переулок назвать именем, которое рядовому одесситу даже трудно произнести. После переименования переулка переписка с ним резко снизилась, потому что никто не знал, как правильно написать Тон Дык Тханг, с черточками или без черточек, а некоторые даже путали его с Фам Ван Донгом.

Серго Соломонович жил в этом распереименованном переулке, который выходил непосредственно на распереименованный пляж Ланжерон, бывший и будущий Комсомольский, и перед тем, как спуститься на пляж, смотрел в телескоп на солнце, но, конечно, не безоружным взглядом, а через светозащитные очки. Если солнце на Ланжероне ему не нравилось, он шел дальше, в

Отраду, ехал в Аркадию, а то и в Лузановку, выбор пляжей в Одессе был большой.

В Беэр-Шеве ближайший пляж находился на расстоянии шестидесяти, а то и семидесяти километров, поэтому Серго Соломонович ходил в парк. Не купаться, а просто пройтись. И всякий раз проходил мимо Эры Моисеевны, которая слушала в парке радио «Свобода». У Серго Соломоновича и без радио свободы хватало, мужчины вообще имеют больше свободы, чем женщины, поэтому Серго Соломонович просто смотрел на солнце в телескоп, вооружившись дополнительными светозащитными стеклами. Беэршевское солнце с одесским не сравнить, но Серго Соломонович сравнивал, ища в беэршевском что-то одесское. Так ему хотелось увидеть что-то одесское в этом далеком от всего одесского городе Беэр-Шеве.

И однажды, оторвавшись на минутку от солнца, он увидел Эру Моисеевну. Тут-то емугодились двойные светозащитные стекла: Эра Моисеевна была уже в том возрасте, когда красота женщины особенно нуждается в защите.

Увидев, как страстно Эра Моисеевна прижимается к радиоприемнику, говорившему от имени радио «Свобода», Серго Соломонович спрятал свой телескоп и попросил разрешения послушать, что говорят по этому радио. Эра Моисеевна разрешила, и он прижался к приемнику с другой стороны, — сначала не очень плотно, а потом все плотней и плотней, потому что с этой стороны была не очень хорошая слышимость. Эра Моисеевна тоже прижалась поплотней, хотя с ее стороны слышимость была сравнительно неплохая. И так они прижимались, пока сквозь приемник Серго Соломонович не почувствовал ухо Эры Моисеевны, и она тоже почувствовала сквозь приемник то, что женщина чувствует в такой ситуации, и тогда этого радио стало не только не слышно, но и не видно, и Серго Соломонович представился: Серго Соломонович — и услышал в ответ еле слышное, как радио «Свобода»: Эра Моисеевна.

Обоих заинтересовали имена, потому что отчества в этих местах вообще не употреблялись. Серго Соломонович объяснил, что назвали его в честь Серго Орджоникидзе, и поинтересовался, в честь кого назвали Эру Моисеевну. Эра Моисеевна постеснялась сказать, что назвали ее в честь эры коммунизма, и сказала, что называли ее в честь эры не то мезозойской, не то палеозойской, о которых узнала совсем недавно из передачи «О счастливики!»

В этой передаче у одного счастливики спросили, в какую эру мы живем: в мезозойскую, кайнозойскую, палеозойскую или протерозойскую. Он, конечно, стал в тупик: настоящие счастливики не только часов, но и эр не наблюдают. Счастливчик попросил разрешения позвонить маме, которая еще в школе помогала ему по математике, физике и другим предметам, но мама сказала «Откуда я знаю?» Мама про эры вообще впервые слышала. В датах нигде эру не обозначали. По истории, конечно, учили: в та-

ком-то году нашей эры, в таком-то до нашей эры, особенно много писали про грядущую эру коммунизма, – до того, что другая мама, а именно мама Эры Моисеевны, даже разродилась Эрой коммунизма. А про эти мезозойские никто никому не говорил.

Пришлось счастливчику прибегать к помощи зала. Зал был большой, эрудированный, и он дружно ринулся счастливчику на помощь, в большинстве своем заявив, что мы живем в протерозойскую эру.

О, счастливчики! Каких времен они не наблюдают! Протерозойцы не наблюдали двух миллиардов лет. Конечно, хорошо быть протерозойцем, дважды миллиардером, но ведь в кармане от этого не прибавится. Такие мы счастливчики: годы прибавляются, а денег по-прежнему нет. И, сбавляя себе годы и века, Эра Моисеевна остановилась на кайнозойской эре. Тем более, что именно в эту эру мы с вами живем, сказала Эра Моисеевна.

После этого «мы с вами живем» Серго Соломонович счел возможным пригласить Эру Моисеевну к себе домой, пообещав показать кое-что интересное. Эра Моисеевна охотно согласилась.

Интересным оказался большой портрет Серго Орджоникидзе работы неизвестного фотографа. Эру Моисеевну интересовало все неизвестное, и они целый вечер проговорили о пламенном Серго, наиболее гуманном бойце революции, потому что за всю революцию убил только одного человека – себя. Как-то незаметно разговор перешел на квартиру Серго Соломоновича. Эра Моисеевна спросила, не слишком ли дорого снимать такую квартиру для одного человека. Серго Соломонович ответил, что, конечно, снимать для двоих было бы дешевле. Эра Моисеевна весьма разумно заметила, что пенсию лучше получать каждому отдельно, потому что две отдельные пенсии намного больше, чем одна пенсия на двоих.

Вот так и получилось, что Эра Моисеевна больше не слушает «Свободу». Если отбросить кавычки, можно прямо сказать, что семья и свобода – две вещи несовместные, даже больше, чем гений и злодейство, к тому же, постоянно меняющиеся местами. А Серго Соломонович больше не смотрит на солнце в телескоп, он даже без телескопа на него не смотрит, потому что солнце в Безр-Шеве такое, что ни один взгляд его не выдержит.

Эра Моисеевна советует Серго Соломоновичу посмотреть на пенсию в телескоп, но Серго Соломонович знает свой телескоп: в него сколько ни смотри, пенсия от этого не увеличится.

А на Эру Моисеевну он иногда посматривает в телескоп. Когда хочет, чтоб она была ближе, чем на самом деле. А когда хочет, чтоб она была дальше, чем на самом деле, он поворачивает телескоп другой стороной. И при этом вздыхает с облегчением.

А Серго Орджоникидзе смотрит на Серго Соломоновича с портрета и думает: «О счастливчик!» Потому что, во-первых,

Серго Соломоновичу удалось не застрелиться, он живет, причем живет с Эрой Моисеевной, бывшей эрой коммунизма, о чем мечтал каждый сознательный большевик. А во-вторых, Серго Орджоникидзе благодарен Серго Соломоновичу, что он вывез его в эти более-менее обетованные места. Конечно, если б он вывез его раньше, когда Серго Орджоникидзе был еще не портрет... Хотя, с другой стороны, портрету спокойнее. Намного спокойнее. Плохо только, что не живешь.

ШАПКА ЧОЙБАЛСАНА

Он проснулся. Он был опять молодой. Он был студент и проснулся в общежитии.

– Вставай, опоздаешь на лекции, – сказал Леня Пастернак.

Все уже встали и поспешно собирались.

Сегодня нельзя опаздывать. Сегодня первая лекция – «Сталин и вопросы языкознания».

Как, опять Сталин? Уже же был Хрущев. И Брежнев был, и все остальные. Не приснились же они, в конце концов. Пятьдесят лет не могли присниться.

А почему, собственно? Во сне время летит быстро. За какой-то час может присниться вся жизнь. Без деталей, конечно, но это как раз хорошо. Детали – они хуже всего переносятся.

Только бы добраться до института, увидеть Катюшу. Он ее спросит: «А как наш внук?» Она во внуке души не чает, за двадцать лет не было и минуты, чтоб она о нем не думала.

Интересно, Лена сегодня работает? Дочка Лена работала в Димоне, в тридцати километрах от Беэр-Шевы. Да это же в Израиле! – с ужасом подумал он. Если в институте узнают, что они уехали в Израиль, их исключат из института. И его, и Катюшу. Хотя Катюша в Израиле не была, ему только приснилось, что она с ними в Израиле. Но исключить могут. За соучастие. А ведь она даже не собиралась за него замуж.

Израиль только пару лет как стал государством, а уже плохо себя зарекомендовал. Говорят, это все из-за евреев. Не было бы в Израиле евреев, к нему было бы совсем другое отношение. Но, с другой стороны, без евреев какой в нем смысл? Без евреев хватает стран, да и те, по сути, с евреями.

Ему вспомнились стихи Бродского. Какого Бродского? Разве есть такой поэт? У него во сне был. Хороший поэт, лауреат Нобелевской премии. За Нобелевскую тоже могли попереть из института. А кто же тогда у него во сне сочинил стихи Бродского? Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать... Но он же умер не на Васильевском острове и страну выбрал другую. Может, не было вообще никакого Бродского? Неужели он сам у себя во сне сочинил такие стихи? Там, во сне, он не собирался выбирать страну, тем более такую

страну, как Израиль. Но так получилось. Сначала дочка уехала и увезла внука, а потом и они с Катюшей потянулись, как бальный шлейф. Ну, бальный шлейф это слишком. Скорее как собачий хвост. Катюша об этом не должна знать, зачем ей эти неприятности. Она пока даже замуж не собирается, а тут внук.

Внук, когда был маленький, такой был умный. Ты знаешь, спрашивает, чем хирурги отличаются от разбойников? Тем, что хирурги режут и зашивают, а разбойники только режут. Ну, если это было во сне, то во сне и не такое может присниться.

Все-таки время быстро летит во сне. Оно и вообще летит быстро, а во сне особенно. Сегодня у них лекция Табачникова, а он и не догадывается, что у него во сне умер. И Нина Васильевна умерла, хотя и ее лекция сегодня по расписанию.

А как же подводная лодка «Курск»? Выходит, она не затонула? И команда ее не погибла, даже еще и не родилась. И Путин не родился, только задумывался. Это ж какую надо было иметь голову, чтоб такое задумать! Может, он вообще не родится, и его жизнь только в этом сне. Это большое облегчение. А как же Советский Союз? – забеспокоился он. Советский Союз у него во сне развалился, и Украина от него отвалилась, как штукатурка от стены. Теперь пытается опять на стенку забраться, но так, чтоб сохранить от нее независимость. А разве бывает на свете независимость? Ее же не бывает вообще. Закон всемирного тяготения – это закон всемирной зависимости. Вот и он тяготеет к Катюше. О какой независимости речь?

Пятьдесят лет во сне... У Игнатьева книга «Пятьдесят лет в строю», а тут во сне. Игнатьев бы позавидовал. У него во сне не было таких невероятных событий. Полстраны уехало жить в другие страны, железный занавес перешили на железное терпение тех, кто остался в стране. Союз нерушимый разрушили до основания, а затем... Два гимна слились в один, и все равно ничего не помогает.

У внука проблемы с учебой, но если нет внука, нет никаких проблем. И дочери нет, значит, и у нее с проблемами все в порядке. Но как же без дочки? И без внука? Он уже не может без них...

Но сначала Катюшу уговорить, чтоб она вышла за него замуж.

Ему вдруг захотелось обратно в сон. Если б только не нужно было идти на лекции. Да и присниться может совсем другое. Сны не выбираешь, как не выбираешь судьбу.

Они вышли на улицу. Адам был в своей необъятной меховой шапке, из-за которой получил прозвище Чойбалсан. Кто такой Чойбалсан? Он не помнил. Наверно, какой-то политический деятель. Жизнь битком набита политическими деятелями, от них и во сне отбоя нет. От этих политических деятелей уже ни жить, ни спать невозможно. Проснуться бы от них, а с другими спать. Он покраснел от этой неудачно сформулированной мысли.

Подожшла восьмерка, их трамвай. Они сели и поехали. Не сели, конечно, а стояли на одной ноге, висели в проходе, как партизаны, замученные фашистами. И он, и Адам, и Леня, и еще

один, Катюшин избранник, с которым у нее не будет ни Лены, ни Саши, а будут какие-то другие, чужие, посторонние.

А она об этом не подозревает. Надо как-то ей намекнуть, может, это ее остановит. И про Лену намекнуть, и про Сашу, но только не про Израиль. Намеки про Израиль могут ее испугать.

Тем временем Вера Львовна излагала учение товарища Сталина о языке. Основополагающее учение. Полагать основы, когда все уже выстроено, – все равно, что закладывать фундамент под готовое здание. Надо его сначала разрушить до основания, гимн предупреждал.

Языковеды оправдывались, говорили, что учение товарища Сталина застало их науку врасплох. Не подготовилась наука к основополагающим мыслям вождя. А крушение «Курска»? Его же тоже не подогнали к высказываниям нового основоположника.

Так было всегда. Основоположник за основоположником, и к каждому поспевай, забегай вперед, чтоб встретить дружным согласием. Треугольное государство с основополагающей точкой на самом верху. Легко ли ей оттуда до низов дотянуться?

В квадратном государстве наверху целая линия, точки которой постоянно грызутся между собой, ломают и корежат прямую линию. Это демократическая республика. А конституционная монархия – это окружность, с центром, который к руководящей линии никакого отношения не имеет. Руководство гнет свою линию на равном расстоянии от монарха.

Господи, приснится же такое! За такие мысли можно вообще не проснуться никогда.

Сидя на лекциях, он все посматривал на Катюшу. Она была совсем молодая, что для такой девушки каких-то пятьдесят лет. Особенно, если они прошли у кого-то во сне. Не у кого-то, конечно, надо надеяться, что не у кого-то. Он же для Катюши не посторонний, они учатся на одном курсе и вообще.

И Табачников молодой, несмотря на свою древнюю историю философии. У себя во сне он был намного старше Табачникова, а в действительности Табачников оказался старше. Хотя и моложе своего предмета преподавания. Надо же преподавать такой трудный предмет. История и сама по себе трудная, и философия трудная, а тут они вместе взятые. Поди в них разберись.

Да, действительность – это вам не сон. Она сурова, как действительная солдатская служба. Одно раскулачивание чего стоило. Сожмешь кулаки в знак внутреннего протеста, тут тебя и раскулачат, чтоб твоей же раскулаченной ладошкой да тебе же под козырек. А как раскосмополичивали? Хватят за космы – и давай шить политику. А шить политику – это не то, что шить, допустим, костюм. Могут и вовсе пришить, но не так, как пришивают пуговицу, а навечно.

Или это был сон? Может, все страшное в жизни просто приснилось, а на самом деле было только хорошее?

Адам усердно конспектировал. У него даже нос вытянулся, изогнувшись от напряжения по дороге. Нос у Адама всегда был таким, потому что Адам постоянно тянулся конспектировать. Непонятно зачем. Он и так был самый умный на курсе. Если б его не угоняли в Германию, он бы, может, стал великим ученым. Но Германия ему помешала. Не пустили Адама дальше института. Но пока еще он об этом не знал. И шапка Чойбалсана у него из-под парты безмятежно взирала на мир, – того самого Чойбалсана, давным-давно позабытого политического деятеля.

Там, во сне, забытого, но здесь его нетрудно было вспомнить. Только зачем? Неужели мы просыпаемся лишь затем, чтобы вспоминать забытых политических деятелей?

Просыпаемся или засыпаем? Может быть, он не спал у себя во сне, а теперь уснул – в этой действительности? Он посмотрел на рыжего Гришку, который знал наизусть Ильфа и Петрова. Отдаться мало! Иванов решил нанести визит королю, узнав об этом, король отрекся от престола. Король отрекся, его уже тоже нет. И Динки нет, которая все же дожила до Платонова, о котором, сцепив зубы, молчала русская литература. И этого нет, за которого Катюша намылилась замуж. Она намылилась, а его уже нет... Пятьдесят лет – это пятьдесят лет, быстро они пролетают или медленно. Тут не только доживешь до Ельцина с Путиным, но и до Арика Шарона... Не могли же они присниться из ничего.

Он сидел на лекции, слушал историю философии и не мог понять; уснул он или проснулся? Проснулся – или уснул? Простая вроде вещь, не история философии, но не так-то просто в ней разобраться. Если уснул – проблемы одни, если проснулся – совсем другие. Если уснул, то где-то там, в действительности, проблемы здоровья, возраста, проблемы дочери и внука, опять же подводная лодка «Курск». А Ясер Арафат? Ну, а если ты проснулся, тебя не волнуют ни «Курск», ни Арафат, сначала нужно самому выучиться, а потом уже думать об учебе внука.

История продолжается. Философия продолжается. Но ни в истории, ни в философии не указано: уснули мы или проснулись? Сколько ни ломай голову, этого мы не узнаем никогда.

Где-то он читал, что пространство – это всего лишь форма времени, и только время, в которое мы живем, является пространством в нашем привычном понимании. И каждое мгновение оно улетает вместе с нами в космическую даль, а то, что остается, – это мы, прилетевшие из будущего.

И вселенная вокруг нас – это наше прошлое и будущее. Мы-то думаем, что свет далеких звезд летит до нас миллионы световых лет, а это не свет летит, это звезды летят вместе с нами. Приносят нам жизнь в нашем реальном пространстве – и тут же уносят в космическое прошлое. И мы улетаем с ними – те, что были мгновенье назад. Возможно, когда-нибудь, через миллионы лет, мы еще вернемся на землю.

ПАРК

1

Вхожу. Иду.

Все вход, вход. А где же выход?

Спрашиваю у встречающих: – Это вход?

– Вход, – говорят.

– А где же выход?

– Не знаем, – говорят.

И спокойно идут в противоположную сторону.

По входу, как по выходу.

Как же так? Получается, и туда вход и обратно?

Ладно, иду по входу.

– Это вход? – спрашиваю для надежности.

– Вход.

– Это вход?

– Вход.

– Это вход?

– Нет, это выход.

– Как выход? Здесь же должен быть вход! Иду по выходу, как по входу.

– Это выход? – спрашиваю для надежности.

– Выход.

– Это выход?

– Выход.

Выход, выход, выход...

Как быстро пролетела жизнь!

2

По траве ходить разрешается, но ведь и по деревьям ходить разрешается.

Так что траве совершенно не на что обижаться.

3

Бездомные кошки строят прохожим глазки, как опытные женщины. Каждой хочется как-то устроить свою жизнь.

4

Жаркий полдень.

Кавалерийской походкой в парк входит ВСАДНИК.

ЛОШАДЬ бежит рядом, угодливо виляя хвостом и заглядывая в глаза ВСАДНИКУ.

НАРОД в парке изнемогает от жары.

ВСАДНИК (поднимает палку и швыряет далеко-далеко, чтоб ЛОШАДЬ подольше не возвращалась).

ЛОШАДЬ (тут же возвращается с палкой и кладет ее к ногам ВСАДНИКА).

НАРОД (не обращает на эту сцену внимания, изнемогая от жары).

ВСАДНИК (переступает через палку и продолжает путь).

ЛОШАДЬ (подхватывает палку и, догнав ВСАДНИКА, кладет ее к его ногам).

ВСАДНИК (переступив через палку, следует дальше).

ЛОШАДЬ (хватает палку и бежит за ВСАДНИКОМ).

СТАРИК В ПЛАВКАХ (изнемогая от жары). Молодой человек, возьмите палку!

ЛОШАДЬ (благодарно смотрит на старика).

НАРОД (изнемогая от жары, начинает оборачиваться).

ВСАДНИК (продолжает путь).

СТАРИК В ПЛАВКАХ. Не мучьте животное, возьмите палку!

НАРОД (от жары с трудом собираясь с силами). А ну возьмите палку! Вам сказано! Что вы себе позволяете? Сейчас же возьмите палку!

СТАРУХА В ШОРТАХ (недовольная тем, что ей прервали отдых). Зачем вам нужно, чтобы он взял палку? Это ваша палка? Это ваш родственник? Это ваша собака?

Здравствуйте, приехали! Оказывается, это вовсе не лошадь, а собака. Просто она большая, как лошадь. А всадник получается не всадник, а вообще неизвестно кто.

НЕЗВЕСТНО КТО (следует дальше, не оборачиваясь).

СТАРИК В ПЛАВКАХ (апеллируя к НАРОДУ). Пусть он возьмет палку! Скажите ему все!

СТАРУХА В ШОРТАХ. Не морочьте людям голову! Дайте людям отдыхать.

СТАРИК В ПЛАВКАХ. Я не могу отдыхать в таких условиях! Я вызову полицию!

БЫВШАЯ ЛОШАДЬ (благодарно смотрит на СТАРИКА).

НАРОД (равнодушно отвернувшись от этой сцены). Заткнитесь все. Не ваше собачье дело.

Услышав про собачье дело, БЫВШАЯ ЛОШАДЬ догоняет ВСАДНИКА и кладет палку к его ногам.

БЫВШАЯ ЛОШАДЬ (с тихим бессильным ржанием). Да возьми ты палку, гав твою гав! Люди оборачиваются!

БЫВШИЙ ВСАДНИК (берет палку и бросает ее далеко). Собака тут же возвращается с палкой.

5

Древо познания превратили в древо дознания, а древо сознания на нашей почве так и не прижилось.

6

Вершины – прекрасные примеры для бездн, а бездны – наглядный урок вершинам.

7

Деревья растут из стремления к свободе. В земле у них неволя, а в небесах – простор. Но бывали и такие деревья, которые росли из стремления к неволе.

В исправительном парке деревья шумели кронами с шести утра до девяти вечера, согласно правилам внутреннего распорядка. В девять был отбой.

На деревьях сидели сидельцы, приговоренные к различным мерам наказания. Меру определяла высота ветки. Деревья в парке выращивались с таким расчетом, чтобы каждая ветка соответствовала определенной статье уголовного кодекса.

Парк был поистине кладовой здоровья и исправления. Сюда приходили целыми семьями. И, прогуливаясь среди деревьев, отдыхая в дозволенных местах, наглядно убеждались, что ждет детей, если они не слушаются родителей, что ждет родителей, если они недостаточно внимательны друг к другу, и что вообще ждет всех, если они слишком много себе позволяют.

За порядком в парке следили сами сидельцы. Им сверху было видно, кто неправильно себя вел, и они тут же делали замечание. Они же выполняли обязанности надзирателей, сторожа самих себя и предостерегая друг друга от побега. Страх свалиться с дерева был настолько велик, что бежать никому не приходило в голову. Если же зазевавшийся сиделец случайно падал с дерева, его сажали всем миром: и садовники, и уборщики, и буфетчики, и, конечно, отдыхающие. Это было лучшим развлечением – кого-нибудь посадить.

Впрочем, главный садовник был очень добрый человек. Он любил деревья, которые сажал, и людей, которых сажал, а маленьких детей любовно называл саженцами.

8

Мы были винтиками, но из нас хотели сделать гвозди. Так прямо и говорили: гвозди бы делать из этих людей, крепче не было б в мире гвоздей. Получалось даже в рифму.

Гвоздями быть проще, не нужно шевелить резьбой. Шарахнут по голове, и ты уже определился по самой шляпку.

Когда сидишь по самую шляпку, вспоминаются времена, когда все мы были вольнолюбивыми винтиками. Подзакрутили нас – и мы чувствуем себя прочнее, увереннее, приоткрыли – и мы уже декламируем оду «Вольность».

А если из людей делать людей? Тут и винтики, и гвоздики возражают. Они уже привыкли крутиться туда-сюда, вгоняться куда скажут по самую шляпку. И теперь их все время тянет куда-нибудь из людей. Они только и смотрят, кто бы их по башне шархнул, кто бы им гайки покрепче закрутил.

9

Под большим, возможно даже, вековым деревом пожилой интеллигент и его породистая собака справляют нужду.

То ли он ее учит справлять нужду, то ли она его учит справлять нужду (способы различны), то ли они уже научились и теперь спешат продемонстрировать это общественности...

Там, откуда мы все приехали, у нас было много нужды, но там, по крайней мере, мы не справляли ее под деревом.

10

– Постоянно путаю метапелет¹ с менталитетом.

– Ничего сложного: менталитетом сыт не будешь, а метапелетом будешь и сыт, и одет. Если, конечно, не помешает менталитет.

11

В парке не просто прогуливаются, но и попутно обмениваются мыслями. Обмен мыслями – самый выгодный обмен: твоя мысль при тебе остается и приобретаешь еще одну, дополнительную. Даже если обменяешь умную мысль на глупую, умная от тебя никуда не денется, а глупую можно еще с кем-нибудь обменять.

Так обменивались мыслями древние перипатетики, собеседники Сократа. Но сегодняшние парковые беседы приобретают особый смысл. Обмениваясь мыслями где-нибудь в ресторане, нужно платить, а в парке можно обмениваться мыслями бесплатно.

12

Была у Копельмана мечта – быть похороненным на русском кладбище под Парижем. Он никогда не бывал под Парижем и в

¹ *Метапель*, м. р.; *метапелет*, ж. р. (иврит) – человек, оказывающий различного рода помощь (обычно пожилым людям).

самом Париже никогда не бывал, но ему очень хотелось, чтоб его похоронили под Парижем. На знаменитом кладбище имени святой Женевиевы и еще какого-то дю Буа, сокращенно – Сен-Женевиьев дю Буа. Жить можно где угодно, потому что жизнь – дело временное, но на постоянно, на ПМЖ, ему бы хотелось поселиться на русском кладбище под Парижем. Там, по крайней мере, есть среди кого лежать: вот здесь Бунин, здесь генерал Деникин, а между ними он, Копельман.

Но чтобы там лежать, нужно быть русским эмигрантом. Русским интеллигентом Копельман уже был, оставалось стать русским эмигрантом. Для русского интеллигента это следующая ступень.

В сущности, он уже был русским эмигрантом, но только по израильским меркам. Эмигрантом, который не покидает родину, а на родину возвращается. Таких под Парижем не хоронили. Не взял пока Копельман вторую ступень.

Эмиграционный процесс из России все ширился, и для русской интеллигенции уже не хватало стран. В Израиле на один квадратный метр приходится больше эмигрантов, чем в России и Украине, вместе взятых. Но нет в Израиле русского кладбища Сен-Женевиьев дю Буа, не лежат здесь рядом русская белая гвардия и великая русская литература. Конечно, при жизни можно жить и в Израиле, но после смерти Копельман просит, больше того, он завещает похоронить его рядом с великой русской литературой.

Остается третья ступень – стать писателем. Таким, чтоб не стыдно было потом лежать.

13

Много разговоров о техническом прогрессе.

Возьмите Японию. Все ее достижения оттого, что Япония – маленькая страна и расширяться ей некуда. Приходится подниматься вверх, на самые вершины технического прогресса. Если стране есть куда расширяться, настоящего роста от нее не жди.

Кстати, Израиль в территориальном отношении в двадцать раз меньше Японии – представляете потенциал роста! Поэтому Израиль расширяться не спешит. Он даже раздумывает: не отдать ли часть своей территории в обмен на мир во всем мире, чтоб стимулировать свое развитие вверх, но как тогда будут развиваться его соседи? Сирия, которая в десять раз больше Израиля, Египет, который больше в пятьдесят раз? Надо же и о них подумать. И Израиль думает. Такой у него менталитет: он думает о других, а до себя все никак мысли не доходят.

14

Яша Мюнх был прямой потомок Арона Мюнхгаузена, которому впоследствии добавили букву «Б», чтоб подчеркнуть его

якобы немецкое происхождение. Эрих Распе, немецкий писатель, который скрывался в Англии от немецкой полиции, издал сочинения Арона Мюнхгаузена на английском языке, а другой немецкий писатель Бюргер возвратил эти сочинения на немецкий язык, на их якобы историческую родину. Так какая же это была литература – немецкая или английская?

Это была русская литература. Потому что сочинять Мюнхгаузен научился в России – в том смысле, в каком это слово в то время употреблялось. Приехал – смотрит: все сочиняют. Дай, думает, и себе попробую. Специально поступил на российскую военную службу, дважды ходил войной на турок. Турки тоже мастера сочинять, но против русских не тянут, поэтому все войны с Россией проигрывают. Куда им против русских! Они не летали по воздуху на пушечных ядрах, не вытаскивали себя из болота за волосы, куда им против русского солдата Арона Мюнхгаузена!

А однажды на западной границе встретил он – кого б вы думали? Екатерину Великую. Правда, тогда она еще не была Екатериной, а только приехала из своей Ангальт-Цербии в надежде понравиться российскому принцу. А тут Мюнхгаузен, brave русский солдат. Ну, думает цербиянка, дальше ехать некуда. И Мюнхгаузену она тоже приглянулась. А у них, думает, в Ангальт-Цербии, тоже девки ничего.

Ну, впустил ее в Россию в надежде на дальнейшую взаимность. А она его обманула. Мюнхгаузен так еще никого не обманывал. Ну, вывернул волка наизнанку, ну, поджег порох искрами из глаз, слазил на луну по стеблю бобовому, но чтобы ТАК обманывать – упаси Боже! Перегляднуться с одним, а выйти замуж за другого – это уже не сочинение, а вранье в полном смысле этого слова.

Правда, была в этом и положительная сторона: его не задушили подушками, как благоверного этой цербиянки. Он и ее пережил, и Распе пережил, и Бюргера, и столько всего насочинял, что этим писателям на двоих хватило.

15

Честность, совесть и хитрость объединились в борьбе за справедливость.

Поставили во главе честность – борьба была проиграна.

Поставили совесть – борьба была проиграна.

Поставили хитрость – и ничего, живут. Кое-что, конечно, убрали, кое-что добавили. Кое-что заменили, подправили – и вот она, справедливость.

Добились, наконец, добрались! Осуществили вековую мечту, которая – пухом ей земля! – пала в борьбе за справедливость.

16

За зрение совести приходится платить.
Поэтому все делается без зазрения совести.

17

Раб, которого мы из себя выдавили, пошел вверх, взошел на вершины власти и даже не вспоминает, откуда его выдавили.

18

Неужели для того, чтоб ничтожный человек выглядел великим, нужно так опустить страну?

19

Внимание! О начальстве, как о покойниках: либо хорошо, либо ничего!

20

Прыгая выше себя, не заденьте ногами голову!
У лягушки вся голова в синяках, только синее на зеленом не видно.

Потому что лягушка прыгает не только выше себя, но и дальше себя, пытаясь допрыгнуть до другого берега. Там ей кажется лучше, чем на этом. Но, не допрыгнув, она шлепается в болото – то ли задев ногами голову, то ли от ностальгии по оставленному берегу. Все-таки там было не так плохо, не настолько плохо, чтоб его покидать.

Наверняка она задела ногами голову. Лучше всего думается синяками, хотя мозгами более естественно.

И лягушка выпрыгивает из болота на родной берег. Как здесь все же хорошо! Но и другой берег не дает ей покоя. А не лучше ли там, чем на другом берегу?

Она говорит, что ей лучше всего в полете. На самом деле ей лучше всего в болоте, но в полете звучит более возвышенно.

21

Вниманию отъезжающих:

Переехав в другую страну, оглянитесь, посмотрите, не переехали ли вы кого-нибудь по дороге!

22

И так вся жизнь: между мечтами и воспоминаниями.

23

Спокойствие, граждане: кто переживает, тот недоживает. ✓

24

Отличная пара – еда и голод, но только голод умеет любить по-настоящему. А еда постоянно откручивается, охлаждает его порывы:

– Тебе, – говорит, – от меня только одно надо.

25

Женщины уже давно не молодых лет показывают пожелтевшие фотографии, на которых они выглядят более фотогенично. Мужчины смотрят и прищелкивают языками. Щелк уже не тот: с присвистом, с прихрипом, с пришепетыванием. Но смысл остался прежний.

И начинают мужчины вспоминать, какими они были в молодости, обольщая прошлым, раз уж настоящим нельзя.

Прошрое на фотографиях встречается с прошлым в рассказах, но подлинного общения не возникает. Потому что тут же присутствует настоящее и расставляет все по своим местам. Это его обычная манера – вмешиваться в прошедшие времена и перестраивать все на свой лад, так, как ему, настоящему, угодно. А прошлое с прошлым переглядываются, перемигиваются и, взяв друг друга под ручку, уходят по аллее в глубину парка, в зелень кустов, где им не помешает настоящее, где прошлое останется с прошлым один на один, и будут они говорить, говорить, пока их не найдет настырное настоящее.

И хорошо, что найдет. Потому что как же остаться без настоящего? Кто будет разглядывать фотографии, вспоминать фотогеничные времена, кто воскресит их в полузабытых рассказах, чтобы прошлое могло встретиться с прошлым, переглянуться с ним, перемигнуться и пройти по аллее в былые прошлые времена? Настоящее этого не поймет, оно смеется над этими стариками, над их полуистлевшими фотографиями, над полузабытыми фотографиями, над полузабытыми рассказами, и само не замечает, как уходит по той же аллее в те далекие зеленые кущи, где о нем можно будет только вспоминать.

26

Мы думаем, что вечность у нас впереди, а она позади. Для всего живого вечность позади, впереди она только для мертвого.

27

Вечность – это не время, это отсутствие времени.

28

Яша Мюнх рассказывал, как он сидел в клетке с медведем. Не в той же, а в соседней, но буквально впрыток. Яша даже заперся изнутри, хотя уже был заперт снаружи. Клетка, запертая изнутри, дает ощущение свободы. Хочу – запрусь, хочу – отопрюсь.

Медведь попался не злой, он даже подкармливал Яшу, просовывая ему пищу сквозь решетки. Яшу кормили плохо, а медведя хорошо, потому что медведи у нас дорогие, а яши бесплатные.

Вскоре медведя выпустили и взяли в цирк на высокооплачиваемую работу. Но Яша ему не завидовал. Свобода – это такая вещь: можно попасть в начальники, а можно попасть под трамвай, можно сыграть главную роль, а можно попросту сыграть в ящик. Разумному человеку все равно, где сидеть: на троне, в клетке или в президиуме.

Когда Яшу выпустили, он первым делом побегал в цирк поглядеться с другом. Медведь на сцене был король: за каждый королевский жест он получал кусок сахара. Увидев Яшу, он бросился к нему, расталкивая зрителей и протягивая Яше заработанный сахар, ну, его и пристрелили. Медведя, конечно, а не Яшу, хотя логично было бы наоборот, потому что медведи у нас дорогие, а яши бесплатные.

Сидел бы в своей клетке, жил бы да жил. Надо было только запереться изнутри, чтоб не вытащили на свободу.

29

Было много борцов за правду, но правды не хватало на всех. Поэтому приходилось бороться за неправду.

За неправду бороться легче, она на каждом шагу, а правду приходится отстаивать в длинных очередях, а то и отсиживать. И когда еще очередь твоя подойдет, да и подойдет ли, если все с неправдой проскакивают без очереди.

Борьба за неправду облегчается тем, что правда в свободном виде почти не встречается. Она всегда в несвободном виде – по изоляторам, гауптвахтам и другим закрытым местам. А в свободном виде правда – все равно, что камень в свободном падении: либо сам расшибется, либо кого-нибудь пришибет.

30

Хорошо хотя бы, что все люди смертны. Потому что если бы одни были смертны, а другие нет, мы бы тут вообще все друг друга поубивали.

31

Копельман писал роман «Принц и нищий». Не тот, который уже написан, а другой, более приближенный к действительности.

Принц и нищий проводили встречу на самом высоком уровне, причем уровень нищего был по преимуществу политический, а экономически он значительно от принца отставал.

К месту встречи принц прибыл на самолете, а нищий приехал на поезде, идя по вагонам с протянутой рукой, требуя инвестиций на развитие экономики.

У трапа самолета был выстроен почетный и нищий караул с протянутыми руками наизготовку, и принц прошел вдоль караула, кидая мелочь, которую специально наменял для ведения переговоров, а нищий, следуя за ним, тут же брошенное собирал и сыпал в торбу, с которой никогда не расставался.

На обеде, данном высоким гостем в честь высокого нищего хозяина, нищий заговорил о кредитах на развитие экономики, точнее, на зачатие экономики, а принц требовал гарантий, что нищее население не хлынет в его страну, зачиная свою экономику неблагоприятными путями. Нищий не отрицал такую возможность, квалифицируя это как утечку мозгов и требуя плату за использование отечественных мозгов для нужд другого государства. Принц, однако, недвусмысленно заявил, что мозги утекают вместе с животами, потенциал которых удовлетворить нет никакой возможности.

На прощание нищий обещал протянуть принцу руку дружбы, но в чем состояла эта дружба, не уточнил, а гарантировал лишь протянутую руку.

Пока шли переговоры, самолет принца был разобран на мелкие кусочки, которые тут же были сбыты скупщикам деталей самолетов. Принц по мобильному телефону вызвал другой самолет и едва успел вызвать, потому что мобильный телефон тут же был разобран на мелкие кусочки, сбытые скупщикам деталей мобильных телефонов.

Когда самолет прилетел, принцу пришлось впрыгнуть в него еще до приземления, потому что скупщики его деталей уже окружили посадочную площадку.

А нищий со встречи возвращался пешком и не по вагонам, а без вагонов, потому что все вагоны, а заодно и рельсы, и шпалы, и семафоры были разобраны и сбыты скупщикам деталей вагонов, рельсов, семафоров и шпал.

32

Дно есть дно, даже золотое. И как до всякого дна, до него нужно не подниматься, а опускаться.

33

Вслед за Петром каждый думает, что поднимает Россию на дыбы. А поднимает ее на дыбу.

34

Есть такой анекдот:

Стоит слон. Смотрит – у него под ногами кто то шныряет.

– Ты кто? – спрашивает.

– Я мышка.

– А почему ты такая маленькая?

– Я болела.

Вот так же у одного маленького поэта спросили, почему он не стал таким большим, как Пушкин. И что он ответил?

– Так сложились обстоятельства.

35

Иногда обстоятельства складываются так, что только пешка может стать проходной. Для более весомых и значительных фигур проходные пути наглухо закрыты.

36

Мания величия – это комплекс неполноценности, сделавший карьеру.

37

Некоторые спят и видят, как стать большими людьми, но всякий раз просыпаются маленькими. А как стать большими наверняка?

Одни говорят: нужно учиться. Учиться, учиться и еще раз учиться.

Другие считают, что нужно работать. Много работать. Особенно над собой.

Третьи полагают, что нужно расти над собой. Не учиться, не работать, а просто расти, занимая все более высокое положение. Не только над собой, но и над другими.

И тут вступает в силу железный закон математики: число, поднявшееся над другими числами, образует дробь, которая обычно меньше целого.

Поднимется единица над пятеркой – и сразу в пять раз уменьшится. Над миллионом поднимется – в миллион раз уменьшится. А если единица поднимется над целым народом?

Но можно же как-то расти, чтоб не уменьшаться?

Есть предложение расти внутри себя, сохраняя прежние размеры. Не над собой, а внутри себя.

Но если ты маленький, откуда в тебе найдется место для большого? Тебе же будет тесно, неудобно, мучительно жить...

Именно это и требуется, чтобы стать большим человеком.

38

– Моя жена не любит, когда ею командуют. (Вздых). А я так люблю командовать!

– А кто тебе мешает? Командуй себе на здоровье, только так, чтоб тебя не слышали. Я в войну так командовал целым фронтом.

– Ну и как?

– Тебе еще объяснять? Ты же знаешь, победа была за нами.

39

Когда жизнь станет мирной и счастливой, в ней уже не будет места подвигам.

40

В животном мире не было случая, чтобы взрослые подавали детям плохие примеры. Чтобы из-за плохого примера волк вырос плохим волком, комар плохим комаром.

В природе плохих примеров нет. Все плохие примеры – изобретение человека.

41

– Вот интересно: каким образом суббота, в которую нельзя ничего делать, превратилась в субботник, в который нужно бесplatно вкалывать?

42

Еврейское счастье – единственное счастье, которого можно достичь, причем для этого даже не нужно особенно стараться.

43

Одному удача улыбнулась, над другим посмеялась. Если б такой веселый характер неудаче, мы бы горя не знали на земле.

44

– Говорят, что тот свет был когда-то тот еще свет, но потом его отключили за неуплату электричества.

45

Поэты! Переходите на прозу только на красный свет. Переходя на зеленый свет, вы растеряете всех читателей.

46

Алгебра революции дальше арифметики не пошла, поскольку уже на этом этапе все отняла и разделила.

47

Может быть, жертвоприношения только для того и существуют, чтобы мы видели, как карают безвинных, и не допытывались у Бога: за что?

48

Укрепляем вертикаль:

– Руки вверх!

– Руки по швам!

– Поднимите руки, кто за!

Принято единогласно.

49

Слова без мыслей – прекрасные собеседники, а с мыслями они запинаются, замирают, им хочется еще что-то додумать, обратиться с мыслями.

50

Есть мысли до того огромные, что могут претендовать на отдельную голову. Разве мало у нас пустых голов? Если дать каж-

дой крупной мысли по голове, какую можно развить мыслительную деятельность!

Но мысли не приходят в пустые головы. Они приходят в сутолоку, тесноту, туда, где их набивается выше головы...

И именно те мысли, которые выше или ниже головы, руководят мыслительным процессом.

51

Неловко за свои мозги, которые утекли из страны, а страна этого даже не почувствовала.

52

Парк, парк, парк...

Автобус идет в парк, такси идет в парк, машина ищет, где бы припарковаться. Даже дикие звери начинают понимать: зоопарк – это намного лучше, чем дикий лес, потому что в зоопарке тебя кормят, а в лесу тобой кормятся...

Парк – это пример высоких устремлений при равных возможностях. Чем выше устремишься, тем выше поднимешься.

Парк – это пример любви к родной земле, от которой не хочется отрываться, как высоко ни поднимаешься.

Парк – это соединение глубины и высоты, земного и небесного, без ущерба одного для другого.

Парк – пример того, как нужно строить вертикаль, но не власти, а заботы о тех, кто внизу, укрывая их от солнца и непогоды.

При таких примерах – можно, можно ходить по траве. Ее примнешь, а она опять воспрянет, поднимется, не теряя извечной, хотя и неосуществимой надежды травы – дотянуться до высокого неба.

Лия Владимировна

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

* * *

Елене Аксельрод

Твой голос разбудил меня. Но ты
Осталась далека, как прежде. Та минута
Внезапного святого откровенья,
Быть может, и не повторится. Всё же
Я знаю, это было не напрасно.
Она ещё лучится, та минута,
Вся в капельках неведомой печали,
И я осталась в странном убежденье,
Что всё это когда-то было, было
(Когда принять, что мы не исчезаем,
Что память прежних жизней – память снов
Полузабытых изредка тревожит).
Такой же март стоял, смеялись гости,
И тот же звук чистейшего звучанья
Чужой души, таинственно знакомой,
Вдруг до меня донёсся. Этот звук –
Он был как будто нежным, горьковатым
И терпким, словно веточка с мороза.
Да, тот же март стоял, и ты в окне,
Вся в капельках неведомой печали,
И та же глубина мерцала
В твоих глазах, тревожных, как весна.

* * *

Не в чьи-то руки, не в архивы,
И не в подвал, не на чердак –
На свалку труд мой боязливый,
Всех вёсен пёстрый кавардак,

Всех жизней вороха – в отбросы,
В отходы века – и навек,
Как детский плач,
шальные косы,
Как седины осенний снег.

* * *

И призовет меня к ответу
Встревоженная тень поэта,
Который, зная в страсти толк,
Пересветился – и умолк.
Какому следуя закону
Себя сжигал он неуклонно?
И я... Всё жгу я с двух сторон
Свою свечу, как делал он.

* * *

Годы день за днём припоминаю:
Нет, не хлынут слёзы в три ручья.
Память сердца! Исповедь хмельная!
Душная, горячая, ничья...

Ведь – не наша! Каждую минуту
Знаю, что не наша... Не зову
Тёмную, смолкающую смуту:
Так просторно, чисто наяву.

Только эта даль на удивленье
Белая и яркая до слёз.
Вот оно, быть может, исцеленье:
Ясность, одиночество, мороз...

* * *

Переполненный ящик стола.
Фотокарточки, заваль бумаг...
Что искала? Чего не нашла?
Ворошу наугад, просто так.

С черновою бедой пополам
Музы, музыки, света союз.
И давно не тревоженный хлам –
Неразобраной памяти груз.

Поиск слов, шепутня пустяков,
Многолетняя немощь труда...
Судьбы скомканных черновиков –
Навсегда. Бог ты мой – навсегда!

* * *

Что ж ты смотришь на меня
В молчаливой укORIZне?
Дай мне чуточку огня
От огромной вечной жизни.

На колени опускаюсь,
Протяну к огню ладони,
Жарче, пуще разгущусь,
Всё светлей, всё беззаконней.

И пронзит меня насквозь
Тайный зов тысячелетий.
Но и там мы будем врозь
На прекрасном, диком свете.

ЗОЛУШКА

Венец из клевера, ромашки:
Огонь весны вокруг чела!..
Угасли щёки Замарашки.
Итог судьбы: зола, зола...

* * *

Яше Хромченко

Дай мне вьюгу с пронзительным визгом,
Вкус весны, летней яблони дрожь,
Полевым, густо-синим забрызгай
Задорожную, знойную рожь,

В память зайчик весёлого света
Урони, будто в тёмный подвал,
Чтобы скуку застойного лета
Растревожил и расколдовал,

Чтобы луч, молодой и желанный,
Заискрился, дождём подождён,
Чтоб сквозь радугу мир первозданный
Был увиден и преображён.

ИЕРУСАЛИМ

Не из камня твой царственный взгляд,
Из печали, из воздуха сложен.
Как он светел, как свят, как тревожен
Этот Город!
Как слёзы горят!

Давид Маркиш

ГУРЕВИЧ

— Если все мертвецы вдруг встанут из могил, вот это уже будет полный атас, — сказал водила. Потом он опустил боковое стекло и аккуратно, чтоб не попасть в соседнюю «ауди», ползущую впритык, сплюнул.

Мело. Невский проспект, забитый машинами и людьми, еле тёк между озябшими, заскорузлыми домами. Мело и темно.

Гуревич сел в этот «жигулёнок» в Пулковое, полчаса назад, и за всё это время водила не проронил ни слова. Гуревича тянуло поболтать со свежим человеком, с землячком, рассказать ему о перелёте из тель-авивской жары в Санкт-Петербург, в эту холодрыгу, о том, что он не был здесь целых шестнадцать лет — с того самого дня, как уехал. Но угрюмое молчание водилы не располагало к душевному разговору, и Гуревич тоже решил молчать. Так и ехали. Глядя в окно, Гуревич нетерпеливо ждал, когда, после задуманного ещё в Тель-Авиве объездного крюка, приедут в гостиницу. Замечание водилы насчёт поголовного вставания мертвецов прозвучало совершенно неожиданно.

Вначале Гуревич подумал, что ослышался: глядя на водилу, трудно было предположить, что он слышал когда-нибудь о Фёдорове. Сам, что ли, допетрил? Ну, это ж надо быть либо сумасшедшим, либо дважды сумасшедшим. Водила, меж тем, не был похож на безумца. Да и картина, намеченная им одним штрихом, — мир, переполненный людьми, набитый вчерашними мертвецами, Невский, где и так негде плюнуть, — вот это всё и было бы «полный атас», совершенно верно.

— Тебя как зовут? — спросил Гуревич. Если б не эта странная фраза о всеобщем воскресении, он не стал бы интересоваться именем случайного водителя: ему было всё равно.

— Клим, — горько усмехнулся водила. — Родители были кому-ники те ещё, назвали в честь Ворошилова, конского этого. — И добавил уже совсем удручённо: — С шашкой.

Снова замолчали. Снег пошёл отвесней и гуще, жидкое освещение с трудом пробивалось сквозь зыбкую пелену. Ранний вечер обволок землю и всё на ней театральной темнотой, покачивающейся на золотых гвоздях фонарных ламп. Что-то должно было случиться — неожиданное, негаданное — и изменить ход событий. Но ничего не происходило за окном машины. Очертания города, в котором Гуревич появился на свет без малого сорок лет тому назад, были повиты лентами снега, а белый мир копошился и кишел чёрными людьми.

Крюк, который задумал сделать Гуревич по пути с аэродрома в гостиницу, вёл вдоль набережной Фонтанки, мимо собора, в

тесную мешанину старинных домов, в одном из которых, на верхнем третьем этаже, на измызанной лестничной площадке коричневела обитая задубевшим дерматином дверь с тремя разномастными звонками, ведущая в квартиру № 8: три комнаты, кухня, коридор. Во второй комнате справа по коридору Гуревич когда-то жил, глядя в окно, выходящее во двор.

– Тут сверни, у светофора, – указал Гуревич Климу.

А в первой комнате жила девочка, в которую Гуревич был влюблён. Она жила с одинокой матерью, пьющей женщиной, в углу комнаты стояли высокие напольные часы с боем, немецкие, и строгая красивая музыка играла не в назначенный срок, а когда вздумается: в узком животе часов вдруг раздавалось урчание, и музыка начинала играть. С девочкой грустно всё вышло и глупо: она вышла замуж за молодого артиллерийского офицера и уехала с ним к чёртовой матери, на Дальний Восток.

Трофейные часы, плюшевые зелёные шторы.

– До угла и налево. А там прямо пока.

Да мало ли что там было, – пристально вспоминал Гуревич. Дома, в белой комнате с каменным плитчатым полом, с морем за окном и торговцем калёными фисташками у входа, всё, казалось, было вспомнено до последних мелочей: цинковое корыто на стене вечно тёмного коридора, и как звали кошку вторых соседей, приехавших из Казани и готовивших на свои татарские праздники национальный медовый торт под названием «чак-чак». Всё это поднялось из тёмных недр души на поверхность, и перед отлётом ни о чём другом уже и не думалось. И всё отчётливей представлялась картина: такси въезжает на Малую Луковниковскую, притормаживает у дома № 17, у подъезда – но не останавливается, а едет дальше, – и никто, никто не видит, как Гуревич в великом и счастливом волнении души утирает глаза пальцами.

Булочная на углу, палисадник с голыми костлявыми деревьями. Дощатая лавочка с отбитой спинкой.

– Останови! – строго сказал Гуревич.

Клим тормознул, машина пошла юзом.

Наклонившись к окну, цепко глядя на тёмный подъезд, Гуревич с пугающей ясностью не испытывал того, к чему был, казалось ему, всецело готов: лёгкие праздничные бабочки не порхали в его душе, и не пели золотые трубы. Он вообще не испытывал почти ничего, кроме тупой усталости, вдруг нахлынувшей. Серый дом, чёрный стылый подъезд с неприкаянно приоткрытой дверью, с болтающейся на жилах проводов домофонной панелью. И, всё же, родное гнездо... Это «всё же», неизвестно откуда возникшее, крест-накрест перечёркивало воображённую с любовью картину.

– Я здесь родился, – не отлепляя лба от окна, сказал Гуревич. – Вот это мой подъезд... Зайти, как думаешь?

– Не надо, – прикинув сказал Клим.

И Гуревич вошёл.

Пахло мочой.

Этот запах, неизбежно знакомый каждому, встречающийся часто, но, тем не менее, никогда не приедающийся до такой степени, чтобы не обратить на себя совершенно никакого внимания и не заставить насторожиться, – этот запах, смешанный с ароматом пряностей и тёплым духом парного мяса, заливал искривленные улочки иерусалимского Старого города, ведущие к Стене плача.

Он исчезал, словно обрубленный ножом, когда перед глазами идущего открывалась Стена, сложенная из камней цвета старой кости. И пришедший освобождённо вдыхал запах неба, лежащего на гребне Стены.

Белая площадь перед Стеной была велика и торжественно пустынна. Гуревич терялся на ней и был почти незаметен. Во всяком случае, не появившись он здесь – мало что изменилось бы; так казалось со стороны.

Одна минута, двести шагов по площади к основанию Стены были дорогой всей жизни – от первого вдоха до последнего короткого выдоха. Время сморщивалось, сжималось в горошину, всё вдруг смещалось и изменялось. Годы утрачивали тяжкий кирпичный вес, вольно размещались вокруг, как люди или кусты – вперемежку. Крестоносцы в железных шапках смело могли появиться здесь, и римские солдаты в кожаных поножьях, с факелами в мускулистых лапах. И листья пламени уже пробиваются сквозь стыки камней и оплетают Стену. Разноголосый смутный гул, белое на белом. Всё рядом, на расстоянии вытянутой руки.

А в тёмном подъезде на Луковниковской время было раскатано в стальной лист, взгляд не достигал его края и потерянно скользил по скучной гладкой поверхности. Гуревич остановился посреди помещения. Вот по этой лестнице с оббитыми каменными ступенями, с выщербленными деревянными перилами он спускался шестнадцать лет тому назад – тяжёлый чемодан в руке, за спиной рюкзак. Главное, не выронить визу, билет на самолёт... Гуревич всматривался. Ничто не обозначалось в сером пространстве. Тогда, постояв, он пригнул голову, как перед низкой притолокой, и шагнул к лестнице.

Возвращаясь из своего инженерного бюро домой, в белую комнату, за окном которой загорало на солнце Средиземное море, Гуревич привычно останавливался около уличного торговца фисташками с его снастью для ловли прохожих людей: разделённая на пеналы жаровня, а в пеналах калёные подсоленные семечки, маслянистые орешки кешью, лущёный миндаль, круглый глупый фундук. Завидев Гуревича, торговец – пожилой йеменский еврей в ковбойке и спортивной кепке с надписью «Летучий голландец» – насыпал ему в пакетик зеленовато-коричневые фисташки, выглядывающие на Божий свет из своей удвоенной ракушки. «Спасибо!» «На здоровье, мой господин!»

Так повторялось изо дня в день – кроме субботы, когда Летучий голландец, надев на ковбойку чёрный пиджак, отправлялся в сефардскую синагогу и приставал к Богу с разными смешными мелочами, из которых состоит наша жизнь.

Неспешно поднимаясь по лестнице, Гуревич вслепую выуживал из пакетика одну за другой тёплые фисташки, разъединял податливо приоткрытые половинки скорлупы и, увлечённо жуя, убирал сор в карман – сорить не хотел.

А семечки он никогда не покупал – они почему-то напоминали ему о России, он не желал, грызя подсолнухи и сплёвывая лузгу с губы, бередить прошлое таким непочтительным способом.

Подойдя к двери, Гуревич был уверен, что не ошибся этажом.

Но не было ни пожухшего дерматина, ни разноцветных звонков. Дубовая лакированная дверь с резными филёнками выдержала бы, казалось, размашистый удар торцом большого бревна. Дверь понравилась Гуревичу, хотя и вызвала в нём скрытую ревность. Протянув руку, он деликатно постучал по ней костяшкой согнутого пальца.

– Кто там? – расслышал Гуревич приятный женский голос.

– Гуревич, – сказал Гуревич.

– А вы от кого?

– От Клина, – дивясь, сообщил Гуревич первое попавшееся.

Дверь отворилась, с порога, пропуская гостя, шагнула в сторону милая женщина лет тридцати пяти, в расшитой бисером меховой кацавейке: топили в доме не ахти как.

– Мы тут проверяем, – объяснила Кацавейка. – Вы уж извините.

– Да нет, ничего, – сказал Гуревич, озираясь с сомнением.

– Евроремонт только сделали, – с гордостью сказала Кацавейка. – Красиво, да? Всем нравится.

Ни корыта не было в коридоре, ни велосипеда с одним колесом. С обоев на стенах глядели красногубые итальянские пастушки и сухопарые молодцы с усами. На потолке, в золотых переплётах, сверкали зеркала.

– Да вы проходите вот сюда! – пригласила Кацавейка.

В комнате, где проживал когда-то Гуревич, потолок был украшен такими же зеркалами, только собранными в круг. Широкая низкая кровать помещалась в углу, на журнальном столике стояла бутылка молдавского коньяка и хрустальная ваза с яблоками.

– А бокальчики-то! – спохватилась Кацавейка. – Сейчас, одну минуточку...

Она поспешно вышла, и в комнате немедленно появилась девчонка в медицинском почему-то халатике, с двумя бокалами в руке.

– Это Люся! – донёсся из коридора приятный голос Кацавейки. – Люсенька! Знакомьтесь и чувствуйте себя, как дома!

– Ну, ладно, – пробормотал Гуревич. – Читайте, что договорились.

Не снимая пальто, он сел на краешек кровати. Здесь как будто стоял раньше письменный стол.

– Я вообще-то прыгаю с шестом, – поставив бокалы на столик, сообщила Люся. – А вы приезжий?

– Почему вы так думаете? – спросил Гуревич.

– Сразу видно, – сказала Люся. – А что, не так?

– Ну, так, – сдался Гуревич. – Давайте выпьем по рюмке, это нас ни к чему не обяжет. Я тут жил когда-то, в этой самой комнате.

– Как интересно! – сказала Люся. – Яблоко вам почистить?

Наливая, Гуревич отрицательно помотал головой. Клим, теперь вот прыгунья с шестом. Действительно, интересно. Более чем.

– Ваше здоровье.

– Вы пальто не будете снимать? – спросила Люся. – А то давайте, я повешу. Вы не беспокойтесь, у нас тут ничего не пропадает.

– Нет-нет, – поспешно сказал Гуревич. – Я пойду сейчас.

– Я вам не нравлюсь? – огорчилась Люся. – А то у нас тут другая девушка есть.

– Нравится, – сказал Гуревич, снова наливая. – Не надо мне никакой другой девушки. Я, может, ещё приду. Потом. За знакомство!

Он вынул кошелек, достал деньги.

– Это вам, а это за коньяк... Бывает же, а?

– Бывает, – согласилась Люся. И халатик запахнула.

– Поехали!

Клим, дремавший над рулём, включил мотор и тронулся с места. Не ожидая расспросов, Гуревич нахохлился на своём месте рядом с водилой.

А она симпатичная, эта Люся. В конце концов, она не обязана была знать, что он, Гуревич, жил когда-то в этой самой комнате. Ну, жил. Она-то тут при чём?

С шестом она прыгает... Что за чушь, честное слово! Но, может, и прыгает – ноги-то вон какие, просто блеск. И ноги, и всё остальное. А что туповатая, так это даже лучше: ум красивой девчонке ни к чему, он голову тянет.

– Клим, а Клим! – позвал Гуревич. – Лучше русской девушки что может быть?

– Китайка! – с уверенностью сказал Клим.

Гуревич улыбнулся и пожал плечами в темноте.

– У тебя была, что ль, китайка? – спросил Гуревич.

– Врать не буду, – горько сказал Клим. – Не было... – И замолчал.

У Тали тоже всё в полном порядке, всё при ней – а как бы и не к месту. Нет в ней вот этой беззаботности, бесшабашности на краю обрыва. Нет, сколько ни ищи! Правда, и обрыва нет никакого в помине: дорога прочерчена, размечен путь. Сегодня помощница адвоката по трудовым конфликтам, а послезавтра самостоятельная практика, собственное дело. Хорошие доходы, директорская пенсия. И вся эта мура собачья в двадцать шесть лет отроду... Да, вряд ли Тали стала бы кому-нибудь рассказы-

вать, что она прыгает с шестом. От этой дикой мысли Гуревич даже зубы стиснул, чтобы не рассмеяться.

И дело ведь тут не только в Тали, думал Гуревич. Сегодня Тали, а завтра может быть какая-нибудь другая Тали – зубная врачиха, например, или даже армейская лейтенантша с автоматом. А в том дело, легко маялся и думал Гуревич, что вот в этой Люсе, в Люське с её шестом дышит живая душа, которой совершенно неинтересны ни дурацкие трудовые конфликты, ни чужие зубы. С этой Люськой можно говорить легко, как ручей журчит – не выбирая слов, не думая над тем, как может быть понято сказанное: плохо или хорошо. Так ведь и должен говорить человек, и слушать так должен.

А про Ципи лучше вообще не вспоминать: почти четыре года выброшены псу под хвост. Хотя она, Ципи, ни в чём не виновата – просто такой характер, такая, что ли, повадка. Идея открыть буфет и торговать сибирскими пельменями по той лишь причине, что это занятие принесёт на три копейки больше, чем инженерская служба Гуревича, – в организованном обществе эта идея вполне здрава и уж, во всяком случае, имеет право на существование. Кому же торговать в Израиле сибирскими пельменями, как не русскому еврею? Но именно эти пельмени послужили последней каплей, переполнившей чашу смирения Гуревича: его намерение всецело вписаться в новую жизнь дало извилистую трещину, заботливая Ципи была отставлена, так и не поняв, что же послужило причиной разрыва.

Интересно, изменился ли телефон в квартире № 8? Если изменился, надо туда ехать. Завтра же, с утра. А там поглядим.

Гостиница на Невском была освещена, крепыш в зелёной ливрее с галунами отлепился от входа и, подойдя, распахнул дверцу машины.

– Забронировано! – подойдя к беломраморной стойке регистрации, сказал Гуревич портье со скрещёнными золотыми ключами на лацкане форменного пиджака.

Номер оказался просторным и уютным, окно выходило на Невский. Машин на проспекте поубавилось, а снег по-прежнему продолжал размеренно валить. Гуревич решил было принять душ, но передумал и, надев свитер под куртку, вышел на улицу.

На углу светилась витрина магазина сувениров. Голубела гжель, пестрели ряды матрёшек. Если куплю матрёшку, подумал Гуревич, значит, я иностранец. Но покупать матрёшку было как-то неловко.

В магазине толпилось вдоль прилавков десятка два покупателей. За одним из прилавков, совершенно пустынным, продавщица средних лет с тихим, усталым лицом повторяла нараспев, без пауз:

– Кто забыл купить змею? Подходим, покупаем! Кто забыл купить змею? Подходим, покупаем! Кто...

Но никто не подходил.

Александр Крестинский

ПОД ПОКРОВОМ ЕВРЕЙСКОГО НЕБА

Я СЛУШАЛ РЕКВИЕМ МОЦАРТА И ВСПОМНИЛ...

Весною сорок второго нам с мамой дали участок,
Далёкий дали участок, аж на Пороховых.
Гордые поначалу, туда мы ездили часто,
Мы ездили очень часто в трамваях полупустых.

У мамы была отдышка, ей не поднять лопаты,
Лопата тяжелая слишком для первой блокадной весны.
Она улыбалась смущённо, она брала передышку,
Она цветы собирала среди крутой целины.

А я втыкал ту лопату, как во врага, как в немца,
В спину земли зеленой, в тяжкий тот глинозем.
Я отработывал в поте карточку иждивенца,
Так мы трудились с мамой в нашем сорок втором.

И я вскопал это поле, полюшко дорогое,
Мы сажали картошку, нас обнимала весна.
Мама тихонько пела, укутывая землёю
Морковки, свеклы и брюквы дареные семена.

Мы поливали всходы ржавой водой болотной,
Мы улыбались каждому листику и цветку,
Я ложился на травку, лоб отирая потный,
Радуюсь небу, солнцу и выросшему пайку...

Лето я был на подходе фабрики Володарского.
Вкалывали, а вечером вспоминали своих.
А мама ждала наивно того урожая царского,
Который зрел незаметно где-то на Пороховых.

Я вернулся под осень, веселый и загорелый,
Мама встретила новостью – новость нехороша...
«Наш огород разокрали, – сказала она печально, –
Наш огород разокрали, не оставили ни шиша...»

«Мама, – сказал я, – мама, не огорчайся, мама!»
И рюкзак свой на пол высыпал не спеша,
И раскатились по полу картошка, свекла, морковь
И два кочна наливные... «Всё, – сказал я, – ша!»

Помню улыбку мамину, совсем ещё молодую,
Помню, как обняла меня молча и горячо,
Помню ее веселую, помню ее живую,
Сколько любить и помнить мне суждено ещё?..

Апрель 2001

ДОРОГА НА ЯФФО

*В государстве ромашек, у края,
Где ручей, задыхаясь, поёт,
Прележал бы всю ночь до утра я,
Запрокинув лицо в небосвод...*

Н. Заболоцкий

Дорога на Яффо – всё морем да морем,
То верхом, то низом, по тропам, по взгорьям...
И полгоризонта по левую руку
Ритмически вторя сердечному стуку:
Лиловый и синий! Зеленый и синий!
Но пахнет не морем – здесь пахнет Россией...

Вверху на поляне – ромашкино племя
Подставило солнышку теплое темя.
Внезапно дохнуло ромашковым зельем –
Рязанским, воронежским, псковским весельем!

Кого только нет в государстве ромашек!
От божьих коровок, жуков и букашек
До птиц, что гнездятся в ромашковых джунглях...
Взмывают, как будто сидели на углях!

Границы страны охраняют неплохо
Мохнатые шапки чертополоха.
Щетинятся пиками часовые,
Они здесь покруче, чем были в России...

Дыши, эмигрант, ароматным настоем!
Вот чайки летят намагниченным строем,
Собака бежит, а за нею хозяин...
У каждого сумка пожизненных тайн.

Чем ближе походит сюжет к эпилогу,
Тем больше мне хочется людям в дорогу
Дарить этот запах, и цвет, и звучанье...
Дорога на Яффо. Махни на прощанье.

Март, 2001

ПАМЯТИ МАНДЕЛЬШТАМА

*Лишив меня морей, разбега и разлета,
чего добились вы?..*

*На вершок бы мне синего моря,
На игольное только ушко...*

Воронеж, 1935

Возмечтал он о море, воронежский зэк,
Но замком гроыхнула граница.
В бесконечность Гулага ушел человек,
А безумное время все длится.

Он – гордец и изгой на родимой земле –
От эпохи не ждал снисхожденья.
Его книга – вся в черном – лежит на столе
И по-прежнему жаждет общенья.

Я увез ее к морю, и по вечерам
В нашем доме свершается треба –
Я читаю стихи, засыпает Бат-Ям
Под покровом еврейского неба.

Море мерно гудит, покрывая собой
Шум людских площадей и экранов,
На которых неистово пляшет плэйбой
В мире маркетов и кегельбанов.

Принимай же бесценные эти дары –
Море, небо, деревья и горы...
Эти щедрые – слуха и зренья – пиры,
Чудных птиц предрассветные хоры!

Бью тебе, Средиземное море, челом.
Здравствуй, вечного Бога обитель!
Мне навстречу бежит с журавлиным пером
Смуглый юноша, ангел-хранитель...

январь 2001

* * *

Оксане Глинской

Не белые птицы присели
На яркую зелень полей,
С небес раскаленных слетели
Десятки живых кораблей.

Устав от воздушной работы,
Закончив большой перелет,

Выходят на землю пилоты,
Где дом их приветливый ждет.

Быть может, такой же, как этот,
На птичьем таком этаже,
В игралище воздуха, света...
Я, кажется, жил здесь уже!

Окошко твое, точно рама
В мерцании тысяч огней,
Ритмическая панорама,
Ночей прорастанье и дней...

Здесь Библии слово воочью
И монументально звучит,
Здесь воздух намолен, а ночью
Я слышу, как космос молчит.

И здесь я почувствовал кожей,
Да, кожей, а не головой,
Что значит на свете дар Божий.
Дар Божий. И все-таки твой.

Ганей-Авив, апрель 2001

ЗОВ

Морская раковина лаковая...
Ее художница-волна
Вытачивала, обволакивала,
Пока не выплыла она.

От берегов далекой Греции
Ее принес бродяга-шторм
Для умножения коллекции
И ради совершенства форм.

Я из песка ее выкапываю,
Я на ладонь ее кладу,
Прозрачно-матовую, лаковую,
Цветок в Нептуновом саду...

Прекрасно всё: паренье ястреба,
Движение рыб, скалы покой...
И зов из маленького раструба –
Звучанье ракушки морской.

февраль 2001

* * *

Я улыбаюсь детям и младенцам,
Я помню всё – блокаду и Освенцим.
Двадцатый век осел в моей крови
Тяжелой смесью горя и любви.

Живу любовью и живу строкою,
Который день мне не дают покою
Армянского найденыша глаза...
Взять кисть бы и писать с них образа!

Младенец в ночь трагедии Спитакской
Подземной силой адской
На годы был отторгнут от семьи.
Считался мертвым. О, друзья мои!
Двенадцать лет прошло до новой встречи,
Где матери его дрожали плечи
И слезы еле сдерживал отец,
Где мальчик вновь родился наконец
И тут узнал о незнакомом брате,
Который назван именем его
Печали ради, незабвенья ради...
Не спрашивал он ничего.

Я видел взгляд, доверчивый и нежный.
Вот агнец Божий, бедной жизни прежней
Еще не осознавший перемен.
Мне помнится, его зовут Завен.

март 2001

БУКЕТ НА СТОЛЕ

Светлане Кундыш

Эти белые гвоздики
Открывают свои лики
Постепенно, не спеша,
Чтоб по малости, не сразу
Стала родственною глазу
Их неброская душа.

А закрытые бутоны
Обещают перезвоны
Колокольцев неземных,
Обещают вдохновенье
И заоблачное пенье
Серафимов молодых.

Эти белые гвоздики,
Как дыхание Эвридики,
Цвет и горечь чистоты...
«Полюбите нас, поэты,
Мы во тьме рождаем светы,
Мы – небесные цветы!»

март 2001

* * *

Игорю Бяльскому

На ладони отразились острые
Тупики, развязки и пути...
Под авиабрюхом плыли пёстрые
Городов и весей конфетти.

Вскормленная ласковою сиською
На бухом рубле,
Разбрелась поэзия российская
По всей земле.

Где она, трудяга, ни работает!
То ее морозит, то печет...
Без запинки на иврите ботает,
Англичанский весело сечет.

То она склонится над гитарою,
Не стерпев вторичности кассет,
Забавляя песенкою старою
Новый Свет.

То глаза протрет в пустыне розовой,
Увидав березовый мираж...
Пропитает стих колючей прозою,
Без которой шекеля не дашь.

То вдруг остановится на площади,
Что-то в озаренье бормоча...
Цокают задумчивые лошади,
Агалу с арбузами влача.

А когда откинется, усталая,
И подушку скомкает башка,
Снится ей та деревенька малая,
Где в пути испили молока.

сентябрь, 2001

МОЛИТВА

Господи, спаси Израиль
От себя самих!
Эти облачки – не стаи ль
Ангелов Твоих?

На груди у них кольчуги
Грозные горят.
Люди замерли в испуге:
«Ангелы летят!»

Развернулись эскадрильи,
И на курс легли,
И распахнуты их крылья
В сторону Земли...

Чтоб услышав гром небесный,
Головой поник
Жёсткосердый и бесчестный,
Скряга и блудник.

Чтобы суетность молчала,
Спряталось жлобствó,
Чтобы музыка звучала,
Пело естество!

Чтобы юноши застыли,
Там, где миг застал,
Укрепляясь в твердой силе
Боговых начал.

Чтобы дети расточали
Радости талант,
Хороводами встречали
Ангельский десант!

Инна Сигрид
В ТЕНИ КЕРРИ ЭРНАН

НАУЧИТЬСЯ ЖДАТЬ

Я сижу и жду его у ворот. «Ворота с электрическим приводом» – я перечитываю это уже 74-й день, столько дней я уже в Израиле. Мне рассказывали, что какой-то юный кибуцник проезжал вечером за машиной на велосипеде, а ворота закрывались быстро... 74-й день я разглядываю следы крови на несущем столбе ворот с электрическим приводом. 74-й день я прихожу сюда вечерами. Здесь быстро темнеет и уже в шесть – южная ночь. Я кутаюсь в толстый свитер, который купила у старушки, когда шла из израильского посольства, где в тот день получила визу на въезд в Израиль. Я думаю, что это была добрая фея, эта старушка. Она стояла на овощном рынке у нас в «Сокольниках» и продавала ношенные вещи, старые, вышедшие из моды, и новые ботинки, которые никто никогда не купит, потому что они отвратительны, несмотря на новизну. И среди этого хлама лежали три свитера. Синий, глубокий, цвета увядающих васильков, желтый и белый. И я остановилась у этого синего свитера. Он был огромным. Я купила его для Раза, но и ему он был велик. Раз – чуть поменьше русского медведя, который потеет в Израиле. А потом я вернулась и купила желтый. Себе. Но так никогда его и не надела. Подарила другу семьи. Сказала, что купила в Израиле, на арабском рынке. Летом. А старушка-фея предлагала купить мне и третий. Но я его оставила ей... или кому-то другому.

В тот день мне только феи и попадались. Удачный был день. В посольстве вдруг выяснилось, что документы, доказывающие мою причастность к многострадальному народу, мне не помогут. Даром что из КГБ. А я смотрю ей за спину, юристу, которая со мной возится, потому что там – карта Израиля. И чуть ниже Иерусалима есть мошав Сегула. И там живет Раз. Но она этого не знает. Она знает лишь, что в Израиле детей усыновляют только до трехлетнего возраста. А потом отцы не признаются родными. А мой папа, по израильским законам, трижды подумал. И удочерил меня в девять лет. Это она легко может посчитать. У нее в руках справка об усыновлении. И там все написано. И у меня в глазах тоже – все написано. У меня в глазах то, что однажды я услышала, когда работала в пейджинговой компании оператором, – одна девушка, передавая сообщение, подписалась: «Девушка, в глазах которой отразилась вся боль и печаль еврейского народа». И вот эту печаль еврейского народа моя фея из израильского посольства видит. И она зовет первого консула. Он наклоняется через стол и спрашивает у меня, предварительно проверив, правда ли в глазах моих... он спрашивает: «Это

ваш биологический папа?». И мы играем с ним в еврейский футбол «еврейской болью», и я ловлю ее, эту боль, и она остается со мной: «Да, у нас даже одна группа крови. Очень редкая. Четвертая. АВ». И он, не садясь, ставит мне визу, а моя фея кружится вокруг него и говорит на языке настоящих ведьм, которых жгли на кострах инквизиции.

Я сижу и кутаюсь в свитер, потому что уже конец ноября и ночи, такие черные, – совсем не южные. Я кутаюсь в свитер, который купила Разу из мошава Сегула, что чуть ниже Иерусалима. Мимо меня выезжают и въезжают машины. Я считаю до тридцати. По звуку шин я узнаю типы автомобилей. И среди них нет его. Когда въезжает тридцать первая машина, я ухожу в свою комнату в доме на берегу моря, рядом с коровником и конюшней, чтобы снова ждать. И даже когда я ложусь спать, я жду и, засыпая, прислушиваюсь к теням.

Раньше у ворот сидел «русский». Так зовут кибуцника, который в конце войны сбежал из Белоруссии и дошел до Палестины. Тогда ему было восемнадцать, и уже в Белоруссии по книгам он учил иврит. Он женился в Израиле на девушке из Ирака и почти забыл русский. Они так любят Россию, эти «русские» времен войны, времен двух войн. Времен тех патриотических войн, в которых они участвовали в разных странах, но каждый раз «За Родину» и без страха умереть. «Русский» мне рассказывал о Бен-Гурионе и водил к дереву, от которого начали строить кибуц и около которого группа «Пальмах» и Бен-Гурион... И я ничего не могу припомнить из того, что он говорил. Я прислушивалась к звукам на шоссе, шуму приближающихся машин, едущих дальше на военную базу «Пальмахим». Но потом наступила израильская зима. И «русский» больше не сидел у ворот. Теперь я была одна.

Я возвращалась в свою комнату и писала письма на иврите, почти не глядя в словарь. Мне не нужно было слов, которых я не знала. Я писала о шуме машин, едущих дальше, я писала о холодной земле, о телефоне-автомате – единственном средстве связи между нами. Я писала и, наверное, лгала, что знаю особенный звук его машины. Наверное, потому, что никогда не дожидалась, и поэтому звук его машины должен был быть особенным.

Я жила в кибуце, работала в коровнике, доила коров, выгребала ил из ванн, учила иврит в ульпане, ела в столовой одна, гуляла по утрам после работы у моря с собакой из коровника, которую взял себе один из работников еще щенком, но потом, после ультиматума жены, выбрал между сукой и женщиной. Я повторяла, что ненавижу ждать. И ждала. Я клялась себе, что больше не позвоню. Но звонила.

Он забирал меня на выходные к себе, но так и не взял свитера. В мошаве Сегула было еще холоднее, чем в моем кибуце. Я говорила себе, что этот холод остановит меня, и в следующую пятницу я не поеду. Но проходила очередная неделя...

В декабре, накануне Нового года, он привез меня утром в кибуц. И в этот вечер я больше не позвонила ему. И на следующий день тоже. Я не позвонила, потому что мне было неуютно жить втроем, а мы всегда были втроем – он, я и Керри Эрнан.

Керри Эрнан появилась задолго до меня. Она тоже фея. В тот год мне везло на фей. Керри Эрнан была особенной феей, как Иисус из «Писем Баламута», который «любит и отпускает». Керри Эрнан была феей, чья любовь никогда не кончается. Керри Эрнан не смотрела на меня со стены с фотографии 50 на 40, потому что губы ее были заняты, а глаза закрыты. Керри Эрнан не смотрела на меня, потому что она целовала Раза, а он, на расстоянии вытянутой руки, фотографировал этот поцелуй. Керри Эрнан беззвучно смеялась надо мной, разбрасывая свои письма по комнате Раза, где я была в выходные. В этих письмах она снова и снова обещала любить его вечно. Снова и снова говорила и бросала его – даже в этих словах. Потому что Керри Эрнан не была с Разом. Потому что она была феей, настоящей феей, которые никогда не остаются с тобой на всю жизнь. И поэтому Раз любил ее, Керри Эрнан, фею, девушки из Нагарии, свою единственную. И тут почему-то была я.

А он врал мне, целуя меня на глазах у Керри Эрнан, феи, которая никогда на это не смотрела. Потому что глаза ее были закрыты, а губы заняты. Он врал мне, когда мы сидели на кровати под фотографией Керри Эрнан. Он врал мне, когда говорил мне, что любит меня. И я не верила, но не могла признаться себе до конца, что это так. Что в жизни не может быть нескольких фей. Фея – всегда одна.

Реховот, 29 марта 2001

ОТ НЕРАЗДЕЛЕННОЙ ЛЮБВИ

Соне Губенко

В эту ночь я опоздала впервые. Я бежала и на ходу застегивала рубашку, куртку – рабочую одежду, которую мне выдали для работы в коровнике. Как всегда ночью, было холодно. Прибежала в три сорок, когда Шира, одна, заканчивала дойку первой группы коров. Я схватила ее за руку и не знала, что сказать.

– Бывает, не страшно, – сказала Шира и улыбнулась. Потом поправила очки, дала мне в руки пластиковый халат, взяла пластмассовую палку и пошла закрывать ворота за коровами.

Шира необыкновенная. Она маленькая, хрупкая и удивительно сильная. Как ее собака-такса. А еще – она обожает коровник и работу в нем. И с такой же силой Шира ненавидела армию, в которой провела двадцать один месяц, как и полагается девушкам. А теперь в армии ее друг. И за это она ненавидит армию еще сильнее – еще почти два года ждать. Хотя и кончился этот кошмар армейских построений.

Однажды мы с Широю ловили корову, которая была не в настроении давать молоко. Она встала на колени, смиренно наклонила голову, проползла так, на коленях, под трубой, и вскочив на ноги, забыв о смирении, помчалась галопом подальше от нас. Шира завела трактор с ковшом, который развозит корм для коров, и через пару минут вернулась с беглянкой, семенящей впереди трактора.

Я пошла выгонять очередную группу коров из загона. В душ. Было холодно. И черное небо в белых точках звезд. Я не брала с собой плеера, когда работала в коровнике. Прислушивалась к каждому звуку. По ночам за оградой кибуца, где-то в пустыне или возле бетонного завода, были дикие собаки. Говорят, что так же пронзительно в степях российских по ночам кричат шакалы. Коровы не боялись их воя. Боялась я. Я обходила все закоулки загона – там обычно прятались особо упрямые коровы. Я гнала их к выходу, и, если одна бежала назад, то все устремлялись за ней, и тогда приходилось начинать снова. Нужно было вовремя перекрыть путь назад – закрыть чугунные ворота в загон. Сегодня мне удалось выгнать их, и я поспешно закрывала ворота.

Вспомнила Соню. Я впервые увидела ее в кепке набекрень, несмотря на ночь. Она стояла большая, уверенная в себе, руки в боки, и секунду спустя она уже помогала нам втаскивать вещи в комнату. Я вспомнила ее, орущую и бьющую себя по плечам, когда как-то вечером огромный жук-таракан оказался у нее под платьем. Вспомнила ее, стоящую надо мной, когда проснувшись я открывала глаза и вздрагивала от ее внимательного взгляда. Она приносила мне обед в комнату, если я задерживалась на работе, а столовая закрывалась. Она плакала вместе со мной, когда Раз снова не приезжал, а я все ждала его и боялась выйти из комнаты. Она ненавидела коровник за то, что мне там тяжело, но приходила к телятам и радовалась, когда они тянули свои морды, и давала им сосать свои пальцы. Она любила свою маму, которой звонила в Нью-Йорк каждый четверг вечером из единственного в кибуце телефона-автомата, хотя и поносила ее порой последними словами. Она читала мне мамины письма и говорила, как мы похожи – ее мама и я. Но я не хотела быть похожей на Сонину маму. А Соня злилась на нее и любила. Злилась за время, которое десятилетней девочкой провела в свинарнике, что мама выстроила в Валентиновке на бывшей генеральской даче своего отца. Злилась за грязь и постоянный запах дерьма, даже от школьной формы, за пропущенные в школе уроки, за мамины увлечения мужчинами, которые годились ей в сыновья, за то, что она бросила Соню в Израиле, а сама уехала в Америку к очередному мужчине, отцу ее младших детей. И любила ее, любила, как можно любить только мать.

Я думала о Соне, о ее бабушке в Тель-Авиве, маме ее мамы, злилась на Раза, который снова не приехал, хотя я, как обычно, исступленно ждала и не ложилась спать до двенадцати ночи, отчего и опоздала, и вдруг решила, что никогда не позволю Разу

везти Соню к бабушке, даже если ему будет по пути. И в этот момент я сумела закрыть ворота, вставила наконец-то скобу в пазы. Вместе со средним пальцем. Ничего не было, кроме боли и мгновенных слез. Ноготь висел на кусочке кожи, весь в крови, которая капала, как крошки хлеба, который мальчик-с-пальчик бросал на дороге, а грязь под ногами поглощала кровь.

Я вернулась к Шире и ничего не сказала ей. Просто медленнее работала. Мы закончили смену, и я пошла мыть руку. Она подошла сзади, увидела мой палец, вытерла руки, потянула меня за край халата, я обернулась, она знаком позвала меня за собой, мы дошли до трактора, и так, с поднятым ковшом, доехали до медпункта. В шесть утра там, конечно же, никого не было. Вернувшись в коровник, Ши́ра промыла мне рану, забинтовала, и мы разошлись по домам.

Я разбудила Соню своим ранним приходом. Она открыла глаза и сразу увидела бинт на руке.

— О чем ты думала, когда это случилось?

— Соня....

— Обо мне....

— Да, прости. Я думала, что не позволю Разу отвезти тебя к бабушке.

Она подошла ко мне, обняла, и мы вместе заплакали от неразделенной любви.

Реховот, 31 марта 2001

«КШЕ АТ НОГААТ БИ»

Я снова была в Иерусалиме. Уже в автобусе, несмотря на включенный на обогрев кондиционер, почувствовала холод города. Оно и неудивительно. Когда мы проезжали Рамле, там горел склад велосипедов, огонь только начинался, но запах уже был таким стойким, что проник в автобус и метался там неприкаянный, пока мы не выехали за пределы города. Тут-то он нас и оставил.

Мы встретились, как всегда, на центральной автостанции. Оттуда пошли пешком на Бен-Иегуду, где живет Артур. Как всегда, у него была приготовлена для меня культурная программа и подарок в сумке, на случай моей непредсказуемости, к которой Артур уже привык. То есть я могла сорваться с места, заявить, что сейчас же уезжаю. И уехать. Он это знал, просчитывал за меня и был готов к любому повороту событий. Он просто достаточно хорошо знал меня, как туземцы познают белых и уже заранее, взором будущего, знают, как те поступят, когда вернутся, когда, «спонтанно» передумав, изменят свое решение.

Мы шли по Яффо и на автобусной остановке услышали восточную речь. Я посмотрела на разговаривавших молодых людей и подумала, что слышу армянский. И мы шли и болтали об армянской литературе, перешли на грузинскую, заспорили о Шота

Руставели, о его «Витязе в тигровой шкуре», потому что больше мы ничего не знали из грузинской литературы. Проходили мимо рынка. Чем-то влекут меня восточные рынки. Есть в них некая притягательная сила. Нет, не грязь и ругань. Есть какой-то неповторимый колорит, нечто народное, карнавальное, цельное.

Мы слонялись по рядам и ничего не искали. Просто смотрели по сторонам. Зашли в лавку старых вещей, смотрели картины, говорили по-русски.

– Вы говорите по-русски!

Мы обернулись. Смешно сейчас в Иерусалиме такое услышать. Каждый второй говорит по-русски.

Перед нами стоял хозяин лавки. С добрыми глазами, проседью, залысинами. В старой футболке, в старом пиджаке времен Владимира Ильича, в новых черных брюках. Он улыбался и протягивал руку.

– Я Шота Грузинский. А вот он, – и он указал на старика в кепи и огромных роговых очках, сидевшего за прилавком, – он Ефим Еврейский. А вы кто?

– Я – Артур, – Артур театрально наклонил голову и, чуть заметно поклонившись, протянул руку. – А это – Инна.

– Откуда вы родом?

– Артур из Риги, я из Москвы.

– Так как же вы познакомились? Уже здесь?

Так мы разговорились. Шота рассказывал нам о грузинских вечерах, лагере МГУ под Пицундой, молодой своей жизни, о женитьбе, детях, о предстоящей старости, когда он соберется с силами и будет учить английский, который прогулял черными грузинскими ночами с девушками до женитьбы, проговорил с приятелями за стаканом вина, проел в грузинских харчевнях.

На меноре стоял ослик. Я удивленно его рассматривала, когда он подошел:

– Нравится?

– Мило.

– Это я сам сделал. Из шоколада. Хочешь, птичку слеплю. Прямо сейчас.

Он достал из кармана пиджака кусок пластилина, и я стала следить за его пальцами. Сначала появилось туловище, затем голова, ногтем он провел, и получилось крыло, глаз, вылепил клюв, лапы, отщипнул от хвоста кусок, сделал когти, распушил хвост. Как фокусник, он вылепил из бесформенного куска голубя. Посадил его по другую сторону от осла.

– Я вообще пластилин люблю. Всегда что-нибудь делаю. Хотите чаю?

Артур посмотрел на меня нерешительно, а я уже хотела домой. Шота понял без слов.

– Ну, в другой раз. Приходите. Придет еще Артур, наш художник, ему девяносто лет. Как он рисует! А маслом пишет как! Выпьем вина, поговорим. Людям всегда есть о чем поговорить. Только вместе приходите. Договорились?

И тут Шота еще раз взглянул на нас, достал еще кусок пластилина и быстро начал лепить.

– Я тебе сейчас девушку слеплю. Будет тебя любить, как ни одна другая. На всю жизнь.

В его руках пластилин оживал и превращался в плоть. Появились ноги, руки, туловище. Он вылепил голову, прищурившись посмотрел на Артура и начал лепить лицо.

Мы заворуженно следили за его движениями. Мы забыли, что мы на рынке, в Иерусалиме, в апреле 2001 года, что вокруг нас люди, уставшие после работы, покупают еду и несут сумки домой, что именно сегодня, в эту пятницу, совершенно случайно театральная студия Артура, куда он всегда ходит по пятницам, не работает... Что именно сегодня, по дороге к рынку, мы говорили о песне Боаза Шарави «Когда ты до меня дотрагиваешься» и с восторгом вспоминали фразу: «Когда я чувствую твое прикосновение, я проникаю в суть чудес».

Она улыбнулась и смущенно рассыпала волосы свои необыкновенной длины на груди. Шота исчез и через несколько секунд вернулся, держа в руках платье и туфли. Она оделась быстро, но неумело, подошла к Артуру, взяла его за руку, и посмотрела так, как смотрят на любимых.

Шота улыбнулся нам и молча помахал рукой.

Мы осторожно вели ее, оберегая и опасаясь, как бы ее не толкнули, – она бы упала и рассыпалась тут же. Артур нежно и крепко держал ее за руку. Мы шли по рынку и боялись выходить на улицу, боялись, что она вдруг исчезнет, так же неожиданно, как и появилась на свет. Она шла с Артуром и смотрела на него восторженными глазами. Артур отвечал ей тем же. И я радовалась, что вижу своими глазами, наяву, а не во сне и не в кино, настоящее счастье.

Я проводила их до улицы Бен-Иегуда, дошла с ними до дома Артура, смотрела им вслед, когда они поднимались по лестнице вместе и Артур подхватил ее на руки и понес, а она обняла его за шею и волосы ее, необыкновенной длины волосы, касались лестницы, а она не замечала и взгляд ее был мечтательным.

Я ждала автобуса на центральной автостанции, звонила Артуру по пелефону, но он, конечно, не брал трубку. И я не обижалась вовсе, потому что знала, что когда ты счастлив, ты любишь весь мир, но это не мешает тебе быть немного эгоистом.

Реховот, 6 апреля 2001

ОНА И Я

Мне не утолить этой боли, даже если я буду рассказывать о ней каждому встречному. Даже если я буду рассказывать о ней на ломаном немецком, на странно звучащем иврите, на английском, который учила в школе, на русском – тем, кто не понимает его. Мне не утолить этой боли и не подобрать слов.

Я родилась на Новом Арбате, в середине зимы, когда мороз в Москве, мороз, который ей никогда и не снился даже. А она – спустя три месяца, в Нагари, в жаркий день накануне Пейсаха. Ее брат заглянул в кроватку и улыбнулся. Он знал уже, что его сестра станет для кого-то пронзительным смыслом бытия. Он понял это по неуловимому запаху, который знают дети и птенцы коршунов.

Меня привезли домой и не знали, что со мной делать. Мой папа – не знал. Меня положили на взрослую кровать и в удивлении оглядывали. Так началась моя взрослая жизнь.

А у Керри была собака. Огромный боксер. Он приходил по утрам и облизывал ее языком. Так она привыкла к французским поцелуям. Так они стали ей не нужны, незначительны, и она избегала их, заслоняясь булимией – тяжелой болезнью, которую она сама себе выдумала, – и болезнью кожи, следов которой никто не нашел бы. Впоследствии она спряталась от постельной любви – ее защитил рак матки. А дальше она просто отказалась от постоянного пребывания вместе. Почему? Да потому что в двадцать пять лет она покончит с собой и не хочет, чтобы любимый плакал на ее могиле. Будто бы, если и вправду любил, не плакал бы даже после многих лет разлуки.

А у меня никогда не было собаки. В детстве я любила кошек, приносила их в квартиру, когда родителей не было дома, играла с ними, кормила их, но взять себе не могла – родители были против. В тринадцать лет я заявила себе, что больше кошек не люблю, сняла картинки и фотографии с изображением кошек со стены в моей комнате и к кошкам больше не подходила. Собаку, однако, мне все равно не позволили завести, как и кошку.

Керри ходила в школу в Нагари, учила английский. Учила его плохо. Она уже тогда знала, что ничего учить ей не нужно в жизни, потому что папа ее – миллионер. И она смотрела по сторонам, придумывала себе игры и к окончанию школы надумала заняться психологией. Она бы могла получить освобождение и не пойти в армию, невзирая на обязательную воинскую повинность в Израиле, потому что папа ее – миллионер. Но папа решил, что дочери не мешало бы увидеть и эту сторону жизни.

Меня отдали в английскую спецшколу в Сокольниках. Думаю, что английский я тоже учила плохо. То есть недостаточно. Потом, когда я начала преподавать, обнаружила немало нюансов, которых в школе не знала. Папа мой был тоже инженером-строителем, как и папа Керри, но миллионером при этом не был. И не только потому, что в Советском Союзе, где я родилась, не было миллионеров, – это неправда, были они, подпольные миллионеры, просто папа мой не может быть миллионером. Он историк по призванию и по принуждению. Ищет свое потерянное детство в книгах. И если находит упоминание о своем отце, расстрелянном в 37-м, то радуется этому как частичке потерянной детской радости. А на миллионы у него просто времени не остается. А я пошла учиться на филфак университета.

Керри попала в «Модиин». Это элитные части. Нужно пройти тесты, много тестов. Керри прошла. Она работала с Одедом и в офисе всегда отвечала на телефон, на свой и на его, потому что телефонный аппарат стоял на ее столе. А Одеду звонил его друг, Раз. И Керри каждый раз брала трубку. Так они разговорились. И договорились встретиться.

На филфаке учились девушки, двести девушек и двадцать пять юношей. Филфак – факультет невест. Я пошла туда, потому что в жизни своей ничего больше не хотела, кроме как быть женой и матерью. Была уверена, что именно это мое призвание и филологическое образование – лучшее для этой цели. Ко второму курсу я разочаровалась в этой идее, но учиться продолжила и закончила Университет. Мне было двадцать два.

Они встретились, и началась любовь. Керри точно не знала, любит ли она Раза, но он был уверен, с первой минуты, как ее увидел, что это – любовь. Он называл это настоящей любовью, когда звонил мне, а я смотрела на фотографию его и Керри Эрнан, которую он несколько минут назад прислал мне по электронной почте, смотрела, слушала его и плакала. А он успокаивал меня и говорил то грустно, то весело.

Они встречались по выходным, когда Раз получал увольнительные. Он приезжал к ней в Нагарию, на север, с юга, из Безр-Шевы. Она делала ему подарки – разрисовывала камни, рисовала картинки, лепила фигурки из пластилина. Он забирал все это и ставил у себя на полке, а фотографии ее крепил на пробковый стенд над своим рабочим столом, на разных базах, в «Модиине», где прослужил пять лет.

Они писали друг другу письма, говорили часами по телефону. А через пять месяцев она попрощалась с ним. Продолжала писать письма, звонить и говорить о любви, настоящей, единственной и вечной. Тогда же она начала учить психологию в одном из американских университетов Израиля, который потом бросила, так и не закончив, так как не выдержала «прессинга».

Он плакал ночами, и дни его были безрадостными. Он встречался с другими девушками, и если какая и задерживалась с ним на пару месяцев, то потом неизменно бросала, потому что никто не выдерживал прессинга Керри Эрнан. Ее прощальное письмо стояло в изголовье его кровати, и фотографии висели на стенах его комнаты.

И тогда, через четыре года после того, как она написала это письмо, белеющее у изголовья его кровати, появилась я. Он говорил мне, что я свалилась ему на голову, как героиня фильма Бенини «Жизнь прекрасна». Только было это менее ощутимо – я просто нашла его в Интернете. Наугад. По наитию.

Я писала ей письма уже из Израиля по электронной почте и она отвечала мне. Она поклялась быть мне другом уже во втором письме и перестала писать. А потом дала мне свои телефонные номера, и как-то я позвонила. Она удивилась, что я говорю на иврите (переписывались мы по-английски), и, навер-

ное, так и не поняла, кто я. Потому что я не сказала ей, что я просто та, которой хватило терпения и силы, чтобы выдержать «прессинг» Керри Эрнан. Ее фотографии исчезли со стен его комнаты к моему приезду и не очутились там вновь, когда мы переехали в съемную квартиру вместе, Раз и я. Ее письма я выбросила, предварительно прочитав и порвав на мелкие кусочки так, чтобы нельзя было снова склеить. Ее отрезанный локон пшеничных волос, которые она положила под его кровать, я сожгла на пустыре.

Она больше не отвечала мне на письма по электронной почте. А я больше не звонила. И Раз больше не рассказывал мне о ней то грустно, то весело. Я так ничего и не знаю о ней, не знаю, больно ли было ей бросать Раза. И больно ли было ей писать письма, которые она много лет писала ему, или она просто проверяла основы психологии на подходящем объекте.

Но я всегда буду в тени Керри Эрнан, даже выдержав ее «прессинг». Потому что в фильмах я вижу выражения лиц актрис, выражения, ей одной, Керри Эрнан, свойственные, и когда я рассказываю об этом Разу, он кивает мне, бездумно уставившись вдаль. Потому что, когда я слышу песни, которые она записывала ему и на обложках кассет рисовала сердечки, я вспоминаю ее. Потому что, когда Раз поет израильские песни о любви, я вижу ее образ. Потому что нет ничего больнее, чем незаконченная связь и оборванная любовь. И нет ничего крепче, чем слова любви через годы после расставания.

Реховот, 8 апреля 2001,

через 4 дня после того, как Керри Эрнан исполнилось 26

КИЛОМЕТРЫ ЧУВСТВА

– Она проезжала больше половины Израиля лишь для того, чтобы увидеть меня. Так сильно она меня любила. Я в мыслях ехал вместе в ней. Вот она выезжает на магистраль около Акко, едет по главной дороге к Хайфе, проезжает порт. Дорога идет по побережью: слева – Зихрон-Яаков, Ор-Акива, Хадера, Нетания, она свернет и поедет через Раанану, Петах-Тикву, а дальше через Лод, а потом, может быть, выедет на развилку Эмек-Аялон, или поедет прямо вниз, через Гедеру. А когда она проедет Кирьят-Малахи – считай, что она уже у меня, в Сегуле. Я жду ее иногда дома, иногда выхожу к воротам мошава, если не видел ее слишком долго – пытаюсь сэкономить каждую минуту. У ворот она меня не ждет. А я несу ей цветы.

– Он умолял ее часами по телефону: «Керри, дорогая, любимая, я не могу без тебя. Прошу тебя, приезжай». У него ведь не было машины. И он не мог приехать к ней в пятницу и субботу, в дни, когда он был дома, все остальное время он проводил на базе. А ей папа подарил «Ягуар», когда она закончила службу, свой двадцать один месяц. Он так и остался в армии – на пять лет.

– Она ехала ко мне с севера на юг, почти двести километров. Приезжала на пять минут. Это была настоящая любовь, как в фильмах, как в мечтах.

– Она приезжала редко, была у нас всего несколько раз. Дважды за все время оставалась ночевать. Так и не могу понять, что ей не нравилось у нас: я ли, Лилах, Ракефет, наш дом, наш мошав? Что?

– Она любила мою семью и ее все любили. Мама мне всегда говорила, что она любит ее, как дочь. И мои сестры тоже любили ее.

– Я ее никогда не любила. Из-за ее отношения к нему, да и вообще: она была ненормальной. Как, впрочем, и ее мама. Так получилось, что у нас дальние родственники знакомы с ее семьей очень хорошо. Ее мама абсолютно ненормальный человек. И она – такая же. Перед отъездом в Америку она позвонила и сказала, что у нее много одежды, которую она не носит, спросила, не нужно ли Ракефет. Я ответила, что можно посмотреть. Видела бы ты, что она привезла! Половина вещей была с огромными дырами. Такое нельзя надеть! Просто человек не в себе.

– Керри очень добрая. Она всегда делала мне подарки и заботилась обо мне. Она рисовала мне картинки, вырезала из дерева фигурки, лепила из пластилина. Все это я храню и каждый день вижу – все то, что Керри дарила мне, стоит на полках перед глазами.

– Она была космически богатой, но ни разу не подарила ему ничего. Никогда не покупала ему вещей, хотя у нее было столько денег! В армии он получал гроши, подрабатывать не мог – не было времени, все отнимала армия. Она это прекрасно знала. Знала, как он любил спорт, но никогда ничего ему не купила.

– Керри так любила меня и так хотела, чтобы мне было хорошо, что купила мне самый лучший баскетбольный мяч – она знала, как я люблю баскетбол. И когда я оставался у нее, то ходил и играл. Мяч так и остался у нее после того, как мы расстались.

– Он для нее ничего не значил. Мне кажется, что они расстались, потому что он больше не смог подстраиваться под нее. Она играла с ним. Утром у нее была ночь, ночью – день. Можно сойти с ума. Вот он и не смог.

– Было все замечательно. Я был у нее. Она проводила меня до поезда и поцеловала на прощание. А потом отдала письмо. И уже в поезде я начал читать. Она писала...

– Ни с того ни с сего, без видимой причины, она написала ему письмо. Он как-то приехал от нее, сидел в своей комнате и, когда я вошла, смотрел в одну точку. Я обняла его, гладила по голове, а он вдруг рассказал мне все. На полку он поставил ее письмо. Я прочла его – ведь должна же была знать. Я же мать! Начиналась оно так: «Я сижу и пишу тебе письмо о разлуке, письмо о боли, письмо, в котором страх смешался с неизвестностью, последнее письмо. Сейчас я даже не могу себе

представить, как я буду жить дальше без тебя, как я смогу существовать, зная, что тебя больше нет в моей жизни, потому что я сама поставила точку, но я долго собиралась и вот пишу. Я безумно люблю тебя, я хочу тебя больше всего на свете, но ты должен идти своей дорогой. Я люблю тебя, но отпускаю. Не оглядывайся назад, забудь все и уходи. Без вопросов, без объяснений, без правил, без контроля.... Ты просто приходишь и уходишь... И всегда возвращаешься.... Но теперь уходи навсегда. И я буду всегда любить тебя, как никогда никого другого....»

– Она говорила мне, что ни с кем ей не будет так хорошо, как со мной. И что она будет любить меня вечно. И это, правда, вечная любовь. Она говорила мне, что не хочет видеть меня на своей могиле, потому что, когда ей исполнится двадцать пять лет, она покончит с собой. И поэтому она расстается со мной сейчас, чтобы потом мне не было больно. Я поставил ее письмо на полку. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я открываю глаза, и первое, что я вижу – ее письмо. Оно дает мне силы жить дальше.

– И сколько было проблем с этим письмом. После этой у него была замечательная девушка – Ади. Мы ее обожали. Она была как член семьи. Для меня она была просто как дочь. У нас не было друг от друга никаких секретов, мы сидели и болтали часами. Она не смогла пережить этого: просыпаться с ним и снова и снова видеть это письмо и знать, что оно значит. Она долго ждала, но потом поняла, что для нее в его жизни нет места – только это письмо и все, что с ним связано. И эта фотография на стене. Она ушла от него и написала ему письмо. Она написала, что никогда не сможет значить для него больше, чем эти листы писчей и фотобумаги, она – живая и любящая. Она живая – всегда меньше и незначительнее, чем лицо на фотографии и строчки в письме.

– Я купил ей кольцо из редкого белого золота и послал ей. Я просил ее выйти за меня замуж, и она отказала. Я знал, что она откажется, но что еще я мог сделать, чтобы вернуть ее? Да и я не знаю, что бы я делал, если бы она согласилась – я был всего лишь офицером в армии и программистом в душе. Вот и все, что я имел.

– Она его бросила, но продолжала звонить. И он неделями ждал ее звонков. Позвонив, она могла попрощаться через пару минут, потому что у нее менялось настроение, а он снова принимался ждать. И так было все эти годы.

– Не трогай ее письма, не говори о ней, мне больно. Неужели ты не понимаешь, что у каждого человека есть свои болевые точки? Это же запрещенный прием! Разве тебе не знакомы правила честной игры? Разве ты не можешь понять, что мне больно, больно, больно.

Нина Демази
ПОСВЯЩЕНИЯ

* * *

Анатолию Лернеру

Виноградарь высокого сада, оставь пастухов!
Пир сегодня у них, брызжет жертвенным жиром жаровня,
С хрустом шкуры сдирая с кровавых овечьих боков,
Спор бедняги ведут – кто из них кому ровня, неровня...
Коль прислушаться – мнится, что бой завязался внизу,
А не мирное празднество кровников... Что нам за дело!
Медножалым копьем это лето сразило лозу,
Изумрудных ладоней бессильная плоть пожелтела.
А и впрямь не простят пастухи, что осанкой ты прям,
Что всегда запрокинута ввысь голова твоя гордо.
Эти – воли не дали ни птицам бы, ни кораблям –
Так отцы завещали: до вздоха – канон, до аккорда.
Мал, убог, не поделен удел этот отчий, родной –
Вот и повод с нездешнего требовать мзды да ответа,
Но не тесно тебе с пастухом на планете одной,
Оттого что живешь с пастухом ты на разных планетах.
Не копаться тебе средь жиров и пахучих кровей,
Не сулят наслаждений тебе страх и смертные вести.
Пастуху ж не тянуться к зеленым ладоням ветвей,
Не ступать пастуху босиком по лиловым созвездьям.
Люд, колеблемый ветром – на цыпочках, наискосок –
Что за выгоду ищешь вверху, к коей тянешься пользе?
Слушать песни высот? Что согбенному песни высот –
Ему разве что шлюха споет об излюбленной позе.
Оттого-то, мезгу и лузгу оставляя внизу,
Ты уходишь – дорогой зерна и путем винограда...
А как станешь лелеять заоблачной тропки лозу –
Не оставь пастухов, виноградарь высокого сада.

* * *

Ирине Юрьевой

1

Пали бражники у костра. В стане – крах, кража.
Я так помню тебя, сестра, на Холме Стража –
Улыбающейся сквозь боль (что досель – школа,
Дочь всех воль), так кроваво расставшейся с пленом пола

Это был апрель и из всех щелей выкипал миндаль –
Беловато-розовый, непристойный и потаенный,
А в очах уже намечалась цель и виднелась даль
Разлучающая – запредельного окоема.
Не напоен ли перевозчик младым вином
Той улыбки, что как с небес – рожденный месяц?
На меня ты глядишь из всех неглубоких нор,
Даришь мне серебряну трель, с каждой ветки свесясь.
Тот наш певчий и странный брат нищим был и милым,
Он быстрее ускользнул стократ и не пойман миром.
Ведь пока средь неловких встреч все калекой крыли –
У него между ломких плеч отрастали крылья.
Ткутся в воздухе ваши тайные письма,
С постоянством шелковых лестниц, с соблазном воли!
Сколько мне в безъязыкой муке листов сминать,
Сколько телу стонать тяжелому в летной школе?
Я вбираю свет, словно весть твою, словно спелый плод
Тянет влагу в сушь, словно воин-муж бранной славы жаждет.
Если это – рай, то и я – в раю, лишь не прибыл плот,
Средь морей и луж в ласковую глушь мне доплыть однажды.
Ныне только меж вежд закрытых, во снах стократных
Ощутимо родство, как нож... Сторожей привратных
Чем разжалобишь? Тем, что манит развоплощенье?
Что за жалом, бишь? Чист и жаден магнит прощенья.
А покуда ни вплавь, ни влет, и ползком – не слишком, –
Я пою пересохший рот судьбным излишком,
Что вскипает, снам вопреки – гробовым, кандальным –
По обоим брегам реки молоком миндальным.

2

Когда покинула сестра,
Тропа змеистая пестра
И воздух обоюдоострый
Вспять – от погоста до костра,
Вновь – от костра и до погоста.
Астрал приблизился, восстал
И плавит сталь, крошит кристалл,
И цедит кровь во прах ристалищ...
Сокровищ: голос, нежный рот,
Да «красть тепло», да «страсти плод»,
Но боль одна верна, проста лишь.
О, как нелестно огорчать
Тебя, небесный наш гончар,
Прищур охоты соколиной:
Не чаши – ныне черепки,
И ветра песни в нас робки,
Но скоро станем доброй глиной.

3

Над ковыльным краем кобылым,
Над жарой неживых песков
Ты летишь на лоскутных крыльях
Полудетских черновиков.
Путь неровен, как встарь, нелегок,
Как и прежде... Недобр и ветер.
Но ты там, серафим-подлесток, –
Выше, чем человеческий вебрь, –
Легким пламенем, робким танцем –
Ан, трещит заскорузлый панцирь,
Ниц – болван, истукан, модель!
Это маленькая Констанца
Искусала костяшки пальцев –
С Алоизией Амадей.
Алоизия, плен-Элизий,
Скрип корыстей да плеск коллизий,
Бронированный «Бургер-ранч».
...Под крестом да под свежим дерном –
Трепет крыльев новорожденных
И младенческий духов плач.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ БЫЛОМУ ВОЗЛЮБЛЕННОМУ

Рождены не из пены
Иль расколотой божьей главы,
Жалки в жажде быть первым –
Хоть в распяленной пасти молвы.
А новы иль не нóвы –
Там решат, как растаем, устав,
В дымных лужах багровых,
Поотставши от стай в ледостав.
Светоч – зряч, вот и нервен,
Коль померкнет – незряшна вина.
Луч так прям и линейен,
Но бликует из лести волна.
Вскачь и вплавь – за поверьем,
Там и теплых гнездовий развал...
Мы срослись в заповедном,
Демон там не следил, не бывал.
Спи, мой дар сокровенный,
Рядом с храпом чужой головы –
Мы друг другу бессменны –
Мы бессмертны с тобою, увы.

* * *

К. Б.

В тот обглоданный вечностью маленький порт
Как по ягоды, шли мы по яхты:
Зуб неймет – ну и фиг с ним – насытить живьем оком.
От словес, что сумел бы осмыслить лишь лорд,
Оставались лишь «Ох ты!» да «Ах ты!»
Вздых – на Родос летит, его родственник-бриз допоеет.
«Кри-ит!» – скрипит журавлино корабль,
Хоть, коль надо – в Канаду доходит,
В крике том обреченная кротость – крылами поник...
До сих пор в полнолуние скользит по дворам,
Как неопытный канатоходец
Твой эфирный двойник, воровски заломив воротник.

* * *

М. З.

Сладостный юноша с медленным телом,
С гибким хотелом, со скрытым Отеллом,
Пучащим бельма из тьмы,
Как мы с тобой воровски-виновато
Не разошлись на тропе кривоватой
В строгом преддверьи зимы!
Как мы там спутались – низко и плоско
(Как наносители блеска и лоска
Ранят, горланят, твердят), –
Так не распутать – единым и живы:
Наши ножи рубят наши же жилы –
Общие раны смердят.
«Любишь?» – смешочек толпы так цианист.
Любишь ли брата, близнец мой сиамец,
Пуля – нарезку ствола?
Любишь ли, коль безрассудная сила
Плавно и нежно пожар погасила –
Больно и резко свела?
Экие злыдни мы были с тобою!
Невыносимый никем с поля боя
Рос на крови терибинт...
Ангел добра, пролетая над сечей,
Волосы нам теребит и, жалеючи,
Раны крылом бережит.

Марк Азов

ГЛОТАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ

...Господь лил на Сдом и Амору серный и огненный дождь с неба и уничтожил эти города и всю окрестность, и всех жителей городов этих, и всю растительность...

Берешит, 19, Вайера

Дорогой друг! Спроси меня сейчас: «Ты сумасшедший?» Да, а что? Во-первых, нормальные люди не пишут на глиняных табличках, во-вторых, пользуются почтой, а не прячут свои послания в пещерах. Но это у вас там так думают. А у нас тут я бы числился сумасшедшим, если бы рассчитывал на почту или, не дай Бог, на электронную почту.

Если ты узнаешь, где я живу, так уже не спросишь когда. А ведь совсем недавно я сидел себе преспокойно в автобусе, совершал, так сказать, экскурсию к Мёртвому морю.

Говорят, Творец нарочно скомкал землю, которую предназначал своим евреям, чтобы потом разгладить... Но, видно, такие штучки не проходят, когда имеешь дело с евреями: нам сколько ни давай – всё много, сами отстёгиваемся от своей земли, как ящерка от хвоста. Вот и лежат каменные складки, безжизненные и бездушные, как миллиарды лет назад, когда выпали из Его разжатой ладони... В песчаных пустынях барханы пылят, осыпаются, поют и бродят – словом, живут своей верблюжьей жизнью. Холмы Иудейской пустыни тоже показались мне насыпными, будто какая-то мягкая пыль, вытекающая из колбы песочных часов, вдруг замирала горкой в том самом виде, в каком её застал приказ: «Остановись, мгновенье!». Только выйдя из автобуса, понял – это не пыль, а камень. Голый камень – здесь всё мертво: море – соляное зеркало неба и никого живого, кроме полусваренных туристов. Чтобы не спали, экскурсовод рассказывал байку, будто каменные лбы Иудейских гор где-то начинают морщиться, и в них просыпаются зыбучие пески, бесследно исчезает верблюд или недисциплинированный экскурсант, а иногда и автомобиль с пассажирами поглощает глотающая земля... «Не любо – не слухай, а брехать не мешай», – сказали бы на моей бывшей родине, но жид, известно, не успокоится, пока не потрогает пальцем. Все разбрелись кто куда, а я пошёл искать «глотающую землю».

Гладкие горы кончились, пошли скальные изломы, изрытые, как хороший сыр, пещерами. В пещерах когда-то жили, здесь даже находят рукописи... я же сдуру не оценил ситуации: порода под ногами становилась всё более хрупкой, из-под ног выскальзывали отдельные камешки, из камешков образовался как

будто поток, и я, не удержавшись на ногах, довольно долго скачивался на зад, подобно суворовскому солдату в Альпах... Подошвы кроссовок, при всей своей каучуковости, не тормозили, а камни осыпи всё измельчались и измельчались, как будто работала камнедробилка, дальше уже лился вообще песок – песчаная воронка, и я с ужасом убеждался, что меня самого со свистом засасывает в сопло этой чёртовой мельницы...

Я всегда нам, людям, удивлялся. Нас хоть бей бревном по голове, не верим собственным глазам: предпочитаем очевидному невероятное. Давно уже археологи доказали, что время – это пространство по вертикали и ничего более. Возьми любой археологический срез: глубже роешь – раньше будешь.

Считай, я заново родился на свет в другой, так сказать, эпохе... Но ты будешь долго смеяться, когда узнаешь, откуда я второй раз родился. Оттуда же, откуда и в первый.

Естественно, ничего такого у меня не было в голове, когда я вывалился из какой-то щели, и вслед за мной вытекла струйка песка... Но, отойдя на порядочное расстояние, я непроизвольно оглянулся... Из огромной песчаниковой скалы было высечено изваяние женщины в позе роженицы. Все детали, даже растительность – и та кудрявилась, где ей положено.

Как позже выяснилось, были здесь и другие идолы, – но факт остаётся фактом: при любой цивилизации все помыслы и устремления почему-то сходятся к одному месту.

Итак, выскочив из этого места без помощи повитух, я вообразил было, что моё появление на тот свет осталось незамеченным. Но как я жестоко заблуждался!...

Меня с интересом разглядывала небольшая кучка встречающих, которых я поначалу принял за арабов. Или за бедуинов... Кто их, к чёрту, разберёт. В ночных рубашках из какого-то немыслимого рядна и без штанов. Сквозь рядно просматривались подробности. На плечах наброшены шерстяные одеяла вроде солдатских. На ногах какие-то постолы, привязанные сыромятными ремнями. На головах – холщовые шапки, как у талибов, только верх этой шапки нависает на лоб, а затылок скошен.

Скорей всего, это были пастухи, потому что тут же по склону горы разбрелись козы, которые, в отличие от пастухов, плевать на меня хотели.

Я поспешил сказать им общий «шалом» и пройти мимо, но не тут-то было: у хлопцев в руках гуляли внушительные дубинки, а у одного – здоровенный кинжал. Этих доводов оказалось достаточно, чтобы я проследовал в указанном мне направлении. При этом они что-то талдычили на своём тарабарском наречии, в котором я с перепугу не различил ни одного знакомого слова.

Сейчас, думал я, перегонят за какую-нибудь «зеленую черту» – мы сами исчертили нашу землю на свою же голову – и там устроят суд линча.

Но вот отлегло от сердца, впереди замаячил будто бы лагерь археологов – на высоком плато крепостные стены древне-

го города с квадратными башнями и воротами... Воротами?.. Ворот никогда ещё не откапывали... Да и ворота больно новенькие. Может, реконструкция?..

Чем ближе мы подходили, тем меньше это всё походило на привычные нашему взгляду «исторические места». Городская стена на насыпном валу нигде не просела и не обвалилась, сырцовый кирпич во многих местах не позднее вчерашнего дня обмазывали глиной. Но, главное, над стенами и за квадратными сторожевыми башнями к небу всплывали аппетитные дымки очагов, и птицы галдели над человеческим жильём.

– Как называется город? – спросил я на иврите. Не по-английски же с ними говорить. И мне ответили тоже на иврите:

– Сдом.

– Сдом?! Тот самый, который Господь спалил при помощи серы?!

– Нет, – отвечали они, – слава Баалю, никто никого не спалил.

Тут только я обнаружил, что говорят они на каком-то недоделанном иврите, и я кое-как понимаю их недоделанный иврит, потому что ещё неизвестно чей иврит недоделанней.

Однако, если этот Сдом целёхонек, то он и впрямь не тот Сдом, который Творец испепелил в своё время, хотя... Хотя, может, это всё-таки тот Сдом, но только до того времени!..

Мысль эта не показалась мне абсурдной, и тебе бы не показалась, если бы тебя, как и меня, подвели к воротам города. Ворота – только так говорится «ворота». На самом деле – двое ворот: в передней стене и в задней, – стен тоже две, и четыре воротных башни. Всё это образует четырёхугольное пространство с навесами для стражи – нечто вроде заводской проходной.

Мной тут же занялся какой-то дядя, одетый в такое же рядно, как у пастухов, но только окрашенное в синий цвет по подолу.

Дядя, видать, грамотный – вооружился заострённой палочкой и приготовился записывать мои ответы на табличке из сырой глины.

На вопрос, откуда я взялся, я пытался дать развёрнутый ответ: мол, прилетел из Москвы на историческую родину, здесь жил там-то и там-то, работал одно время безработным, потом в кои веки выбрался на экскурсию к Мёртвому морю, вылез из автобуса слегка размять затёкшие члены.... Но он прервал и задал тот же вопрос моим провожатым, которые ответили одним словом. Это слово он и записал, вернее, нарисовал довольно похоже. Затем прокатал на глине свою цилиндрическую печать и сказал, что эту табличку отныне я должен носить на шее, чтобы жители Сдома не сомневались в моём происхождении.

Дело в том, дорогой друг, что Сдом – город многонациональный. Из тех, кого мне перечисляли, я запомнил только знакомые названия: аммору – вероятно, аммориты, аммонитяне, моавитяне, хурриты, иевусеи...

– А евреи у вас есть? – спросил я.

– А где их нет? – ответили вопросом на вопрос.

И даже показали дом, где жил *иври* с женой, детьми, прочими родственниками и рабами. Евреи, как всегда, неплохо устроились – один из немногих двухэтажных домов в городе. Четыре его стены выходили на четыре улицы. И ни одного окна снаружи, только маленькая дверь в глубоком проёме.

– А как же зовут хозяина дома? – спросил я, надеясь услышать родное еврейское имя.

И услышал:

– Лот.

Мои руки машинально прикрыли тыл, наиболее уязвимую часть туловища чуть ниже спины.

А кто бы из читавших ТАНАХ отреагировал иначе?

Меня, действительно, окружала толпа мужиков... Из женщин я пока не видел ни одной... И кое-кто, видимо не стал дожидаться, пока соберутся все «от мала до велика», и начал уже пристраиваться сзади... Крутиться мне не давали – держали за руки. Вряд ли кому понравится, чтоб его «познавали» в очередь «с одного конца города до другого», а я не то что этих голубых, я женщин не понимаю: как они могут с твёрдыми, потными, волосатыми мужиками?! Бр-р...

Зря я недооценивал достижения цивилизации. Хотя мне иногда хотелось отдать должное великим изобретателям – благодетелям человечества: кто изобрёл топор, колесо, иглоку, паровоз, самолёт, наконец, компьютер. Сейчас все они для меня ничто по сравнению с изобретателем джинсов. Жители Сдома сроду не надевали штанов, тем более – не снимали. Я уж не говорю о застёжке «молния». А о том, чтобы прорвать джинсовую ткань, тем более тем, чем они это делали, не могло быть и речи.

Некоторые, правда, пытались демонтировать на мне штаны, отколупывая декоративные заклёпки, обрывая «лейбл» и карманы. В конце концов, с их пытливым умом, доберутся до «молнии»... Как вдруг загремели колёса по камням – подъехал какой-то тип на колеснице. Ну, этот был другим не чета: на нём красовались целых три рубахи, одна на другой – и все цветные.

Он – это был, как потом оказалось, начальник стражи – указал копьём на табличку, которую мне повесили на грудь ещё в воротах города.

Так вот: сей документ свидетельствовал, что я не являюсь приезжим, поскольку родился на территории Сдома из отверстого лона Богини-Праматери. И, значит, меня не надо «познавать». И так ясно: ни к какому роду-племени я не принадлежу, явился на свет без посредников, образно говоря, «голый человек на голый земле» (но в джинсах, на всякий случай).

Многорубашечник приказал мне следовать за ним, и я, высунув язык, бежал за колесницей через богатые кварталы – здесь были двух- и даже трёхэтажные дома – до муравейника на окраине, где по склону горы лепились друг к дружке, я бы сказал, сакли. В одну из них он и определил меня на постой.

Вот тебе и «погрязший в роскоши Сдом»: крохотный дворик, очаг под навесом, слепая хижина из необожженного кирпича, с глиняным полом и пустым проёмом дверей. Плоская крыша из каких-то веток, на которые слоями ежегодно укладывается глина. Вся мебель – циновки. Впрочем, живут на крыше. И дворик оказался на редкость вместительным: кроме домашнего очага, ещё и гончарная мастерская.

Тут я убедился, что не святые горшки обжигают, хозяин – мужик как мужик, к тому же не всегда трезвый (пиво доступней воды), а хозяйка варит из фиников варенье. И это варенье у них называется мёд.

Боюсь, наших предков дезинформировали: земля эта течёт не молоком и мёдом, а пивом и вареньем. Первую ночь на крыше я, в основном, ворочался: всё казалось, хозяин (а то и хозяйка) полезут насиловать – Сдом всё-таки. Но, как я впоследствии убедился, хозяин-гончар с женой ничего такого на крыше не делали... кроме детей. Кстати, дочь гончара, я тебе скажу... Сама сбросила с себя тряпье, лежит рядом, на крыше, голая под лунной, потому что ночь – сказать тёплая, значит ничего не сказать... Ну я, не будь дурак, послал свои руки в разведку, и разведка вернулась ни с чем. Она, обнажённая особа популярно мне растолковала, что ничего такого между нами быть не может по определению.

Я даже возмутился:

– Сдом здесь у вас или не Сдом, в конце концов!

– Сдом, – согласилась она, – но в Сдоме так не делается.

Да-да. У них для этой самой штуки – общедоступного секса имеются специализированные гильдии, что ли, профессионалов как женского, так и мужского пола, которые занимаются ритуальным исполнением сексуальных действий с другими верующими сдомлянами. Моя же обнажённая визави, извините, пока вообще девушка.

Ирония судьбы: первая нетронутая девушка на моём жизненном пути оказалась родом из Сдома! Правда, чтобы я не скучал, она обещала завтра же привести меня к храму, где я могу делать что угодно и с кем угодно, кроме неё, если, конечно, мне угодно.

Не стану затруднять тебя (и себя – царапать на глиняной табличке не так-то просто) подробным описанием ритуальных торжеств. Скажу лишь, что дальше храмового двора с рогатыми жертвенниками из камня нас не пустили. Идолов я тоже не увидел, если не считать двух каменных столбов: один, напоминающий сам понимаешь что – олицетворяет мужское начало – символ бога Бааля, другой, потолще и покороче, – его жену Ашеру.

Здесь жители Сдома помогали богам восстанавливать плодородие. А вы говорите – свальный грех. Не только никакого греха, но и ничего интересного. Один хрен, что пахать эти иссушённые почвы – что пихать друг дружку куда придётся. Ты меня знаешь: я не моралист, а даже, наоборот, большой любитель.

Но что я увидел на этом празднике секса? Ритуальные телодвижения во славу официальной идеологии. Тут же ходят жрецы и поглядывают, чтобы не халтурили. Ещё, чего доброго, заподозрят меня в неуважении к Хозяину...

Я взял дочь гончара за руку и, выводя из толпы, сказал:

– У них своя компания, у нас – своя.

...Мы шли по пустому городу, по узким пустынным улочкам среди бесконечных слепых дувалов.

– Человека двадцать первого века, – сказал я, и она меня, конечно, не поняла, – свободой секса не удивишь. Но у меня на сей счет особое мнение. Человек – стадное животное, он всем своим существом: глазом, нюхом, ухом, брюхом, кожей, рожей – ощущает либо жаждет ощутить себе подобное. И самое страшное для него – одиночество. Но ужаснейшее из одиночеств – одиночество при всех. А прекраснейшее из одиночеств – одиночество вдвоём.

При этих словах она каким-то первобытным жестом прижала ладони к моей груди и голову – положила между ладонями. Моё сердце билось у её уха и, наверно, гремело, как барабан.

– Плюс и минус, – сказал я, – анод и катод – что ещё надо для счастья?

Она не понимала, что означают эти слова. Но для неё было достаточно слов. Мужчины и женщины Сдома не нуждались в словах, а девушки, по-моему, во все времена только и ждали того, кто придёт со словами.

Мы примостились под коленкой Великой Праматери Богов. И пока она тужилась родить ещё кого-то, мы уже дрожали от нетерпения.

– Ой! – испугалась Тари (вообще-то её звали Тарибатум), – мы, кажется, это делаем не для Ашеры и Бааля.

– И не для полива иссушённых почв. Мы это делаем друг для друга.

Преображение Тарибатум из куколки в бабочку не осталось незамеченным. Папа-гончар явно был доволен, а у мамы никто и не спрашивал. Девственность в Сдоме ценится ниже ломаного гроша. А все гроши, надо сказать, у них были ломаными. Вместо денег – металлолом на вес: кусочки серебра, меди, олова... ну, и золота иногда. Я, с точки зрения папаши, был сказочно богат, прямо-таки нашпигован металлоломом, который при каждом движении издавал лязг и звон. Пояс с пряжкой, на поясе связка ключей. Не такая, как у сабров, но всё же... В кармане горсть настоящих шекелей и агорот, плюс ножик со штопором и открывалкой, а главное, на запястье часы с наборным браслетом, я уж не говорю «за» цепочку с магендавидом на шее. Правда, сдомляне – есть сдомляне. Хотя карманы, как и пуговицы, ещё не изобрели, тем не менее... все мои богатства прикарманили.

К примеру: предложил один мне кирпичи – надстраивать второй этаж для предполагаемого потомства. Я на радостях отдал

ему за это часы, а он те часы – шмяк о камень, вытряхнул колёсики и пошел продавать редкий металл на вес.

А я остался с кирпичами...

И я не прикоснулся к кирпичам, не стал ничего строить, а всё чаще и чаще стал задумываться.

Скажи на милость: на хера мне эти кирпичи, когда весь город уже обречён господом Богом на слом?!..

Я для того и пишу на табличках, чтобы вы у вас там, в XXI веке, поняли: вы живёте на шаре, а я на пяточке километра полтора в поперечнике. У вас для дальних странствий самолёт, а у меня ишак. Вы, случай чего, улетите к чертовой матери, а я – крутись на своём пяточке. И назад пути нет. Богиня-Праматерь меня обратно не родит: там уже всё забито песком. Не дай вам Бог оказаться в моём положении! А окажетесь – не сидите сложа руки, делайте что-нибудь, чтобы вас не застали врасплох, ребята, и не ошпарили кипятком, как клопов!

Ну, а теперь представь: лежу я, счастливенький, рядом с гладенькой Тарибатой на ещё тёплой от дневного солнца крыше нашего «шалаша», а звёзды небесные подмигивают мне:

– Дурак ты, братец. Коренных жителей Сдома ещё можно понять: они и в страшном сне не представляют, чем всё это кончится в ближайшие дни, но ты-то знаешь...

...Что-то при этом погромыхивает в небе: то ли предвестие зимних гроз, то ли Он уже подтаскивает поближе мешки с серой и подбирает кремешки – высекать свой огонь. Хотя я и не религиозный – но сейчас, после стольких совпадений... Вообще, когда сидишь на крыше, почему бы не поговорить с небом.

– Ну посуди: ты же сам сказал: «Услышал я, каким громким стал вопль Содома и Аморы...». Твои слова: «воплъ». А чей вопль? Обиженных жителей Сдома – так я понимаю. И могу подтвердить: обиженных здесь не меньше, чем обидчиков. А ты всех в одну кучу: и обидчиков, и обиженного. Выходит, на кого люди, на того и Бог. Нет, я в твоей справедливости не сомневаюсь. Ты нашему отцу Аврааму многое пообещал.... Вспомни: это было в Элоней-Мамре, у входа в шатёр. Что ты тогда ему сказал? Хочешь знать моё мнение? Десять праведников тебе нигде не найти, не только в таком маленьком городе. И мы с Тари ещё как грешны, и мой новый тесть, и тёща, хотя лучшей тёщи у меня ещё не было.

В общем, сижу я на тёплой крыше, и так и сяк верчу Книгу Книг, в уме, конечно, пытаюсь разобрать замысел Творца: то он говорит «спущусь и посмотрю», то посылает вместо себя ангелов, которые и на ангелов не похожи – люди как люди.... И даже как бы глупей людей. Лот их зовёт в дом, а они в ответ: «Нет, лишь на улице мы переночуем». Это же надо быть либо самоубийцей, либо голубым, чтобы ночевать на улице в Сдоме.

Что это: святая простота или... Испытание – вот что это! Тест на вшивость! Ясно как день. А я, единственный человек в этом городе в это время, который всё знает наперёд и может преду-

предить кого следует, пока не поздно, сидит себе на тёплой крыше и чешет бороду, а, может, и что пониже.

В этот момент внизу задребезжала колесница. Тот самый начальник городской стражи в крашенных рубашках, который избавил меня, если помнишь, от процесса познания иногородними, совершал свой утренний объезд.

– Мар! – бросился я к нему. – Мар! Остановитесь и выслушайте меня. Городу грозит смертельная опасность!

– Откуда? – спросил он, не останавливая лошадей. – Изнутри или снаружи?

Ну как ему ответить на такой вопрос, тем более, на бегу? Сказать, что сдомляне сами виноваты – погрязли в грехах? Он тут же потребует назвать фамилии. Но ты же меня знаешь, я не стукач.

– Значит, снаружи, – решил начальник и приказал своим стражникам оттащить меня к другому генералу, который тоже совершал обход города, но по наружной городской стене.

– Вы отвечаете за безопасность Сдома? – так примерно сформулировал я свой вопрос.

На что вся свита военачальника, включая лошадей, привязанных внизу, ответила дружным ржанием.

– Я отвечаю за войну, – пояснил развеселившийся генерал, – а война – занятие далеко не безопасное.

– Я не призываю к войне, – стал я оправдываться, – но господин, отвечающий за внутреннюю безопасность страны, прислал меня сюда, потому что Сдому грозит опасность...

– Сдому ничто не грозит.

Действительно: город окружён глубоким рвом и насыпным валом, чтобы не подъехали на колесницах и не подтащили стенобитные орудия. Зато стены такой толщины, что и колесница проедет. За первой стеной – вторая, между ними перемычки, через каждые двадцать метров могучие боевые башни квадратного сечения, – и над всем этим он сам, главный военный начальник, в бронзовых латах, воздвигся как памятник самому себе.

Однако я осмелился спорить с памятником:

– Если вы думаете, что сильнее всех, то, уверяю вас, глубоко заблуждаетесь. Тот, кто пожжёт весь ваш Сдом, плевать хотел на стены и башни. Он будет лить свой серный дождь сверху, с неба, потому что это Господь Бог, а не какой-то сраный Амрафель!

– Ну, и чего ты шумишь? – отозвался генерал безо всякой, представь себе, обиды. – Так бы сразу и сказал – Бог. Бог у нас совсем по другому ведомству.

Короче, меня отфутболили к Верховному жрецу.

Но Верховный жрец, как оказалось, уже в курсе дела:

– Да, да, я слышал: ты говоришь – боги разгневались на Сдом и грозят его уничтожить.

– Не боги, а Бог.

– Кто именно? У нас их тридцать.

– Я говорю о Творце, Всевышнем и Всемогущем

– Ты имеешь в виду самого Эля, который царствует у слияния верхних и нижних вод? Он бык, ибо силен, и судья, ибо справедлив. Либо ты говоришь о сыне великого Эля Баале – Герое, Принце, Владыке неба?

Ну как им, язычникам, вколотить в башку то, что мне самому никак не вколотят равы?

– Здесь, в вашем городе, живёт иври. Лот. Может, слышали?

– Ну, кто же не знает Лота. Его избрали судьёй, ему дозволено сидеть в воротах Сдома.

– Так вот, спросите у господина Лота, какого Бога я имею в виду!

– Уже понял – еврейского.

Жрец громыхнул тяжёлой щеколдой и запер свой храм.

Дома мы с моим тестем-гончаром долго советовались над горшком пива. На повестке дня стоял один вопрос: грузить или не грузить осла пожитками, дабы лиять из Сдома?

Когда последний горшок опустел, было принято решение: мы пойдём третьим путём, а именно в «хамиштум».

Хамиштум – значит совет пятерых.

– Трое из них, – сказал мой тесть, – уже тебя знают.

Конечно: начальник городской стражи, и весёлый военачальник, и Верховный жрец входили в пятёрку ближайших советников царя. Осталось уговорить ещё двоих – и дело в шляпе.

Хамиштумники восседали в деревянных креслах, инкрустированных, представь себе, слоновой костью. Но сколько я ни вглядывался (даже надел очки, которые ввергли синклит в состояние шока) – ни одного знакомого лица, хоть убей, я не увидел. Оказывается, за два дня, пока мы с гончаром дули пиво, весь государственный совет перетрясли и заменили.

Ответственный за внутреннюю безопасность государства не внял моим предупреждениям – пришлось за преступную халатность сварить его в чреве медного быка. Ответственный за внешнюю неприступность свалился с внешней стены благодаря бдительности своего заместителя. А Верховный жрец (уж он-то в чём виноват?) нашёл у себя под подушкой горсть скорпионов....Так что, спасибо мне, опасность миновала, Сдом спасён – аудиенция окончена.

Я вышел из дворца в хамсинный сумрак. Пыльный смерч из пустыни рвался в долину – и жёлто-серое небо нависло над затаившимся городом. Кто-то как будто откашливался в вышине – это ещё нельзя было назвать громом, но я инстинктивно вздрагивал, втягивая голову в плечи.... Кто знает, когда ОНО обрушится...

Может, надо было идти к самому царю? Да кто меня пустит? До Бога высоко – до царя далеко.

А ноги меня сами несли к дому Лота. Во-первых, он еврей – он послушает меня, во-вторых, он судья – они должны послу-

шать его. Почему я раньше обходил стороной его дом, я сам не понимал, понял только, когда вошёл.

Я входил с трепетом в маленькую дверь в глубине стены. Мне казалось: здесь, во дворе дома-крепости Лота, мне суждено увидеть одну из ветвей нашего родового древа. Ведь впервые тогда наш народ раздвоился.

Я вошёл во двор, но ни деревьев, ни, соответственно, ветвей я не увидел – вся земля во дворе была вытоптана. Кто-то бежал и мекал в загончиках. Ишак издавал надсадный крик, похожий на скрип колодезного ворота.

Наружная лестница вела на балкон-галерею, которая тянулась вдоль всего второго этажа. Типичный одесский дворик...

Три женщины хлопотали у очага. Старшая, видимо, мать и хозяйка, бросив недовольный тревожный взгляд в мою сторону, тем не менее, велела дочерям угостить меня лепёшками из пресного теста. Нечто вроде мацы грубой работы с пузыристой корочкой. Они лепили их к стенкам котла и так пекли. Способ известный.

Я запивал это козьим молоком и не сводил глаз с хозяек. Нелегко быть пророком. Я знал о них всё. Старшая – жена Лота – та самая, которая осмелится бросить прощальный взгляд, покидая город, и превратится в соляной столб, – печальный памятник ностальгии. И две её дочери, рыжие, белокожие, словно осыпанные мукой. Неужели это они, думая, что сгорел весь мир и все мужики заодно со Сдомом и Аморой, оседлают своего пьяненького папашу и понесут от него генетически увечное поколение?..

Нет! Ничего этого не будет, пока я жив. Только надо дожидаться самого Лота. Он, как выяснилось, «на дежурстве» в воротах города. Вернётся с минуты на минуту...

А вот и он.

И с ним – ещё двое, судя по одежде, «иври», наши с ним соплеменники. Их плащи, белые с голубыми полосами, были накинуты на головы. И они мало чем отличались бы от хозяина дома, если бы не ноги.

У двоих под ремешками сандалий были надеты носки, линялые нитяные носки. Мелькнула нелепая мысль: «новые репатрианты». Как у нас в Израиле: у местных – на босу ногу, а у приезжих.... Какие, к черту, носки? Это густо осевшая пыль из гипсовой пустыни.

Я не услышал из-за крика осла, что говорит им Лот, но я знал наизусть: «Пожалуйста, господа, заверните в дом слуги вашего и переночуйте, и омойте ноги ваши».

Как бывает в тревоге – опустело в груди: это они – ангелы, посланные Всевышним.

Теперь лишь я понял сам, почему до сих пор избегал встречи с Лотом.

Что я тебе скажу, Лот? Ну, расскажу тебе о тебе то, что вычитал из Книги Книг, и ты узнаешь от меня, что это не простые

путники, уставшие от длинной дороги из Элонец-Мамре, а ангелы-посланцы Господа, пришедшие испытать тебя и, испытав, спасти от участи злосчастного Сдома. Теперь рассуди, Лот: если ты будешь знать заранее, что эти люди не просто гости, нашедшие приют под сенью твоего крова, а ангелы Вседержителя, которым на самом-то деле ничего не грозит, – то в чём, извини меня, твоя праведность, в чём святость твоего поступка?

Я отступил за спины рабов – они выбежали встречать господина, – и Лот прошёл мимо. Под накидкой на его голове я успел разглядеть бороду и глаза... Я никогда раньше не встречал в Сдоме Лота, но сколько раз я видел эти глаза! Ну, конечно, это наши глаза: рыжие и беспомощные.

Под шумок я выскользнул со двора на улицу.

Я ещё тешил себя слабой надеждой, что никто, кроме меня, не видел пришельцев. Но не могли они пройти незаметно: если он вёл своих гостей от ворот города – значит, через базарную площадь. К дому Лота селевым потоком уже подкатывалась толпа. Лица, бороды всех фасонов, ткани всех трёх расцветок из льна, хлопка, шерсти, накидки, платки, балахоны, ковры и одеяла – всё это дышало, двигалось и орало истошными головами. Банда полукопчёных пацанов бесновалась впереди, а позади уже колыхались верблюды, покинувшие вслед за хозяевами рыночные ряды. Стражники где-то там позади путались в своих мечях и щитах, копьях и луках, а маров как будто рукой смело.

Самый бойкий и крикливый из толпы – он торговал пивом, вином и пальмовой водкой – подбежал к двери и завопил тошнотворным голосом:

– Лот, имей совесть – открой! Мы только познаем твоих гостей, а тебе ничего не сделаем.

Лот, он что-то говорит, я снова его не слышу, на этот раз из-за рёва толпы, и снова понимаю: «Вот у меня две дочери, – говорит Лот, – которые ещё не знают мужчины, делайте с ними что угодно, только людям этим не делайте ничего». Это до какой же степени праведности надо дойти?!

Я бросился в толпу, я отталкивал их и орал каждому в ухо:

– Мужики! Опомнитесь! Остановитесь! Дело идёт о жизни или смерти. Вас испытывают.

– Пошёл ты...

– Если вы это сделаете, Бог прольёт серный огненный дождь на Сдом, заодно и на Амору.

– Вот привязался. Откуда ты можешь знать?

– Оттуда, – я ткнул пальцем в небо, – там всё известно.

– Может, ты посланец богов? – они смеялись мне в лицо.

– Да... – брякнул я и сам удивился. – А что?.. Может, меня Бог послал?

– И ты тоже?!..

Я оглянулся на двери Лота и увидел, как настоящие, я бы сказал, легитимные, ангелы втягивают его в дом – и у них дос-

таточно силы держать толпу на расстоянии. А я влип – самозванцев били во все времена.

– А вот мы сейчас его поймеем, – сказал мужик с молотком, должно быть, медник, и его чёрные пальцы потянулись ко мне, – посмотрим, что там у ангелов.

И прошёл мимо. Другие тоже как-то странно роились вокруг меня, но их руки ловили воздух. Господи! Да они же слепые!

Теперь я осмелился взглянуть в глаза толпе и увидел будто рыбы пузыри – одни лишь бельма. Я видел их белые глаза, но они не могли себя видеть – они все были слепы, настолько слепы, что не различали слепоты своей...

А сверху сквозь марево цементной пыли глядело небо цвета бычьей крови и тихо накрапывал дождь, от которого все одежды покрывались жёлтой рябью. Но этого никто не видел.

Бог милосерд – он не дал им увидеть свою погибель. По улицам, смеясь и ликуя, валили толпы слепых. Они спотыкались о камни, наталкивались на стены и друг на друга. Некоторые, падая, тут же совокуплялись – это единственное, что у них получалось вслепую.

Один умудрился войти в своего осла и не промахнулся. Это было омерзительно. Но когда распалившийся осёл полез на хозяина, мне стало страшно, и я бросился бежать...

...Я всё-таки был зрячим, я выбрался из толпы и упал, обесилев окончательно, только в доме гончара.

– Папа, – я впервые назвал его так, – ты слышал?

– Всё слышал, сынок. По улицам бродят слепые. Бааль ослепил людей.

– Какой, к чертям, Бааль? Мы все слепые от рождения!.. Бежать, пока не поздно, бежать из этого Богом проклятого Сдома!

Я очнулся вдали от города на дороге. С одной стороны гроздились голые горы, с другой белели солончаки. Я полулежал между выюками и домашним скарбом. От ослика виднелись только уши. Папа, мама и Тари шли рядом.

На Сдом я не стал оглядываться, чтобы не превратиться в соляной столб.

– Ну, и куда мы теперь направляемся? – спросил я. – Где мы будем жить?

– Куда-куда... – повторил гончар-папа. – Конечно, в Амору. Где же нам ещё жить?...

На этих словах рукопись обрывается.

Павел Хмара

ЕСЛИ МЫ ТОЛЬКО НЕ ВСЕ ОБАДЕЛИ.

ВОРОНА

Гляжу с вершин своей многоэтажки
На муравейник нашего двора.
Снуют жильцы, как мелкие букашки,
Гоняет мяч шальная детвора,
Другая – запускает ввысь петарды
И каждый взрыв встречает, как салют.
Машины оглашенные, как барды,
Концерт дворовой публике дают.
И в этой суете, и в этой прозе,
В лишениях, в воздержании, в посте
На голой по-весеннему березе
Сидит ворона в лыковом гнезде.
Без опыта, возможно, без привычки,
С большим терпеньем, тщанием, трудом,
По прутику, по проводку, по лычке
Она вплетала в будущий свой дом.
Не ищущая басенного сыра
И зная назначение свое,
Она сидит на яйцах в центре мира,
И мы – периферия для нее.
Вокруг футбоят, ржут, грызутся шавки,
И с неба льет то дождь, то снег идет!..
Она сидит на яйцах в снежной шапке
И продолжает свой вороний род.
Там – гром войны, здесь – взрыв аплодисментов,
Кто с голодухи, кто с обжорства мрет,
Свергают, выбирают президентов, –
Она сидит, воды набравши в рот!
Не каркнет, хоть в душе бушуют стрессы,
Осознает, как видно, святость дней,
В которые сверхсложные процессы
Во имя жизни происходят в ней.
Бессменно и почти без интервала
Она творит свой подвиг на посту!
Какая мощь гулену приковала
К такому некомфортному гнезду?
Здесь труд – на месяц, результат – навеки:
Чтоб клан родимый в Бозе не почил!

Какой ее великий имиджмейкер
Такому поведению научил?
И почему нам всем она – до фени!
Как низко пали мы, едрена мать!
Мы утопаем в суетности, в лени,
И нам на подвиг даже наплевать!..
А впрочем, здесь – ни подвига, ни драмы
Нет ни на грош! А я – досужий псих:
Когда нас всех в себе носили мамы,
Воронам тоже было не до них!

апрель 2000

НАШ ОТВЕТ РАЗБУШЕВАВШИМСЯ СТИХИЯМ

Мы, люди, – сильные, лихие,
Хоть не везде и не всегда.
Когда вгрызутся в нас стихии –
Огонь и Воздух, и Вода,

И Твердь Земная сотрясает,
То гибнут наши корабли,
И злобно сели нас сметают
С румяных щек лица Земли,

И гибнут горы, доли, пашни,
Бордели, Храмы, – все подряд,
Останки Вавилонской башни
Из тьмы в Останкино глядят,

Нас мочат жалом уркаганы,
Мы мрем от скальпеля врача,
Нас рвут на части ураганы
И объедает саранча, –

Все беды – в гости к нам! Пожалте! –
Ни в ужас не впадем, ни в дрожь!
Топите, жгите, рушьте, жальте! –
Нас не задушишь, не убьешь!

Мы пережили мрак нашествий,
Войну, Чернобыль и Гулаг!
Мы ждем конца стихийных бедствий,
Дабы вкусить стихийных благ!

Уймитесь, грозные стихии!
Нас ваша буйная орда
Не сломит! Люди мы лихие!
Хоть не везде. И не всегда.

ЧЕЛОВЕК И СУББОТА

Спор этот вечен, он – вроде работы
С древних времен и до нашего века.
Вот его суть: человек для субботы
Или суббота для человека?

Спорщики спорят жестоко и страстно,
Чуть изменяется сути природа:
То ли народ в батраках государства,
То ль государство на службе народа?

Время летит, остаются вопросы,
Мнение одних – для других неподсудно:
Судно ль плывет, чтобы плыли матросы
Или матросы, – чтоб плавало судно?

Спор разногласий, увы, не решает,
Нет окончания сложной заботе!
Ну, а меня больше прочих прельщает
Мнение такое по этой субботе:

Если добро совершают в субботу,
Все понимают в мгновение века:
Можно приветствовать эту работу,
Эта суббота – для человека!

Если же зло... Впрочем, как это грустно:
Если мы только не все обалдели, –
Зло совершать – как субботахми гнусно,
Так и другими частями недели!

ОСЕНЬ

(Из цикла «Дедушкины сказки»)

Как жаль, что промчалось стремительно лето,
Что скоро наступит зима,
И снежную шубу наденет планета,
И снежные шапки дома!
Но, если по-честному, – как-то не очень
Грущу я по теплой поре!
А все потому, что красивая осень
Сегодня у нас на дворе!
Не каркай, ворона, болтунья пустая,
О том, что зима на носу!
Ты видишь, что осень у нас золотая
Рисует в соседнем лесу!

Вон – желтый опенок, вон – бурая шишка,
Вон – чижик зеленый летит!
А клен – словно рыжий лохматый мальчишка
На нас добродушно глядит!
И я улыбнусь добродушному клену
И больше не буду грустить...
А раньше в противную злую ворону
Я камнем хотел запустить!

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

Н. Л.

Давай-ка уедем куда-нибудь, детка,
Осядем в чудесной степи!
Мне тесен наш дом: он – уютная клетка,
Но в ней мы сидим на цепи.

Соседи у нас – кто в работе, кто спятил,
Кто подлую жизнь сволочит!
А сядешь за стол, – сразу кто-то, как дятел,
Кувалдой по стенке стучит.

Поедем туда, где от шумного века
Неспешно плывут облака,
Где в души людские нога человека
Еще не ступала пока!

Там слаще, светлее, теплее и суше,
Там мир в ожидание притих!
Я знаю: там в настезь отверстые души
Нас пустят: сойдем за своих!..

А может быть, все это – сказки из детства?
Пойдем-ка своею тропой!
Нам некуда деться, нам некуда деться,
Нам некуда деться с тобой!

В том сказочном мире – пожары и сели,
И мрак, и война, и ветра!
А здесь мы с тобою навеки б осели!
Но... надо дожить до утра.

28 августа 2001, Крылатское

Елена Макарова

ПРЕВРАЩЕНИЯ САШИ АДОНИНА

Раннее утро. Едет по Иерусалиму грузовик, останавливается у мастерской Саши Адонина, на Яффо. Мы погружаем ширмы, которые Саша смастерил для выставки, забираемся в кузов. Трогаемся. На улице светло, в кузове темно. Сидим на досках, подпрыгиваем на ухабах.

– Все, закрываю лавочку, – говорит Саша, закуривая. – Буду картины писать.

– А как же ресторан?

– Не знаю. Рутину не переношу. Чувствую, тоска подступает. Надо менять курс.

Иерусалим с его историей и топографией кого хочешь с ума сведет. А уж о нас, приехавших из России, и говорить нечего. Режиссер здесь становится хлебопеком, поэт – продавцом, продавец – каббалистом, разочаровавшийся в иудаизме еврей из Киева переходит в мусульманство, перебирает четки и курит наргилу, в гостинице «Дипломат» живет мессия, а в больнице «Эйтаним» лечится писатель, ставший шейхом.

Смотрю на Сашу. Серьезен. Как всякий человек, принявший судьбоносное решение. Интересно, какие картины он пишет?

Мы познакомилась в январе 1999 года. Я привезла к нему в рамочную на Яффо картины 93-летнего художника Беди Маера. 25 картин. 25 рам. По количеству сходится. По размерам – нет.

– Все сделаем, – сказал Саша. – Расставь рамки, и будем смотреть. Подгоним.

Он положил первую картину на высокий стол, осмотрел ее.

– Давай раму! Здесь подрежу и собью...

Закончив осмотр 25 пациентов, Саша прикинул расходы на лечение. Названная цифра была смехотворной. За углом в рамочной это было в несколько раз дороже. Сабры не сентиментальны. История бедного художника из Моравии, ныне проживающего в доме престарелых, их не трогала. И переделывать эти жалкие белые рамки они не желали.

Кто в наше время латает, чинит, перешивает? Беднота.

– Саша, неужели закроешь мастерскую?

– Закрою. И буду картины писать.

Мы доехали до университета, сгрузили выставку. Расставили все по местам. Саша одобрительно кивал. Отлично вышло. И сами ширмы, и обтяжка.

Саша вышел из музея, перекурить. Мы сидели с ним в университетском холле, пили кофе и молчали.

– Интересная у тебя работа, – вздохнул Саша.

Я чуть было не призналась ему, что пишу книги, и моя профессия – литература.

– Так ты и едешь со всеми этими картинами...

– Да.

– Ну ладно, пошли.

Саша сбил стояки, пронумеровал их.

– Когда повезешь все это хозяйство в Москву, скажи рабочим, чтобы смотрели на номера.

И все же, какие картины пишет Александр Адонин?

Почему не сказать: «Саша, покажи картины», да боюсь – вдруг не понравится.

На выставке, посвященной десятилетию Большой алии, я обратила внимание на картину «Сон». Экспрессионистическое напластование форм, как и во всяком сне, все перемешано, при этом здорово передано ощущение узнавания – проявляются эклектические, как часто и бывает во сне, разноформатные фигуры, силуэт женщины с ребенком, какой-то клоун-не-клоун, а вот и другая женщина, в провале или это задник какого-то театра... Картина Александра Адонина.

А тут намеренно спрашивает меня приятель:

– Видела работы Адонина?

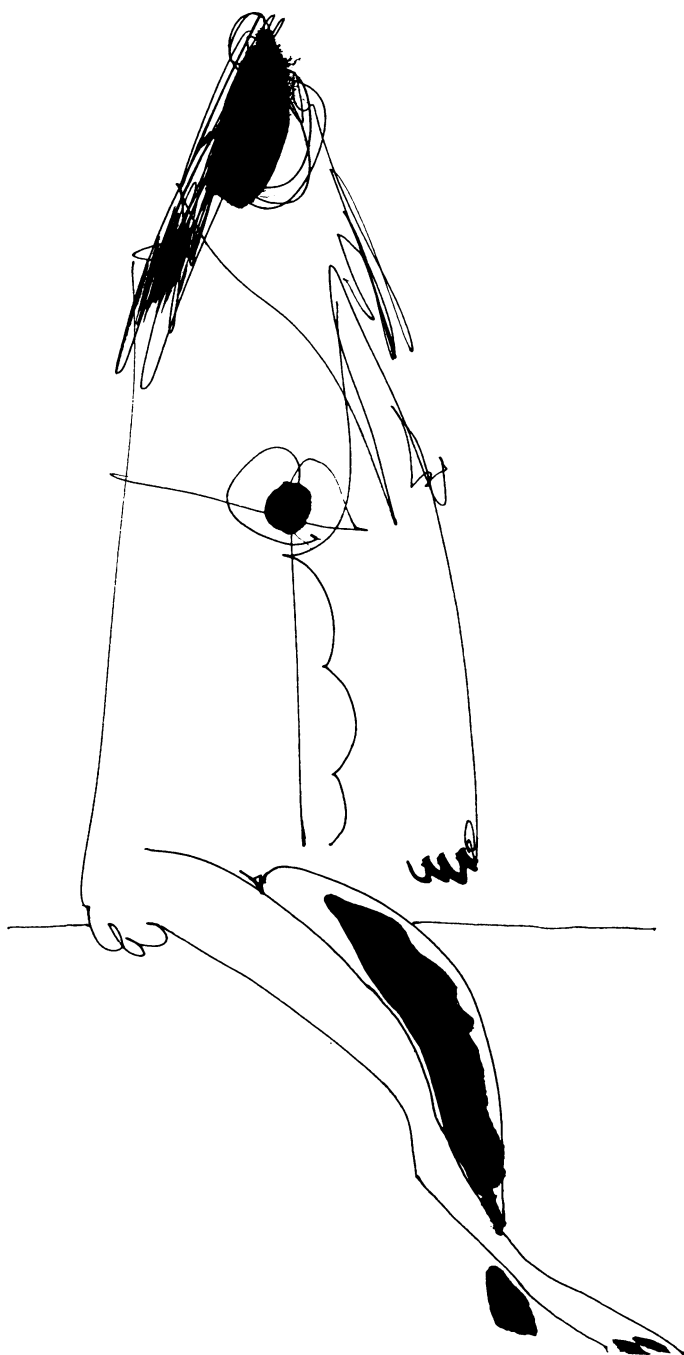
– Одну видела, – говорю, – а что?

– Хочешь еще посмотреть?

– Хочу.

Пошли смотреть. На этот раз – графика. Импульсивная, трагически-насмешливая. Контрасты и размытые очертания, обобщенные формы и сугубо реальные детали. Графика живописца. Теперь не страшно сказать: Саша, покажи картины!

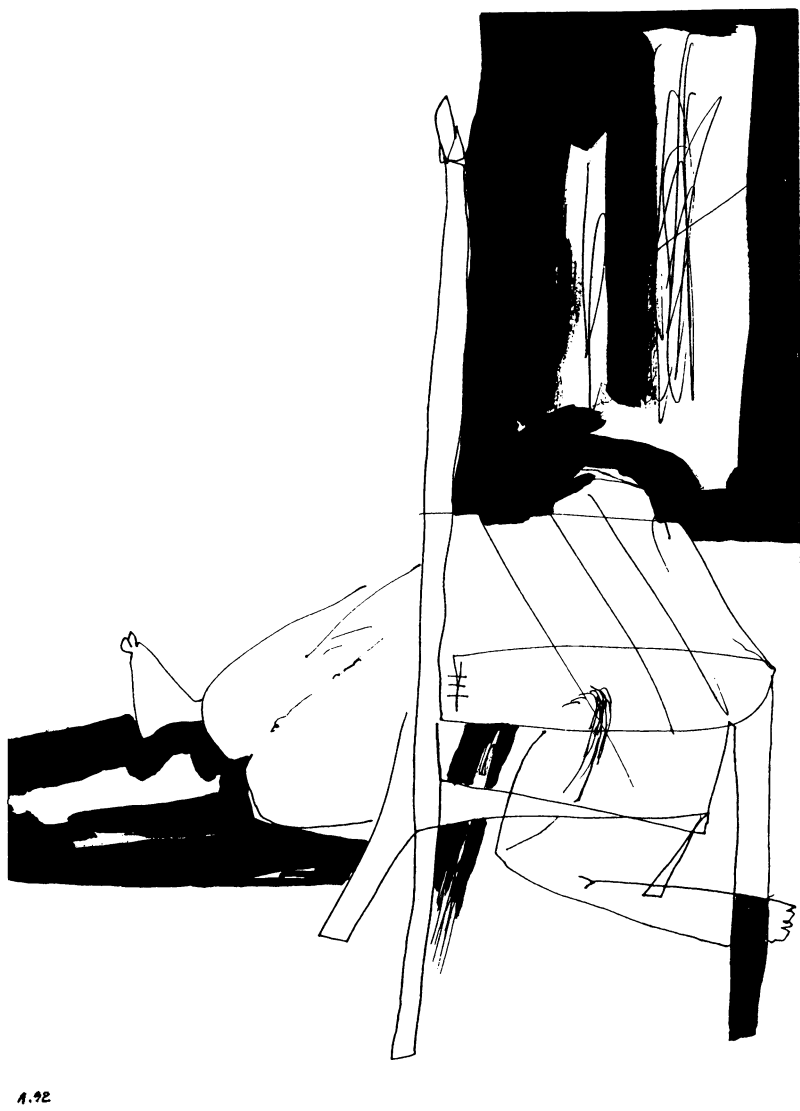
Или уж взяться за выставку. Собрать все работы Александра Адонина, и баста. Есть в этом проекте явное преимущество – с рамами уж точно проблем не будет.





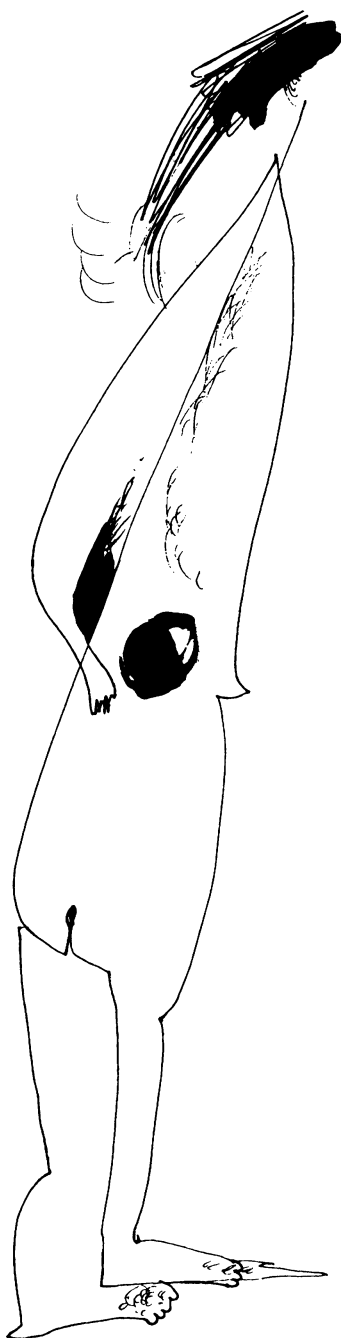
АБ2

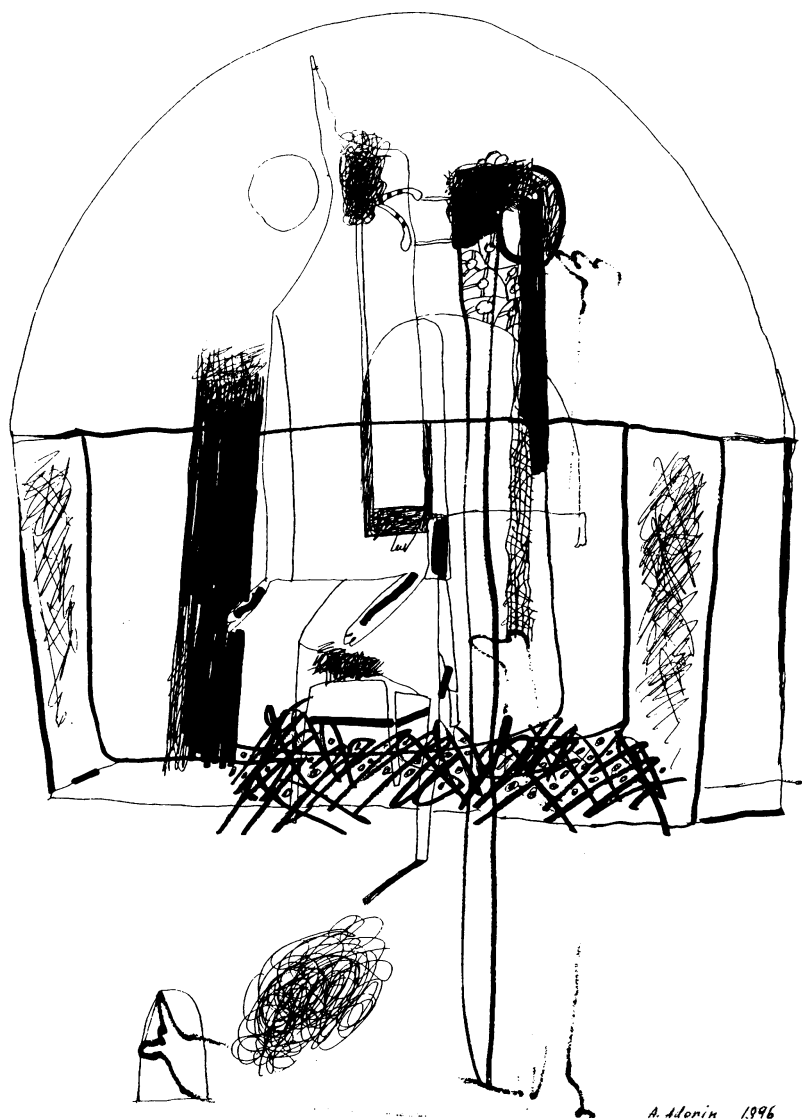












A. Adonin 1996

Нази Басовский

ПЕРЕЛОЖЕНИЕ ИЗ КНИГИ ИСАИИ

ГЛАВА 1

Когда Иудея прославилась отступничеством и ложью,
когда правили ею Озия, Иоафам и Ахаз,
мне, Исае, Амосову сыну, было видение Божье;
без боязни и умолчания о том возведу сейчас.
Я обращусь к земле, к горам обращусь и к водам:
слышите – голос Господень пронзает небесную высь?

«Я взрастил сыновей, сделал особым народом,
они же Меня отвергли, против Меня поднялись.
Вол хозяина знает, и мулу не всё едино,
в какие ясли вернуться – хозяйские лучше всего;
а народ Израиля забыл своего Господина
и мнит о себе в гордыне: мол, обойдусь без Него».

О народ нечестивый, тёмное племя злодеев,
грешники без закона, погибельные сыны!
В смрадных струпьях и ранах лежит, в жару холодея,
как в лихорадке жестокой, – вот облик нашей страны.
Нет здорового места от темени до подошвы,
в язвах её затылок и сердце исчахло в ней.
Её излечить не в силах ни знахарь, ни лекарь дошлый,
не успокоят повязки и не смягчит елей.

Чем донять тебя, о народ, погрязший в грехе упорном?
Земля твоя опустела, города сожжены,
съедают чужие люди твоим добытое потом,
и жену отнимает у каждого возжелавший его жены.
Стоит Сион одиноко, как осаждённый город,
как шатёр в винограднике, как в огороде шалаш,
и мы давно бы погибли, словно Содом с Гоморрой,
если б не охранил нас Господь милосердный наш.
Слушайте слово Господне, о владыки Содома,
внемли закону Божьему, о Гоморрский народ!

Господь говорит: «Не нужны Мне дары из этого дома,
и петь молитвы не должен хулу исторгавший рот.
Я пресыщен сожжением овнов, скотов, откормленных туком,
Я более не желаю жертвенной крови тельцов.
К чему Мне ваши молебны, если сердце для веры потухло,
о грешники, позабывшие Бога своих отцов?!

К чему Мне ваши молебны? В них дух подневольной работы!
Кто вас неволит нехотя в Мои приходить дворы?
Мне ненавистны ваши новомесячья и субботы,
и праздное ваше веселье, и тучные ваши пиры.

Вы множите ваши молитвы – Мой слух их слышать не хочет,
тёмное племя злодеев, погибельные сыны!
Вы простираете руки – Я закрываю очи,
ибо ваши ладони невинной крови полны.
Омойтесь же и очиститесь, помыслы ваши исправьте;
деяния ваши злые – их видеть неволю –
от глаз Моих удалите, прильните к добру и правде,
вдову от бед защитите, вступитесь за сироту!

Придите тогда, и рассудим – Я гнева помнить не стану,
увидев, что в помыслах ваших просторно и не черно;
и ежели души были от многих грехов багряны,
станут они белоснежны, словно ягнёнка руно.
Вас призываю: приблизьтесь; пусть будут сердца ваши полны
огнём добра и заботой о том, чтоб он не погас.
Если же отречётесь, в своих заблужденьях упорны,
Моё разящее слово, как меч, покарает вас.

Ты прежде была знаменита, израильская столица,
правдою и законом, – утрачено это давно:
жадностью и пороком владык помечены лица,
серебро твоё стало изгарью и прокисло твоё вино.
Одни законопреступники правят нынче народом –
они сообщники воров, свет Божий им застит мзда,
они не спасают вдов, не помогают сиротам.
Но близок день Моей мести – о, как Я утешусь тогда!

А после возьму руками страну и её столицу
и, как в кипящей щёлочи, счищу грязи кору,
и свинцовое с оловянным навсегда удалится,
чтобы снова, народ Мой, сиять твоему серебру.

Я снова пришлю вам судей;
им, честным и умудрённым,
Я дам умение и знание, чтобы спасти страну:
люди спасутся правдой, Сион спасётся законом,
а тех, кто будет упорствовать, погibelью прокляну.
Ждёт их кара за мерзкие, кумирные их дубравы,
где идолы холодеют, и за распутства сады;
и станут продолжающие вкушать от этой отравы,
как дуб с опавшими листьями и как сад без воды.
И станет зловредной искрой любое грешное дело,
а его исполнитель – отрепьем в горючей смоле,
и достаточно будет искры, чтобы она пролетела, –
и страшное это пламя не погасит никто на земле!»

ГЛАВА 5

1.

Божьих промыслов людям не счесть
удивительных и неоглядных.
Воспою я Всевышнему песнь
про любимый Его виноградник.
Не жалея возвышенных сил,
под сияньем лазури и сини
наш Господь виноградник разбил
на утучненной горной вершине.

Он очистил надел от камней,
насадил в нём отборные лозы,
и оградой обнёс, и за ней
пели птицы, звенели стрекозы.
И давило в саду прикопал,
чтоб вино создавалось на свете.
Сладких гроздьев Господь ожидал –
в диких ягодах выросли плети.

И тогда среди белого дня
Он промолвил в тоске и досаде:
– Рассудите, о люди, Меня
с виноградником:

Я ли не ради
добрых гроздьев в заботах о нём
не скупился на воду и туки;
почему ж вместо ягод с огнём
скудокислые просятся в руки?

Расскажу вам, что станется с ним:
облака обойдут его краем;
он простелется, жаждой томим
и чужою ногой попираем.
И ни вскапывать, ни обрезать
виноградник не стану отныне;
зарастёт он волчцами опять
или станет подобен пустыне.

Эта песнь, эта притча о том,
что и словом обычным рекомо:
виноградник – Израилев дом,
а растения – жители дома.
Дал Господь иудеям закон,
правосудье и поприще веры,
но нашёл в винограднике Он
беззаконье и злобу без меры...

2

Горе вам, прибавляющим к дому чужие дома!
Горе вам, прибавляющим к полю чужие поля!
Почему вы решили, что вам вся страна отдана
и что только для вас предназначена эта земля?

И сказал мне Господь: наказание исполнится пусть,
ибо слово Моё позабыто и попрано тут.
Каждый дом, что захвачен, навеки останется пуст,
и колючими тернами эти поля зарастут.

И владельцу земли ни себя прокормить, ни рабов,
и без пользы своей он отдаст на посев семена,
ибо хлебный надел не вернёт и десятка хлебов,
виноградник сухой не подарит и меры вина.

Горе тем, кто досуги проводит в веселье одном,
в разухабистых плясках под цитру, свирель и тимпан!
Горе тем, кто себя каждый день ублажает вином,
кто с утра неразумен, а в полдень и вечером пьян!

Всё пируете вы и не мыслите в том перемен,
равнодушия к Богу и к слову Его не тая.
А за это народу изгнание будет и плен,
и познают мучения голода даже князья.

А за это без меры раскроется пасть под землей,
их богатство и славу навеки поглотит она,
да и сами они неразумной и шумной толпой
в ту геенну сойдут, и окончатся их времена.

И поникнут мужи, ибо им приоткроется высь,
на которой Господь совершает Свой праведный суд,
и овечьи отары без пастырей будут пастись,
и в остатках застольных скитальцы питание найдут.

Горе тем, кто своим недоверьем смущает умы,
кто себя, как осла, запрягает в грехи, говоря:
«Пусть Он сделает дело Своё, чтобы видели мы,
а иначе законы и все наставления – зря!»

Горе тем, кто умышленно зло называет добром
или чёрное – белым и сладкой – полынь в борозде!
Горе тем, кто в гордыне считает себя мудрецом
и единственно правым себя полагает везде.

Горе тем, кто воитель в сражении с мерой вина,
кто заботой одной озабочен: когда поднесут? –
тем, чья совесть оглохла, кого не снедает вина
за мздоимство и жадность, за злой и неправедный суд.

Как огонь пожирает солому на летнем ветру
и как сено в жестокой грозе выгорает дотла,
ветви вашего рода окажутся пищей костру,
ибо воля Господня погублена вами была.

Возгорясь, как огонь, гнев Господень на землю падёт,
на дома и на храмы, селения и города,
и на улицах трупы останутся, словно помёт,
содрогнутся вершины и в речке застынет вода.

И подымет Он руку к народам, живущим вдали,
и отметит Он знаменьем самый далёкий народ,
прозябающий где-то у самого края земли, –
и придёт в Иудею легко и стремительно тот.

И никто не устанет, никто не уснёт по пути,
и ремень не порвётся, и меч сохранит остроту;
он добычею сделает всё, что сумеет найти,
и копыта коней будут огонь высекать на лету.

Будет бешеный рёв, от которого сходят с ума,
будто движется войско на злых разъяренных быках,
и узнаете вы, что грядущее – горе и тьма,
ибо сморщится небо и кончится свет в облаках!

ГЛАВА 6

В год смерти Озии мне снился чертог,
прекрасный непредставимо,
и там сидел на престоле Бог,
вокруг Него – серафимы,
и каждый был о шести крылах,
этим вселяя страх.

Крыльев радужное кольцо
переливалось в чертоге:
каждый двумя прикрывал лицо,
другими двумя – ноги,
а на ещё одной паре крыл
вокруг престола парил.

И все они восклицали: свят,
свят наш Господь великий!
Дрожали створы тяжёлых врат
ответом на эти клики,
и заполняли просторный храм
курения и фимиам.

И возопил я: – О жизнь – тщета!
Мне жить осталось немного,

ибо нечисты мои уста,
а я лицезрею Бога!
И серафим услышал меня
и уголь взял из огня.

Он углем коснулся губ моих,
посланник этот Господень,
и молвил:

– Вот, я коснулся их,
и ты от греха свободен.
Внимай же тому, что услышишь тут:
близится Божий суд!

Застыл я среди шестикрылых сих,
и голос, ушедший к своду,
спросил:

– Сказать о веленьях Моих
кого Я пошлю к народу?
И тут перед Ним преклонился я:
– Боже, пошли меня!

И Он повелел:

– Иди и скажи
забывшим о добром деле,
погрязшим во мздоимстве и лжи,
чьи души от зла огрубели:
они, когда совершится суд,
услышат, но не поймут.

Неотвратимость Судного дня
не тронет глаза их и уши,
и не попросят они Меня,
чтоб Я исцелил их души,
и будет кары Моей поток
страшен, буен, глубок!

– Боже, надолго ли кара та? –
я осмелился молвить слово.
– Доколе не станет земля пуста, –
Он мне отвечал сурово, –
доколе не будет людей нигде
на суше и на воде.

Срубили дуб;

но, глубоки,
корни ждут в земле не напрасно:
поднимутся к небу его ростки
очищенно и прекрасно.
И так же поднимется Мой народ:
святое семя – взойдёт.

ГЛАВА 11

По воле, идущей с Господних высот,
от корня Ишая побег прорастёт,
и в этом ростке – дух Господень, –
совета, премудрости, разума дух;
он будет судить не на взгляд и на слух,
и тем будет Богу угоден.

Положит судить он страдальцев дела
по правде, какой бы она ни была,
по мудрости слов справедливых.
Богатым и бедным единый закон
дарует от Божьего имени он
и этим сразит нечестивых.

Ягнёнок и волк будут вместе лежать,
козлёнок от барса не станет бежать,
телёнок и лев будут рядом,
и малый ребёнок их будет водить:
научатся есть и научатся пить
единым доверчивым стадом.

Корова с медведицей будут пастись,
детёныши – рядом скакать и нестись,
играя у общего дома.
Не будет опасной игра детворы
у самого края змеиной норы,
и льву будет пищей солома.

Никто никому не захочет вреда;
как моря объём наполняет вода,
так землю наполнит навеки
всеведение Божье и Божий закон,
и к корню Ишаеву с разных сторон
язычники хлынут, как реки.

И снова Он руку протянет Свою
к остатку народа, чтоб вспомнил семью
отдельного с Богом союза,
чтоб те, кто в Египте, услышали зов,
и жители Патроса и островов,
и кто у Ассура и Хуса.

И снова изгнанников Бог соберёт
в единый Израиль – единый народ
в Свой дом призовет отовсюду.
От Бога почувствовав общую нить,
Иуда Ефрема не станет теснить,
Ефрем не обидит Иуду.

Единый к язычникам явится Бог.
Рукою на Запад, рукой на Восток
укажет Господь миротворно,
и будет им знамя – Господень закон;
Эдом, и Моав, и Ассур, и Аммон
пред Ним преклонятся покорно.

В Ассуре река станет мелкой, как брод,
и на семь ручьев её Бог разобьёт,
чтоб стала удобной дорога,
как та, по которой мы шли без цепей,
когда из Египта нас вёл Моисей,
узнав повеление Бога.

ГЛАВА 40

– Утешьте народ мой, утешьте, – Господь с небес говорит.
– Скажите Иерусалиму, что счёт прегрешений закрыт:
двукратно уже и трёхкратно узнал наказание он,
и кару безропотно принял, и благостью Божьей прощён.

И катится зов: по пустыне ровняйте Господу путь!
Пусть снизятся горы с холмами, а доли поднимутся пусть.
И явится слава Господня на перекрёстках земли,
и все народы услышат, что Божьи уста изрекли.

А всякий народ перед Богом выглядит в поле травой,
и люди, пока они живы, красивы, как цвет полевой.
Но вянут зелёные травы, и цвет осыпается с них,
и только Божье слово всегда остаётся в живых.

Так слушайте, люди Сиона, слушай, Иерусалим!
Как пастырь с отарой своею, Господь с народом своим:
и летом – в жару, и зимою, когда проливные дожди,
даёт пропитание овцам и носит ягнят на груди.

Кто пядью измерит небо и море – горстью своей?
Кто чашу к весам приладит, чтоб горы взвесить на ней?
И кто Божий дух измерит, который превыше всего, –
кто может советовать Богу и вразумлять Его?

Народы пред Господом – капли,
пылинки на Божьих весах;
решит Он – и целые земли взметает, как лёгкий прах.
И целые сонмы народов, чьи помыслы нечисты,
значат для Господа менее ничтожества и пустоты.

С кем же сравните вы Бога? На что достанет вам сил?
С идолом золочённым, которого мастер отлил?
С идолом деревянным, покрытым резьбой витой?
С идолом из базальта, страшным своей чернотой?

Но разве вы не знаете оснований земли
и о могуществе Бога слышать вы не могли?
Разве в самом начале не говорили вам:
не верьте истуканам, а верьте Божьим словам?

Он Тот, Кто восседает над кругом жизни земным;
бесчисленные народы – как саранча пред Ним.
Он Тот, Кто создал землю, над ней небеса распростёр,
над нами их раскинул, как для жилья шатёр.

Он Тот, Кто видит каждого и вблизи, и вдали,
Кто обращает в ничтожество князей и судей земли.
Мощно укоренился в земле их могучий ряд,
но стоит Всевышнему дунуть – они, как солома, горят.

– Кому же Меня уподобить? – нам Господь говорит. –
Глаза подымите к небу, и если ваш взор открыт,
подумайте: Кто создал его и всё, что живёт под ним?
Мощный силой,

Великий могуществом,
нигде ни с кем не сравним!

Как же твердишь ты, Израиль,
что брошен Богом твоим?
Разве тебе не сказали: Он в помыслах неисследим.
Разве тебе не сказали в самом начале времён:
Он ничего не забудет, никогда не устанет Он.

Он даёт утомлённым силу, отводит от них беду.
В долгой дороге и юноши спотыкаются на ходу.
А те, кто на Бога надеются, на самом длинном пути
ощутят за плечами крылья и сумеют дойти.

1991 – 2001 гг.

ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

«МИР ВЕЛИК, НО МНЕ ПОДВЛАСТЕН»

Играет солнце в желтеющих листьях березы, играем и мы, усевшись вокруг стола. Семен Израилевич Липкин тасует карты.

Последний из могикан, переводчик Махабхараты и Джангра, Калидасы и Гильгамеша, автор «Воли» и «Декады», – проигрывает в переводного дурака.

– Конченный дурак, – улыбается маме Семен Израилевич, – с кем я тягаюсь! С прославленной поэссой Инной Лиснянской, которая, по странному совпадению, является мне женой, и ее дочерью, которая по странному совпадению...

– Сема, отбивайся! – Мама кладет перед ним шестерку пик.

– Ниже пасть невозможно, но я беру...

– «Ты, проигрывая, глядишь, как раненый тигр.

И война для мужчин, знать, одна из азартных игр

На аренах времен... Слава Богу, ты вышел живым,

Хоть попал в Сталинградский, кровопиящий тигль...», – бормочет мама под нос свои стихи, посвященные мужу и опубликованные в сентябрьском «Знамени».

Липкину выпала радость увидеть опубликованными не только свои книги, запрещенные в восьмидесятых, но и книги своих лучших друзей, Василия Гроссмана (это Семен Израилевич сберег последний экземпляр рукописи арестованного романа «Жизнь и судьба») и Андрея Платонова.

Я счастливец, ибо только тот, чей низок дух, несчастен.

На вселенную смотрю я: мир велик, но мне подвластен.

Гончая с огромной пастью мчится яростно за дичью,

Это – жизнь, и чем я стану, превратясь в ее добычу?

Я рожден в юдоли скорби, лжи, греха, коварства, страха,

Но и золото порою добывается из праха.

Юность – это пламя хмеля, старость – холод и невзгода.

Тот, кто жив, заложник смерти, и лишь мысль его – свобода.

Мне знакомы ночь, пустыня, пыль во рту, скупая влага,

Но перо – моя опора, и подруга мне – бумага.

У меня один лишь посох – луч таинственного света,

У меня лишь два верблюда: нищета и дар поэта.

В «Песне бедуина» – протяжность степей, и протяженность мысли. Луч таинственного света нацелен на самую суть человеческого существования. Липкин – философ, и в стихах и в жизни. Медленная походка, долгий внимательный взгляд. Семен Израилевич обзревает и воспекает Бытие.

– Леночка, задавай свои вопросы, – говорит он, складывая карты в колоду. – Для кого это?

– «Иерусалимский журнал» хочет поздравить Вас с юбилеем.

– Ты знаешь, Леночка, мне трудно рассказать «что-то», но если ты спросишь, я отвечу. У тебя готовы вопросы?

– Да. Первый. Что для Вас Иерусалим?

– Я с раннего детства, с тех пор, как себя помню, был религиозным мальчиком. Это немного необычно, поскольку мой отец был социал-демократом, меньшевиком, и не верил в Бога. Я же хотел учиться в хедере. В этом мне было отказано. И все-таки, когда я выдержал экзамен в Пятую гимназию...

– В Одессе?

– Разумеется... я же родился в Одессе! – в Пятую гимназию еврею попасть было непросто... Родители мои были этому очень рады, а я получил право поступить в хедер. В двадцатом году, когда пришли большевики, за учебу в хедере платили уже не деньгами, а хлебом. Лишнего хлеба у нас не было. Хедер пришлось оставить. И я забыл иврит. О себе я могу сказать – я верующий иудей и при этом – патриот России.

В девяностом году мы с твоей мамой были в Израиле. Иерусалим стал для меня потрясением. Все, что знал с детства, я увидел своими глазами. Со мной случился потрясающий случай. Подойдя к Стене Плача я вдруг вспомнил начало молитвы: «*Барух ата адонай злохейну мелех а-олам*»... Я вспомнил слова, которые я не произносил вслух с детства.

– Семен Израилевич, как Вы расцениваете влияние русской алии на Израиль?

– Русское еврейство – это, прежде всего, образованное еврейство. Русская культура – явление всемирного масштаба. В этом смысле для Израиля это большое приобретение, плоды его видны уже сейчас, у этого явления большое будущее.

– А что советская ментальность?

– Мне с детских лет была отвратительна «советская ментальность», будь она у украинцев, евреев или русских. Я надеюсь, что евреи, приехавшие в Израиль в 90-е годы, свободны от этого недуга.

На этом беседа прервалась. По телефону поступило сообщение – в честь девяностолетия, Семен Израилевич награждается бриллиантовым орденом и машиной. Орден – ладно, но что делать с машиной?

– Сема, вот привезут машину, тогда и будем думать, – сказала мама.

Семен Израилевич подарил маму восторженным взглядом.

– Счастливый я человек, мне исполнилось девяносто лет – и я все еще влюблен!

Переделкино, 19 сентября 2001

Елена Макарова

Владимир Франер

«ОН МЕЖДУ НАМИ ЖИЛ...»

Исайя Берлин взял эпиграфом к своему эссе «Встречи с русскими писателями» слова Ахматовой: «Всякая попытка связных мемуаров – это фальшивка. Ни одна человеческая память не устроена так, чтобы помнить все подряд. Письма и дневники часто оказываются плохими помощниками».

К этому я бы добавил, что мемуары вообще ущербный жанр, ибо человеку свойственно преувеличивать свою роль не только в жизни других людей, но и в мироздании.

Мои же воспоминания об Анатолии Яковсоне – не связные. Это субъективные заметки, писавшиеся в разные годы с единственной целью продолжить общение с ним, прервавшееся так внезапно из-за его преждевременной смерти...

Жалею, что не записывал его импровизаций. Лишь обрывки чего-то наплывут вдруг со дна памяти – и исчезнут, – как те огненные буквы, начертанные на стене невидимой рукой.

Толины дневники, опубликованные через десять лет после его смерти, оживили то, что укрыто в потаенных нишах памяти. Лишь тогда смутные обрывки стали более четкими и обрели хоть и расплывчатые, но все же устойчивые контуры.

* * *

Он был воспитан на русской литературе. Любил ее до полного самозабвения. Весь строй его души был сформирован ею. Но литература была для него не абстрактным понятием, а тем, чем является для растений чернозем, пропитанный влагой и питательными солями. Она включала весь окружающий мир, и вырванный из него, утративший точку опоры, он шел уже не прежней твердой походкой, а прерывистой и неровной, как Агасфер, гонимый непреодолимой силой. В том повинен презираемый им режим, лишивший его единственно возможной для него среды...

Он принадлежал к поколению, сформировавшемуся уже после сталинского «ледникового» периода и сумевшему избавиться и от гнета страха, и от равнодушия к творящимся вокруг мерзостям. Далось это нелегко и не сразу, и не все избавились. Но точка отсчета идет от лучших, а не от худших.

Общаться с ним было легко, ибо он никогда не злоупотреблял своим интеллектуальным превосходством. Даже люди, страдающие от душевной скудости или непоправимо обойденные жизнью, соприкасаясь с ним, забывали о своих комплексах. И хоть жил он на запредельных скоростях, ему до конца хватило взятого в России разгона. До конца сохранил он и способность интуитивно-

безошибочного постижения сути вещей, часто встречающуюся там, — в покинутой им среде особого духовного накала, и столь редкую здесь. Но нигде не обрел он покоя, — состояния одинаково далекого и от радости и от горя.

Его книге «Конец трагедии» суждена долгая жизнь. Это книга о судьбе русской интеллигенции, о трагедии, постигшей русскую культуру. И одновременно — это одна из лучших литературоведческих работ о Блоке. Прочнейший сплав филологии и писательства, который не столь уж многим удавался до него. Шаг за шагом проследил Якобсон последствия обрушившейся на Россию катастрофы, и показал, что человеческая трагедия Блока как матрица накладывается на духовную трагедию русской интеллигенции.

И все же книга Якобсона не оставляет впечатления безысходности. Надежда для него и для нас, замороженных словесной магией и логическими построениями автора, кроется в предсмертных словах Блока: «Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны, и не могут быть известны. Оно единолично и нераздельно».

* * *

«Конец трагедии» я прочел в 1973 году, вскоре после выхода книги в издательстве имени Чехова. Слушал я тогда курс университетских лекций по теории литературы у Омри Ронена. С годами Ронен стал профессором Мичиганского университета, одним из лучших исследователей русского модернизма.

Маленький, рыжий, похожий на Азazelло, Омри как-то сказал:

— Якобсон приезжает в Израиль и будет преподавать на нашем факультете. Мы с Сегалом все уже устроили.

Я удивился и обрадовался. И тут же спросил:

— А как тебе его книга?

— Литературоведческая часть безупречна, — ответил Омри.

А потом грянула война Судного дня. Две с половиной недели длились военные действия, но полгода еще Израиль и Египет, как два ковбоя, уже вложившие в кобуру пистолеты, зорко следили друг за другом, опасаясь пропустить зловеющий блеск в глазах противника.

Первый отпуск мне удалось получить лишь весной 1974 года. Приехав в Иерусалим, уже не помню, где, кажется у Сегала, встретился с Омри Роненом. От него узнал, что Якобсон приехал, живет в центре абсорбции.

И вот мы поднимаемся по крутой лестнице. Я волнуюсь. Для меня Якобсон был не только автором замечательной книги, но и одним из творцов легендарной «Хроники».

Открыла Майя. Познакомились. Сидевший в кресле человек даже не повернул головы. Темные, аккуратно зачесанные назад волосы. Тяжелые, усталые губы. Неправильные броские черты лица. Но нет блеска в глазах, и веет от него холодной угрюмостью. Пили чай. Майя расспрашивала о войне. Толя не произнес

ни одного слова, и я подумал, что он просто замкнутый человек, который не терпит контактов с людьми случайными.

Прошло три месяца. Был вечер. Я брел куда-то по одной из центральных иерусалимских улиц. Закатное небо зажигало крохотные малиновые искорки на матовой скорлупе фонарей. Вдруг ко мне, как сорвавшийся с привязи медведь, бросился какой-то человек и схватил за руку. Уходящее солнце било в глаза, и я не сразу разглядел его лицо.

– Ты тот самый солдат, который приходил ко мне и рассказывал о войне, – сказал он, и я узнал его. – Я был болен тогда. Не мог говорить. Но я все помню. А теперь я совсем здоров. Смотри!

И, чтобы продемонстрировать свое здоровье, он тут же попытался поднять за рессоры одну из стоящих у обочины машин.

Через пять минут я чувствовал себя так, словно мы были знакомы всю жизнь. Почти до рассвета пробродили мы по узким иерусалимским улицам, размахивая руками, перебивая друг друга. И почему-то значительной и важной кажется мне та наша встреча, хоть я и не помню уже, о чем мы тогда говорили. Может быть, потому, что в тот вечер почувствовал я в нем человека огромного дарования, любящего и страдающего.

Потом он приходил к нам чуть ли не каждый день. Дверь у нас обычно не запиралась, и он сразу врвался в комнату, заполнял ее собой, огромный, грузный и одновременно изящный и быстрый, как кавалер Глюк. К радости моего сына Амира, пушистым белым шаром вкатывался вслед за ним пес «Том с хвостом», всюду сопровождавший тогда хозяина. Осваиваясь, Толя ни минуты не сидел спокойно. Подходил к полке, снимал какую-то книгу. Читал вслух, тут же комментируя прочитанное. О чем-то рассказывал рокочущим громким голосом, одновременно разыгрывал со мной партию в шахматы. Наконец, надолго устраивался в своем любимом кресле, как путник, дождавшийся желанного отдыха.

Чувство юмора, без которого не существует полноценного человека, было у него отменное. Хвастался, что ему однажды удалось перешутить знаменитого московского острошлова Зяму Паперного, одарившего присутствующих свежее испеченным афоризмом: «Ум хорошо, а х... лучше». Толя мгновенно откликнулся: «Кто с умом да с х..., – два угодя в нем».

Любил острое словцо, хорошую шутку, соленый, но не скабресный анекдот. Его шутки часто носили характер стихотворных экспромтов. Он даже изобрел новый жанр: – двустишие, в котором первая строка русская, а вторая ивритская. Как-то выдал, печально глядя на пустой фиал за накрытым столом: «Глаза косит, *нигмера косит*» – т. е. опустела рюмка.

Был добрым, тонко чувствовал чужую боль, чужое страдание. Но мог и вспылить, и наругать. Сам же страдал от этого, и мирился потом бурно, радостно.

Любил делать друзьям подарки. Ему нравился сам процесс дарения, приятно было доставлять людям радость. У меня висит

подаренный им портретный силуэт Ахматовой. Ее медальный горбоносый профиль четко вырисовывается на фоне Невы и Петропавловской крепости.

К детям и женщинам относился бережно, по-рыцарски. Они это чувствовали и одаривали его привязанностью и любовью.

Когда я пересказал пятилетнему Амиру басню «Стрекоза и муравей», он спросил: «Папа, а правда, муравей был плохой?».

Якобсон сказал по этому поводу: «Как сильно развито в детях чувство справедливости и как жаль, что у большинства из них оно проходит, когда они вырастают».

Пил он много. Но в его пристрастии к алкоголю не было патологии. И в последние годы в России, когда он ходил по лезвию, и здесь, в Израиле, выпивка взбадривала его, помогала держаться. На самом же деле застолье ценил он больше опьянения. Однажды обронил, задумчиво вертя в руке только что опорожненную рюмку:

– Сколько я встречал людей угрюмых, неразговорчивых, которые, опрокинув стопку-другую, превращались вдруг из собутыльников в интересных собеседников.

* * *

– Толя, – сказал я как-то, – хочешь свежий литературный анекдот?

– Валяй, – оживился он.

– Два интеллигента входят в московский книжный магазин. Первый спрашивает: – Может ли один человек нажить себе брюшко на дистрофии другого? – Ты о чем? – удивляется второй. – А вот, – и первый указал на толстенную книгу на прилавке: «Лева Задов. Жизнь и творчество Александра Блока».

Толя усмехнулся, раскуривая трубку:

– Ну, какой же это анекдот? Знал бы ты сколько этих трупоедов я перелопатил, работая над книгой о Блоке.

И тогда я задал вопрос, давно вертевшийся на языке:

– Толя, а почему ты в «Конце трагедии» полемизируешь с этими трупоедами? По-моему, это единственный недостаток твоей книги.

Он ответил сразу, не задумываясь:

– Я не мог этого избежать. И не с ними я полемизировал, а с силой, стоявшей за их спиной.

Его монументальной чеканки статья «О романтической идеологии» в первоначальном виде была лекцией, прочитанной в Москве, в школе для одаренных детей. Это о том, как поэты-романтики двадцатых годов захлеб славили карающий меч революции, ибо верили, что возвышенные ее цели оправдывают любые средства. Якобсон доказал, что психологическая атмосфера, без которой великий террор был бы невозможен, создавалась при активном участии «поэтов хороших и разных», «ваятелей красных человеческих статуй». Его работа, блистательная по

глубине анализа, выигрывает еще и благодаря мастерски подобранным цитатам из Багрицкого и Голодного, Антокольского, Тихонова и прочих.

– Толя, – сказал я, – жаль только, что ты не упомянул вот эти строфы веселого, добродушного поэта, не имеющие, на мой взгляд, аналога в мировой литературе:

*В такие дни таков закон:
Со мной, товарищ, рядом
Родную мать встречай штыком,
Глуши ее прикладом.*

*Нам баловаться сотни лет
Любовью надоело.
Пусть штык проложит новый след
Сквозь маленькое тело.*

Он взъерошил волосы и сказал с видимым сожалением:

– Забыл! Ну и черт с ним! Светлов, – и как человек, и как поэт, – был славным малым. К тому же стихотворение, которое ты цитируешь, называется «Песня». Он там признается в конце, – написал, мол, все это для того, чтоб песня получилась. – И помолчав, добавил: – Впрочем, другие тоже с самыми благими намерениями писали. А что вышло?

* * *

Анну Андреевну Ахматову он боготворил. Охотно говорил о ее поэзии, но не любил рассказывать о своих встречах с ней, считая это почему-то чуть ли не кощунством.

– Толя, – прошу, – расскажи про Анну Андреевну.

– Ну, что там рассказывать, – отвечает неохотно. – Разве можно описать, какой она была? Ну, любила хорошее вино. Я приходил к ней с бутылочкой, которую мы потихоньку распивали. Но так, чтобы нашего «загула» не видела Лидия Корнеевна Чуковская. Анна Андреевна побаивалась своего «капитана». Часто я просил: «Анна Андреевна, давайте почитаем стихи. Вы мне – Ахматову, а я вам – Мандельштама».

Впрочем, бывали у нас и «ахматовские вечера», когда мы говорили только о ней. Вернее, говорил Толя, а я благодарно слушал. Это он за год до своей смерти подарил мне ее книгу «О Пушкине».

Пушкинистские работы Ахматовой Якобсон расценивал по гамбургскому счету. Считал, что, полностью сохранив научность мышления, обязательную для исследователя, она с великолепной непринужденностью перешла грань, отделяющую литературоведение от литературы. Так возникла ахматовская проза, уникальная, как ее стихи, со скользящей ахматовской иронией, с победительным ритмом, величественным лаконизмом, обжигающей страстностью.

– Пушкин для нее никогда не умирал, – говорил Толя, – она знала его биографию со всеми ее причудливыми изгибами так же хорошо, как и его творчество. Она переживала пушкинские горести и печали, как свои собственные. Она остро, по-бабьи, жалела его за то, что он совершил роковую ошибку, женившись на предавшей его Наталье Николаевне. Анна Андреевна сама выбрала Пушкину жену. По ее мнению, идеально подходила ему Екатерина Ушакова, которая его любила, понимала и не предала бы никогда.

Как-то я спросил, как он относится к бытовавшей одно время версии о том, что в день дуэли у Дантеса под сюртуком была кольчуга, спасшая ему жизнь.

– Чепуха, – сказал Толя резко. – Анна Андреевна версию эту решительно отвергала, хоть и ненавидела Дантеса всей душой. Дантес подлец, конечно, но не трус. Дворянин, шуан, кавалергард и помыслить не мог ни о чем подобном. И дело не только в кодексе дворянской чести. Риск был слишком велик. А если бы об этом узнали? Дантес был бы тогда конченым человеком. Не только в России – везде.

Запись в дневнике 15.8.1974: *Ее последняя – и самая страстная в жизни – любовь: Исайя Берлин. Роман начался (и тут же кончился, он вернулся в Британию), когда ей было примерно 56 лет. Она считала, что он причина распятий 46 года.*

*За тебя я заплатила чистоганом.
Ровно десять лет ходила под наганом.
Ни налево, ни направо не глядела,
А за мной худая слава шелестела.*

Вся поздняя лирика Ахматовой посвящена И. Б. Она увиделась с ним в Лондоне за год до смерти. Что было за свидание? Что за разговор? Тайна. И останется тайной. Она любила его до последней секунды... Писала о своем тайном браке с ним, о браке, скрытом и от людей, и от Бога.

Тут не избежать маленького отступления.

Судьба к человеку равнодушна. Она для него не делает абсолютно ничего. Человек же готов на все, чтобы его судьба выглядела величественнее, роскошнее, благороднее, чем это есть на самом деле. Сэр Исайя Берлин в этом смысле редчайшее исключение, ибо судьба сама добровольно пошла к нему в служанки. Он ради этого и пальцем не пошевелил. Она же до конца его долгой жизни продолжала осыпать его своими дарами. Берлин и кавалер самых почетных орденов, и лауреат всех мыслимых наград и премий. В коллекции его только Нобеля не хватает.

Принимая премию Иерусалима из рук мэра Тедди Колека, Берлин сказал: «По крови я еврей. По воспитанию англичанин. А по неистово-пристрастному отношению к культуре – русский».

Встреча Берлина с Ахматовой в ноябре 1945 года в Ленинграде стала самым пронзительным событием его жизни, и, как

он сам отметил, навсегда изменила его внутренний кругозор. Именно эту встречу считал он ценнейшим даром судьбы. Посвящением же ему шедевров ахматовской лирики дорожил чрезвычайно, ибо сознавал, что из всех пропусков в бессмертии – этот самый надежный.

* * *

– Толя, – говорю после очередной партии в шахматы, – роман Анны Андреевны с «гостем из будущего» носил, разумеется, платонический характер. Он ведь запоздал с рождением. Был на целых двадцать лет моложе. И это досадное несовпадение...

– Ровным счетом ничего не значит, – перебивает Толя и надолго замолкает. Раскуривает трубку. Колеблется, продолжать ли разговор на столь щекотливую тему. Но продолжает. – Анна Андреевна из тех женщин, что не имеют возраста. Те, кто знали ее в те годы, говорят, что она все еще была очень хороша. Но мы не имеем права рассуждать об этом. Скажу только, что возникновение Берлина среди «мрака и ужаса» тех дней она восприняла как настоящее чудо. Он же сразу понял, насколько она неповторима и замечательна, и этого ничто не могло изменить. Стерлись грани между мыслимым и немыслимым. Оба всю жизнь ждали чего-то невыразимого, какого-то невероятного потрясения. В царстве, которым правил всемогущий упырь, Берлин встретил гонимую, преследуемую королеву. Прекрасную Даму, олицетворявшую скорбь и гордость. Ту самую, которую всю жизнь искал Владимир Соловьев и воспел Блок. Это не они нашли друг друга, а их души, вступившие в небесный брак... Анна Андреевна не пожелала встретиться с ним, когда он вновь приехал в Россию в 1956 году, потому что Берлин к тому времени успел жениться. Для нее это было равнозначно осквернению таинства их отношений. А, может, потому с ним не встретилась, что стала уже грузной, располневшей, и не хотела, чтобы он такой ее запомнил. Факт, что женитьба Берлина не помешала их встрече в Лондоне за год до ее смерти...

В той же дневниковой записи 15.8.1974: *Мария Петровых не оценила Мандельштама как поэта только потому, что он за ней так энергично ухаживал, а она его – как мужчину – не воспринимала. Был у нее роман с Пастернаком в Чистополе. А потом насмерть полюбила Фадеева.*

Марию Сергеевну Петровых Якобсон высоко ценил и как человека, и как поэта. От него я узнал, что стихотворение Мандельштама «Мастерица виноватых взоров» – шедевр русской лирики всех времен – посвящено ей. На мой недоуменный вопрос: как же она могла не отдать должное такому поэту, Толя, усмехнувшись, ответил именно так, как записано в его дневнике:

– Могла, потому что не воспринимала его как мужчину. И до лампочки ей была вся его гениальность. Женщины ведь любят не за что-то, а почему-то.

Запись в дневнике 12.8.1974: *Эпизод с чемоданом (пусть немец несет) – «А. Солженицын. Архипелаг Гулаг». Нечего валить на офицерскую школу, нечего валить на советскую власть. Вы по природе своей – танк, но очеловечиваетесь постепенно. Желаю дальнейших успехов на этом поприще.*

А. А. рассказывала мне. Исаич пришел и прочел свои стихи (она мне: «вириши»). Она: «Не кажется ли вам, что в поэзии должна быть какая-то тайна?». Он: «А не кажется ли вам, что в вашей поэзии чересчур много тайны?»

– Лишь советский жлоб мог сказать А. А. такое, – негодовал Толя, вспоминая этот эпизод. – Солженицын не понимал, что поэзия и проза абсолютно разные вещи. Толстой в юности тоже писал стихи, но ведь Фету их не показывал.

Прозаическая «продукция» Солженицына тоже оставляла Толю равнодушным. Безоговорочно принимал он только «Архипелаг Гулаг».

– Тебе не кажется, – спросил я как-то, – что получи Солженицын Ленинскую премию за «Ивана Денисовича», – и стал бы он преуспевающим, слегка фрондирующим советским писателем? И не было бы ни «Архипелага», ни Нобеля, ни высылки.

– Нет, – с ходу отmel Якобсон. – Солженицын еще с лагерных времен ощущал в себе пророческий зуд. Он все равно попытался бы влиять на режим. А поскольку любая эволюция с этим режимом несовместима, то и конфронтация его с Солженицыным была неизбежной. Он обронил где-то в «Теленке»: «Я – меч в руках божьих». Кредо – жутковатое, освобождающее человека от нравственного самоконтроля...

С Лидией Корнеевной Толя дружил, переписывался, часто звонил ей в Москву. Иногда из моего дома. На моих глазах пробежала между ними «черная кошка»:

– Прощайте, Лидия Корнеевна, – сказал он сдавленным голосом, бросил трубку и, даже не взглянув на меня, выскочил из дома с такой быстротой, словно за ним гнались фурии.

Толя, как оказалось, пытался убедить Лидию Корнеевну в том, что человек, пользующийся ее безусловным уважением и доверием, этого не стоит. Но разве можно добиться такого на разделяющем расстоянии в тысячи километров?

Из современных поэтов Якобсон выше всех ставил Давида Самойлова, близкого своего друга, и сердился на меня из-за прохладного отношения к его музе. Пытаясь меня переубедить, Толя часами читал вслух его стихи. Слушал я охотно, но оставался при своем.

Как, впрочем, и Якобсон в оценке Бродского. Его стихов после 1968 года не любил. Не принимал. Я спорил до хрипоты, убеждал, доказывал.

– Ну, прочти вслух стихи, которые тебя особенно впечатляют, – предлагал он. Я читал. Он морщился:

– Вместо поэтики движения – риторика, ораторство. У него форма управляет воображением, а дело ведь не в технике, пусть даже восхитительной. Нет у него прозрений, без которых не может быть великой поэзии. Ну-ка прочти еще раз это вот, любимое твое: «На смерть друга».

Стихи он всегда слушал внимательно, даже если они ему не нравились. С чуть насмешливой улыбкой сказал:

– Ритмическое облачение великолепно. Стих течет, переливается, искрится, держится на одном дыхании. Но, скажи на милость, как понимать вот эти строчки: «где на ошупь и слух наколол ты свои полюса / в мокром космосе злых королек и визгливых сиповок»? Что такое королек, знаешь? А сиповка? Нет? Я так и думал. Женские гениталии на блатном жаргоне. Так к чему вся эта риторика?

Дневниковая запись 21.12.1977: *Пастернак и Мандельштам – вершины метафорического письма и его преодоление. Ахматова – сплошное преодоление. Бродский – его декаданс. Поначалу в ярко талантливом проявлении; чем дальше, тем больше в виде собственного упадка. По слабеющим следам Бродского, зверя сильного, идут шакалы, пожирающие его отбросы, отходы, затем извергающие их в виде собственного творчества (не такова ли вся ленинградская молодая плеяда? И молодая Москва небось не чище. Стервятники.)*

Незадолго до смерти он, продолжая наш незавершенный спор, прочитал мне отрывок из последнего письма Лидии Корнеевны. Цитирую по памяти, но за смысл – ручаюсь: «Не понимаю, что сделало Бродского первым поэтом своего поколения. Почему во многих интеллигентных домах Москвы и Ленинграда висят его портреты. Передо мной лежат четыре его сборника. Мне его стихи кажутся на грани гениальности и графомании. Разъясните, пожалуйста, в чем тут дело».

– Ну, – спрашиваю, – и что же ты ей напишешь?

– А то и напишу, что грань перейдена, только не в ту сторону, – сердито ответил Толя.

* * *

Поэтом-переводчиком он был превосходным. Стихи Лорки, Эрнандеса, Готье, Верлена в его переводах равнозначны подлиннику. Якобсон изумительно чувствовал взаимосвязи между звуковым обликом и тематикой, между пульсирующим движением стиха и смыслом, и воспроизводил их с блистательной виртуозностью. Он находил точные языковые эквиваленты для передачи тончайших особенностей оригинала: тональности, регистра речи, образности, ритма, колорита и т. д.

Как-то рассказал я ему, как искал Апта, – великолепного переводчика европейской прозы. Дело в том, что роман Томаса Манна «Иосиф и его братья» поразил меня не только сам по себе, но еще и мастерством перевода.

Апт добился настоящего чуда. Воссоздал до мельчайших деталей величественный собор Манна, используя совсем иной строительный материал. Вот я и решил, что тот, кто так владеет языковыми ресурсами, обязательно должен сам творить. Занялся поисками – и нашел аптовское оригинальное «творение». В библиотеке Иерусалимского университета оказалась его книжка «Жизнь и творчество Томаса Манна». Уже одно название не сулило ничего хорошего. Так и оказалось. Я открыл ее – и похолодел. Мертвые слова не давали ни малейшего понятия об истинных возможностях этого человека.

– Да, – сказал Толя, – есть люди, которые могут творить, лишь когда ими руководит чужая воля, помноженная на талант и воображение. А я в поэзии – чем не Апт? Ты, например, в восторге от моих переводов. И не только ты. А вот собственно поэтического голоса у меня нет. Хорошо хоть, что это не главное занятие в моей жизни...

В Израиле Якобсон только один раз вернулся к любимой когда-то работе. По моему подстрочнику перевел он стихотворение Мицкевича «К русским друзьям». И как перевел!

С риском быть обвиненным в тщеславии, отмечу, что эта Толина работа посвящена мне. На переводах посвящение не ставится. Это – невидимый орден. Носить нельзя, а гордиться можно.

К РУССКИМ ДРУЗЬЯМ

*Вы – помните ль меня? Когда о братьях кровных,
Тех, чей удел – погост, изгнание и темница,
Скорблю – тогда в моих видениях укромных,
В родимой череде встанут и ваши лица.*

*Где вы? Рылеев, ты? Тебя по приговоре
За шею не обнять, как до кромешных сроков, –
Она взята позорною пенькою. Горе
Народам, убивающим своих пророков!*

Но к тажке при

*Бестужев! Руку мне ты протянул когда-то.
Царь к тачке приковал кисть, что была открыта
Для шпаги и пера. И к ней, к ладони брата,
Пленённая рука поляка вплоть прибита.*

*А кто поруган злей? Кого из вас горчайший
Из жребиев постиг, карая неуклонно
И срамом орденов, и лаской высочайшей,
И сладстью у крыльца царёва бить поклоны?*

*А может, кто триумф жестокости монаршей
В холопском рвении восславить ныне тщится?
Иль топчет польский край, умывшись кровью нашей,
И, будто похвалой, проклятьями кичится?*

*Из дальней стороны в полночный мир суровый
Пусть голос мой предвестьем воскресенья
Домчится и звучит. Да рухнут льда покровы!
Так трубы журавлей вещают пир весенний.*

*Мой голос вам знаком! Как все, дохнуть не смея,
Когда-то ползал я под царскою дубиной,
Обманывал его я наподобье змея –
Но вам распахнут был душою голубиной.*

*Когда же горечь слёз прожгла мою отчизну
И в речь мою влилась – что может быть нелепей
Молчанья моего? Я кубок весь разбрызну:
Пусть разъедает желчь – не вас, но ваши цепи.*

*А если кто-нибудь из вас ответит бранью –
Что ж, вспомню лишний раз холопства образ жуткий:
Несчастный пес цепной клыками руку ранит,
Решившую извлечь его из подлой будки.*

Тут опять не избежать отступления.

Якобсон не был пушкинистом. Сфера его литературоведческих интересов ограничивалась двадцатым веком. Но любовь к Пушкину – та самая лакмусовая бумажка, по которой безошибочно узнаешь российского интеллигента, – была у него в крови.

Все пушкинское знал превосходно. Читал его всю жизнь, говорил, что никогда не надоедает. Однажды я пожаловался, что не могу разгадать цензурную загадку в стихотворении «П. Б. Мансурову».

Павел Мансуров, приятель Пушкина еще с лицейских времен, офицер конно-егерского полка, был влюблен в воспитанницу школы благородных девиц Крылову. Строгие нравы этого заведения препятствовали интимной близости, и Пушкин утешает приятеля:

*Но скоро счастливой рукой
Набойку школы скинет,
На бархат ляжет пред тобой
И раздвинет.*

– Толя, говорю, не могу найти выброшенного цензурой слова. Что раздвинет? Тут какое-то ритмическое прокрустово ложе. Мое скудное воображение бессильно.

– Ты не там ищешь, – засмеялся Якобсон. – Не что, а чем. Цензура выбросила невиннейшее слово «пальчиком», потому

что оно придавало концовке стихотворного послания совсем уж неприличный смысл.

Наши литературные разговоры часто шли по пушкинской орбите.

Меня же тогда интересовали сложные отношения Пушкина с Мицкевичем. Я даже написал довольно обширную работу на эту тему, затерявшуюся в кутерьме и неустроенности последующей моей жизни. А жаль, потому что запечатлелся в ней отголосок тогдашних наших бесед. После стольких лет я могу лишь весьма отдаленно восстановить их содержание и тональность: дружба двух великих славянских поэтов – сказочка, придуманная советскими литературоведами.

Пушкин ставил Мицкевича как поэта выше себя, восхищался его импровизаторским даром. Импровизатор не творит, а растворяется в неземной силе, говорящей его устами, что воспринималось Пушкиным как высшая и чистейшая форма поэзии.

Но к 1828 году, на который выпадает их основное общение, Пушкин еще не распрощался с безумствами своей юности, цеплялся за нее – уходящую. Его тяготила нравственная безупречность Мицкевича, его мрачная духовная мощь. В польском поэте было что-то от пророка, а пророки мрачны, ибо души их улавливают из будущего тревожные импульсы.

Импровизатору в «Египетских ночах» Пушкин придал черты Мицкевича, – и какой же он там неприятный. К тому же Мицкевич, всецело поглощенный национальной идеей, отличался особой цельностью, основанной на единой внутренней системе виденья. Пушкину подобная цельность была чужда. В его светлом даровании, настезь распахнутом перед многоголосием мира, нет ничего пророческого. И если Мицкевич – воплощение эпичности, то Пушкин – гармонии. Сфера первого – мысль. Сфера второго – чувство.

Чувство и сблизило поэтов. Оба увлеклись польской красавицей Каролиной Собаньской, – женщиной с «огненными глазами». Друзья называли ее «демоном». Друг Пушкина Соболевский говорил, что была в ней какая-то странная томительная истома, превращавшая мысль о возможности обладания этой женщиной почти в наваждение. Собаньская не упустила случая увенчать список своих побед именами двух великих поэтов. Оба обессмертили ее своими стихами. Оба чувствовали в ней какую-то тайну, которую им не суждено было разгадать.

Тайна раскрылась после революции, когда стали доступны для исследователей архивы царской охранки. Выяснилось, что Собаньская была штатным агентом Бенкендорфа и снабжала третье отделение доносами на своих ближайших друзей, в том числе и на Пушкина с Мицкевичем.

Общение славянских поэтов шло в двух плоскостях: поэтической, – Пушкин даже перевел несколько стихотворений Мицкевича, и чувственной, – страсть обоих к «демону».

В 1829 году Мицкевича выпустили из позолоченной петербургской клетки, и он уехал за границу. Потом грянуло польское восстание, жестоко подавленное. Пушкин, вообразивший на какое-то время, что поэт обязан быть «рупором народным», лягнул падшую Польшу в двух стихотворениях: «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Для Мицкевича не прошло незамеченным это глумление над его отчизной, что и отразилось в стихотворном послании «К русским друзьям».

Мицкевич прямо имени Пушкина не упоминает, но тот имел все основания отнести на свой счет хотя бы вот эти две строчки: *«А может, кто триумф жестокости монаршей / В холопском рвении восславить ныне тщится?»*

Никто и не тщился, кроме Пушкина...

Общение Пушкина с Мицкевичем перешло в дальнейшем в сферу политическую, хоть и выражалось поэтическими средствами.

Концовка стихотворения Мицкевича исключала возможность прямого ответа, и Пушкин отвечает ему косвенно, в «Медном всаднике», где полемизирует с оценкой исторических перспектив России, содержащейся в «Дзядях».

Нравственная позиция Мицкевича была неуязвима. Пушкин это понимал. Но упрек Мицкевича сидел в нем, как заноза, от которой следовало избавиться. Это произошло лишь в 1834 году, когда Пушкин создал стихотворный набросок «Он между нами жил», завершающийся так: *«— Но теперь / Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом / Стихи свои, в угоду черни буйной, / Он напояет. — Издали до нас / Доходит голос злобного поэта, / Знакомый голос! Боже! Освяти / В нем сердце правдою твоей и миром / И возврати ему».*

— Как жаль, что стихотворение осталось незаконченным, — сказал я. — Что «возврати»? Что имел в виду Пушкин? Тут — обрыв.

— Оно закончено, — возразил Толя. — Пушкин просто не хотел повторять то, что уже написал в «Борисе Годунове»: *«Да ниспошлет Господь любовь и мир / Его душе страдающей и бурной».* Пушкин, конечно же, понимал правоту Мицкевича, и, упрекая его, на самом деле упрекал себя. Ведь это он, в «угоду черни буйной», «ядом напоял» свои антипольские стихи. Ты знаешь мое отношение к Пушкину, но в их споре я целиком на стороне Мицкевича. Да и Пушкин, по сути, был на его стороне, — быть может, сам того не сознавая.

«Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» — далеко не лучшие пушкинские творения. А вот «К русским друзьям» — шедевр европейской лирики. И я обязательно переведу Мицкевича, как только получу от тебя подстрочник. Не оставлять же в хрестоматиях перевод Левика.

Перевод, о котором упоминает Якобсон, действительно считался хрестоматийным в Советском Союзе, хоть Левик и не удалось воспроизвести ритмическую поступь и интонационную динамику оригинала. Местами он даже умудрился исказить ход мысли

автора. У Мицкевича сказано: «...klatwa ludom, co swoje morduja proroki...». (Дословно: «...проклятье народам, убивающим своих пророков»). А Левик переводит: «проклятье палачам твоим, пророк народный», не только упрощая, но и искажая Мицкевича. Перевод же Якобсона – не слепок с оригинала, а живое воспроизведение, пусть и не воссоздающее в мельчайших деталях каждую подробность подлинника, зато обладающее теми же качествами.

Завершив работу над переводом Мицкевича, Якобсон еще успел отправить его в Москву Лидии Корнеевне, мнение которой ценил чрезвычайно. Оценка Л. К. его обрадовала, хотя ее критических замечаний – не принял, и продолжал считать строфы о Рылееве и Бестужеве своей творческой находкой.

Чуковская писала: «Итак, о Мицкевиче: прочла Ваш перевод. Он замечателен богатством словаря академического и переводческого; такие словесные находки, как «погост», «череда», и «срам орденов» (браво!), «вещают пир». Да и кроме словесного богатства – поступь стиха передает величие, грозность. Но и недостатки представляются мне существенными. Две ударные строфы: о Рылееве и Бестужеве, не ударны, не убедительны, потому что синтаксически сбивчивы. «Рылеев, ты?» Найдено очень сердечно, интимно, а дальше – «она (шея) взята позорною пенькою» – сбивчиво, и вся строфа искусственна. То же и Бестужев. Даже до смысла я добралась не сразу, запутавшись в руке и кисти, тут синтаксис нарушен, то есть дыхание. ...Перевод Левика ремесленная мертвечина, механическая. Вы его кладете на обе лопатки. Рядом с Вашим он похож на подстрочник».

23 февраля 1842 года друг Пушкина Александр Тургенев, брат «хромого Тургенева» из декабристских строф «Онегина», записал в своем дневнике: «На последней лекции я положил на его (Мицкевича) кафедру стихи Пушкина к нему, назвав их «Голос с того света»».

Этот список стихотворения «Он между нами жил» с надписью Тургенева хранится сегодня в музее Мицкевича в Париже.

Так уж получилось, что надпись эту, – «Голос с того света» – можно отнести и к переводу стихотворения «К русским друзьям», сделанному Анатолием Якобсоном незадолго до смерти.

* * *

Знакомых у него была уйма. А вот друзей близких здесь, в Израиле, не так уж много. До конца близким человеком была его первая жена Майя. Привязан он был к Володе Гершовичу, которого знал еще по той, московской жизни.

Был у него «медовый месяц» с Эли (Ильей) Люксембургом. Помню, пришел – и с порога:

– Илья написал крепкий рассказ «Боксерская поляна». – В глазах светилась радость за товарища.

А однажды явился какой-то странный:

– Я сейчас с Ильей дрался, – говорит.

– Как – дрался?

– А так. Предложил ему поддержать меня на лапах. Побоксировать. Ну, надели перчатки. Работаем в салоне. Все нормально. Вдруг Илья – бац, бац – наносит несколько молниеносных ударов поверх моих перчаток. И смотрит с любопытством. Как, мол, прореагирую? Кровь бросилась мне в голову. Ладно, думаю, минуты две продержусь. И ринулся в рубку. Картины полетели. Ханка завизжала.

– Ну и дальше что? – спрашиваю. Мне уже интересно.

– Илья, конечно, не провел знаменитого своего апперкота, – с каким-то даже сожалением говорит Толя. – Прекратил бой.

Так рассказывал московский боксер-второразрядник Анатолий Якобсон о единственном своем бое в Израиле. И не с кем-нибудь, а с самим Ильей Люксембургом, мастером спорта, полуфиналистом Союза, встречавшемся когда-то на ринге со знаменитым Агеевым.

Потом их дружба пошла по ухабам, опрокинулась, разбилась. Но пусть лучше об этом скажет сам Эли Люксембург:

«Первый серьезный разрыв у нас вышел из-за «Прогулки в Раму». Он был первым читателем этой вещи. Я вообще отдавал на его суд – последний и первый, все, что шло у меня в ту пору.

Меня удивила его оценка. Абсолютное неприятие, я бы сказал – генетическая ко мне враждебность: «Ты этот рассказ не должен печатать, ты лучше его порви. Вся идея его антигуманная, фашистская. Я только не понимаю, как ты его написал, именно ты!»

Я что-то ему возражал. Что выразил этой вещью многою муку, многою боль, что схоронил этим многих своих чертей, мучавших совесть – изгнал их и выдрал. Что больше там нет ничего. Больше там нечего ему искать. ...Уже тогда я все понимал: моя духовная биография, взращенная на повелениях и предсказаниях наших пророков, чье исполнение состоялось на мне, на нашем с ним поколении, моя мораль столкнулась с его моралью – русского демократа, всосавшего в себя чуждые мне соки православной религии, и вот на этом стыке возникла искра, яркая вспышка. И эта вспышка доводила нас обоих впоследствии до бешеной ярости».

Толя не принял узловую идею рассказа «Прогулка в Раму».

Автор размышляет там о последствиях непослушания царя Саула воле Господней, возвещенной ему пророком Самуилом: «Иди и порази Амалека и истреби все, что у него – от мужа до жены, от отрока до младенца, от вола до овцы». Саул же и народ пощадили Агага, царя амалекийян. А тот, прежде чем убил его Саул по настоянию Самуила, успел познать женщину, и от семени его пошли заклятые враги Израиля. Злокозненный Аман, например.

По Люксембургу, все наши беды – от своеволия, оттого, что кислотой скептицизма нашего мы волю Господа проверяем, – а это грех наказуемый. Ибо ведает Он, что творит, а мы – не ведаем.

Якобсон же размышлял подобно Саулу, который, согласно Агаде, воззвал к Вседержителю: «Господи! Если погрешил человек, чем повинно животное? Если грешны взрослые люди, чем дети виновны?»

Люксембург, однако, не прав, утверждая, что Якобсон «всосал» чуждые соки православной религии. Христианство Толю интересовало лишь как компонент европейского культурного мегаполиса. Иудаизм был ему несравненно ближе.

Запись в дневнике от 28.3.1978: *Католическая церковь: нет спасения вне церкви. Талмуд: у праведников народов мира есть доля в загробном мире. Отмечу, что благородно – демократическая традиция в иудаизме, безусловно, фундаментальна: «люблю труд и ненавижу барство» (Талмуд, Поучения отцов, гл. 1. 10).*

Иное дело, что Толя был сомневающимся атеистом.

Запись в дневнике 21.8.1974: *Бог. Сперва: нет; потом: может быть, есть; теперь: «может быть» еще сильнее. Но верующим не стал и не стану.*

Для истинно верующего еврея каждое слово в Библии священо. Неверующий же найдет сколько угодно поводов, дабы усомниться в ее божественном происхождении. И действительно, чего там только нет: и истребление младенцев, и уничтожение под корень целых племен, и ложь, и клятвопреступления, и прелюбодеяния, и братоубийство. Но все грубое, плотское, земное растворяется в небесном свете, пронизывающем священную книгу. Для того, чтобы это почувствовать, совсем не обязательно быть верующим.

Якобсон высказывался на эту тему примерно так:

– Если Бог существует, то Он абсолютно непостижим для человеческого разума, ибо ущербное не может постичь совершенства. Люди в состоянии мыслить о Нем только в категориях персонификации. Он должен восприниматься как личность, чтобы к Нему можно было возносить молитвы. Пусть всеобъемлющая, всеблагая, совершенная, вечная, бесконечная, – но личность. Ведь если это не так, то и молиться некому. С другой стороны, и Он, вступая в общение с нами, должен снижаться до примитивных наших понятий и представлений. Иначе как Его поймут?

Ну а личности, будь она даже первоосновой всего сущего, можно противопоставить другую личность.

Запись в дневнике 20.12.1977: *Мне бы мимо Господа Бога как-нибудь стороной пройти. Я его не знаю, не ведаю – и ему бы,*

благодетелю, про меня забыть: не казнить, не жаловать. Он сам по себе, я сам по себе. Так бы всего душевнее.

Любил он и Гришу Люксембурга, брата Эли, барда и поэта, за по-детски чистое восприятие мира и жизни. Гриша, когда его призывали на сборы, брал Толю с собой. Никаких проблем не возникало, потому что его и там все любили. Толя возвращался посвежевший, поздоровевший. С гордостью рассказывал всем, что был в армии. ЦАХАЛ считал удивительным инструментом, созданным еврейским гением.

* * *

Дурное предчувствие сбывается, когда причина его – тревожный сигнал из будущего, случайно воспринятый душой.

Летом 1976 года на военных учениях в Негеве странное чувство обреченности вдруг овладело мной. Это длилось несколько дней и было похоже на смертную истому. Никогда прежде я не испытывал ничего подобного. Мне было до жути ясно, что моя смерть – здесь, за ближайшим барханом, в том уже подступающем будущем, которое вот-вот исчезнет для меня.

Помню порывистый ход бронетранспортера, свирепое солнце, звон жары и онемевшие мои пальцы на рукоятке пулемета. Потом удар – и провал – в небытие.

Очнулся я уже в больнице. Левая рука, прикрывшая бок, и принявшая на себя всю силу удара, висела на коже. Перерубленные ее кости спасли мне жизнь. Операцию сделали сразу, хоть я все еще был в болевом шоке. А когда отошел наркоз, то первое, что увидел, было встревоженное Толино лицо. В палату никого не пускали, но он прорвался.

– Тебе сейчас нельзя, – сказал он торопливо. – Потом подлечишься. – И неловко сунул мне под подушку бутылку бренди.

* * *

«К предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи», – процитировал я Ахмадулину, когда мы говорили о Сергее Хмельницком. Меня интересовала эмбриология предательства. Этот бывший Толин товарищ, археолог и поэт, оказался стукачом, посадившим нескольких своих друзей.

– Да ничто ему глаза не туманило, – сказал Толя с явной неохотой. – Просто не было в нем такого стержня, на котором держится душа.

– Но все же, – не уступал я, – как пошел на такое человек умный, талантливый? Ради чего загубил он и свою жизнь?

– Да ни ради чего, – Толя уже стал раздражаться. Он не любил говорить на эту тему. – В юности, еще в школе, поймали его на

крючок. Вызвали куда надо, запугали, взяли подписку. Вот он и стал стучать. А вырваться из капкана – души не хватило. Вот и все.

Для Толи Хмельницкий был похоронен и залит бетоном.

Но иногда, засидевшись за бутылкой, Толя читал по моей просьбе одно стихотворение Хмельницкого, которое я, находясь под воздействием алкоголя, тщетно пытался запомнить:

*Все мы, граждане, твердо знаем,
Что в начале седьмого века
Под веселым зеленым знаменем
Шел пророк из Медины в Мекку*

*И неслись на рысях номады,
По степям, дорогой короткой,
За посланником Мохаммадом,
Молодым, с подбритой бородкой.*

И так далее. Трезвым Толя никогда Хмельницкого не читал, и просить его об этом было бесполезно.

* * *

Я благодарен Диме Сегалу, выбившему Толе ставку в университете, избавившую от нужды. Но, боясь чего-то, вероятно, его болезни, Толе наглухо закрыли общение с аудиторией, не дали читать лекции. А ему, так любившему живое слово, это было жизненно необходимо.

И он «ушел в подполье», стал организовывать научные семинары у себя дома. Но получать даром университетские деньги – не хотел. Не из тех Толя был людей, что довольствуются синекурой. Он, не выносивший новые литературоведческие школы, – структурализм, прочие «измы», и вообще всяческие попытки «поверить алгеброй гармонию», в последний год жизни дал оппонентам сражение на их поле – и выиграл. Изначальной силой своей природы преодолевая болезнь, написал Толя совсем не «якобсоновскую» работу «Вахханалия» в контексте позднего Пастернака».

Вот она лежит передо мной с надписью автора:

*Когда я, изгнанный со службы,
Пойду в запое по миру,
Припомню, как во имя дружбы
Дарил такое Фромеру.*

Работа эта отличается академичностью и холодным отточенным мастерством. Смотрите, – как бы говорит Якобсон своим оппонентам, – я могу делать то же, что и вы. Только лучше.

В «Вахханалии» Якобсон вскрыл один из существеннейших мотивов широкого многоголосия поэзии Пастернака, составляющего живую ткань его поэтической вселенной.

* * *

В последний год жизни Толя женился на Лене Каган. Дней ему оставалось уже не много, и она внесла в них радость, пусть печальную, похожую на тонкий луч, скользкий по стылой глади пруда. Ей, а иногда и Глебу, огромному сен-бернару, к неудовольствию Тома появившемуся в их маленькой квартире, писал Толя шуточные стихи, составившие целый сборник.

Впрочем, не такие уж шуточные. Помню, меня поразило и заставило задуматься одно из стихотворений, написанное за три месяца до смерти:

ДИАЛОГ

*Не жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
А поскорей хочу концы отдать.
Горька, сладка ли – чарочка испита.
Откинуть бы, не суетясь, копыта.
Но кто-то востроглазенький и злой
Подмигивает: «Значит – с плеч долой?
Определим сюжетец: дезертиру
Приспичило в отдельную квартиру».*

В последние свои месяцы он все чаще возвращался к мыслям о смерти. Говорил, что смерть это естественное прекращение слепого движения жизни. А как и когда это происходит – не столь уж существенно. В какой-то момент мы исчезаем вместе со всей Вселенной. Вот и все.

Он не только не верил в загробное существование, – он этого смертельно боялся. А что если человек тащит за собой *туда* бремя не только грехов своих, но и страданий?

Запись в дневнике 28.6.1978: *Койка – покой – покойник. От – дых. Отдыхался – окончательно отмаялся, отмучился. Подлинная полнота – полнота небытия. Нет ничего страшнее мысли о загробном инобытии. Ужас, если не в ничто, не в никуда, не в никогда.*

* * *

Болезнь прогрессирует, причиняя ему ужасные, почти непрерывные мучения. Его болезнь – это физическая боль души.

Запись в дневнике 10.8.1978: *Очень жалко, что у меня нет души, а то бы я вынул ее, как зубы, и положил в воду, и у меня бы ничего не болело. Почему это н и ч т о так болит?*

Уже не освежает короткий сон, похожий на забытие. Страдания непрерывны, пронзительны. Но безмерному страданию соответствует неизмеримая сопротивляемость. Постепенно она начинает ослабевать.

Близится роковой день 28 сентября.

Периоды депрессии становятся все тяжелее. Все реже сменяет ее иллюзорная, не дающая душе отдыха эйфория.

В тот последний день я работал с двенадцати. В 11 позвонил Толя. «Вовка», – произнес он – и замолчал. Через пять минут я был у него. Он открыл спокойный, побритый, с ясными глазами. С обрадовавшей меня убежденностью сказал:

– Мне уже намного лучше. Зачем ты приехал. Тебе ведь – на работу. Заходи вечером.

– Да ладно, – говорю. – А Ленка где?

– На базаре.

– Я, пожалуй, ее дождусь.

– Не стоит. Ну, если хочешь, подвигаем шахматшки.

Сели к столу, и он прибил меня быстро, в блестящем стиле, с жертвой коня. И я успокоился. И ушел. Не насторожило и то, что в дверях, прощаясь, он вдруг обнял меня...

Потом мы вычислили, что повесился он в тот короткий период в 40 минут между моим уходом и возвращением Лены. Поздно вечером Майя нашла его в подвале, висящим на поводе Глеба.

По Москве долго кружила версия, что в свой последний день Толя играл в шахматы с товарищем, проиграл, потом долго искал его, чтобы взять реванш, и, не найдя нигде, – повесился.

Свидетельствую, что последнюю шахматную партию в своей жизни он выиграл.

* * *

Приблизительно через месяц после его смерти поздно вечером приехал ко мне Гриша Люксембург.

– Пойдем навестим Толю.

Вижу, в кармане у него бутылка.

– А не поздно? – спрашиваю. Гриша пожал плечами.

Кладбище на Масличной горе под ночным небом, похожим на опрокинутую черную чашу, расцвеченную равнодушными далекими огоньками. Угрожающие бесформенные очертания надгробий, напоминающих серых животных. Ищем могилу на ощупь. Нашли вроде. А вдруг не она? Темно, жутковато.

– Гриша, – говорю бодрым голосом, – тут же Толя. Он нас в обиду не даст.

– Да, – подхватывает Гриша, – пусть только попробуют. Он их так причешет.

Гриша разлил и выплеснул остаток на сухую, каменистую, давно остывшую землю.

* * *

Он пришел ко мне через полгода. Во сне.

Квартира, в которой полно народу. Какая-то вечеринка. Вдруг входит Толя – быстро, по-бычьи нагнув голову. Он в синей курточке. Ворот рубахи расстегнут. На шее – багровый рубец. Все его радостно приветствуют, никто не удивляется. Завязывается оживленный разговор. Он медленно, с наслаждением набивает трубку. Закуривает. Я не могу глаз оторвать от его лица. Молчу. А он меня как бы и не видит.

Вдруг все исчезают. Мы одни. Он взглядывает на меня исподлобья – и спрашивает:

– Ты ведь знаешь, что я умер?

– Знаю, – говорю, – я ведь тебя хоронил. – Делаю движение к нему, пытаюсь обнять, но он знаком показал, что этого – нельзя. Тогда я тихо произношу:

– Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть. И, значит, есть загробная жизнь?

– Есть, – отвечает сразу, словно ждал этого вопроса, – но совсем не такая, какой ее представляют люди.

– Хорошо ли тебе там?

Он медлит с ответом.

– Фигово. Нельзя ни выпить, ни бабу поиметь.

– А их ты видишь?

– Кого?

– Анну Андреевну. Маму.

Он не ответил, наклонившись, раскурил трубку – и вдруг исчез.

Трубочный дымок еще долго поднимался к потолку, но его уже не было.

Вскоре началась самая тяжелая полоса в моей жизни. Думаю, он приходил предупредить меня.

Зоя Копельман

ИЗ ТЕСНИН

Стихотворение Пушкина «Красавица», особенно его заключительная часть: «Куда бы ты ни поспешал, Хоть на любовное свиданье... Но, встретясь с ней, смущенный, ты Вдруг остановишься невольно, Благоговая богомольно Перед святыней красоты» – на мой взгляд весьма точно описывает ситуацию, в которой порою оказывается литературовед. Эта профессия требует с равным тщанием изучать всякомасштабные произведения: великие, средние, малые, поскольку они составляют подопытный материал сего предмета, однако и литературовед не может не поддаться чарам прекрасного творения, благоговая перед ним, может быть, еще сильнее, поскольку сильнее искушен.

Восторг, изумление, преклонение – вот те чувства, которые, помимо воли, охватывают меня почти всегда, когда я читаю Агнона. Его видение вещей, его опозитизированная ирония, его служение Святому и полновластное распоряжение святым языком – все это заставляет замирать мое сердце и нередко увлажняет глаза слезами. Перефразируя одухотворенные кинематографом гоголевские слова, хочу спросить: любите ли вы Агнона? Нет, любите ли вы его, как я?..

Читая Агнона, я никогда не бываю пассивным созерцателем, я словно вместе с ним участвую в оценке и переоценке еврейской традиции и еврейского универсализма, потому что Аггон всегда страстен, и еврейское у него окрашено своим трансцендентным своеобразием даже в таких, казалось бы, общечеловеческих проявлениях, как родительская и сыновья любовь или отношения между мужчиной и женщиной. Для исследователя упоительно отыскивать подтексты агноновских произведений, но величие их в том, что и без интертекстуальных дополнений они, словно наши сакральные книги, обладают целостностью и смысловой и эстетической завершенностью.

Согласно своему персональному мифу, Аггон родился 9 Ава 1888 года. Могло бы показаться, что он родился в один из самых печальных дней еврейского календаря, но нет – в дате своего рождения Аггон видит символ национального возрождения, выход на волю из «теснин», как называют скорбный период от 17 Таммуза до 9 Ава: «Я родился 9 Ава, по истечении трех скорбных недель, и с тех пор каждый год мне кажется, что мир обновляется в этот день» (из романа «Гость на одну ночь»). Так, синекдохическим представлением еврейского народа во всех его поколениях мыслил себя этот писатель, о чем без ложной скромности сказал в Нобелевской речи в 1966 году¹.

¹ Нобелевскую речь Агнона, можно прочесть в книге «Ш. Й. Аггон. Рассказы». (Пер. на русский язык Н. Файнгольда, Иерусалим, 1985) и в книге «Антология израильской литературы» (Сост. и ред. Е. Римон. СПб., 1998).

Прежде чем вынести на суд читателя новый перевод из Агнона, приведу несколько высказываний писателя – быть может, они позволят составить хотя бы частичное представление о его характере и мировоззрении.

«Вы пишете о предоставляющейся мне хорошей возможности заработать несколько тысяч марок, – писал Агнон редактору Фишелю Ляховеру в 1918 (!) году. – К сожалению, я должен отказаться от этой возможности. В конце концов вся моя жизнь состоит из упущенных возможностей. Ну, может быть когда-нибудь их возместит мне Нобелевская премия».

«...ибо я хотел выправить сердца тех, кто полагает, что если мы улучшим деяния свои, и исправим самих себя, и прочая, и прочая, то станем хорошими, правыми и достойными в глазах мира, и другие народы исполнят наши пожелания. И не понимают они, что даже если мы будем вести себя, как великие праведники и станем похожи на ангелов служения, не станем мы достойными в глазах других народов, потому что они ненавидят нас. И даже те, что не ненавидят нас, не любят нас, потому что чужды мы им и не могут они нас понять» (Три черты. Речь на вечере памяти недавно скончавшегося Берла Кацнельсона, 1944).

Первое публичное мероприятие, в котором участвовал Агнон на второй день после вручения ему Нобелевской премии, была организованная в посольстве Израиля в Стокгольме пресс-конференция, на которой журналисты задали ему, в частности, такие вопросы:²

«– Надо ли быть евреем, чтобы оценить ваше творчество?»

Агнон: *Всякий народ лучше всего знает свою литературу, подобно тому как мать лучше всех знает свое дитя. Однако как мы понимаем хорошую литературу иных народов, так и иные народы могут понять нашу хорошую литературу.*

– Кого из современных писателей, израильских и прочих, вы читаете с интересом?

Агнон: *К сожалению, я перестал читать беллетристику. Может быть, это и нехорошо, но из-за нехватки времени мне трудно читать. Я похож на того графа, о котором его мать говорила: Когда моему сыну хочется о чем-то прочесть, он это пишет.*

– Какова роль писателя в современном человеческом обществе? Какова ваша особая роль в израильском обществе 1966 года?

Агнон: *Я никогда не думал о своей роли ни в одном обществе. Я делаю то, что Господь велит мне делать. Я не вижу для себя никакой роли, я лишь порою описываю людей, которых встречал, в местах, где их встречал, будь то евреи или неевреи».* ♥

² Газета «Ха-Арец», 8.12.1966.

Шницель Йосеф Агнон

СОЮЗ ЛЮБВИ

На берегу моря сидели три старика и грелись на солнышке. Их иссохшие кости дремали в белых одеждах, и тело наслаждалось покоем. Солнечные лучи сияли на их приоткрытых губах, как золотые ключи. Довольны были они и нежились, и наслаждались в молчании. Все трое взошли на Землю Израиля из стран рассеяния. Во все дни свои трудились в торговом деле, но память о святости Земли Израиля не покидала их сердца, и когда состарились, оставили мнимые сокровища, собрались с силами и взошли на Землю Израиля. И уже сподобились помолиться у Западной Стены и распластаться на могилах праведников, и удостоились совершить благодеяния и раздать пожертвования, и жаждали теперь хоть какого-нибудь озарения от святости места сего. И коль скоро устали от зноя, и коль скоро моря омывают Землю Израилеву, спустились в Яффу омыться в море.

В Яффе они остановились на постоялом дворе, тесном от евреев, и там молились вместе со всеми, и занимались святым учением, и пели гимны, и возносили благодарения перед Пресвятым Благословенным. А когда склонялся день к вечеру и истощался жар светила небесного, отправлялись на берег моря, иногда чтоб омыться в нем, а иногда чтобы усладить глаза игрою его цветов. Сидели себе на соломенных циновках, любопытство их друг к другу было уже исчерпано, и добрая улыбка отдыхала на устах их, как у человека, который радуется ближнему своему без всяких слов: хотя я и молчу и ни о чем не говорю с тобою, дорог ты мне и приятно мне соседство твое. И море тоже побуждало любить ближнего, потому что посылало на сушу мелкие волны и забавлялось с нею, и источало ароматы, услаждающие душу и побуждающие ее к деликатности.

Пришел служка с постоялого двора и поставил перед ними самовар и стаканы, и сахар, и печенье. Налили они себе чай, откололи по кусочку сахара, благословили и пили. Ленивое изнеможение их от чая истаяло. А коль скоро ушла леность, пробудилась говорливость.

Заговорил один из них и сказал: «Нет такого солнца, как на Земле Израиля, уже оно вернулось в дом свой, а все еще согревает тело и окутывает члены, словно платье». И невольно зачерпнул своей старческой рукой песок, вздохнул и сказал: «Земля Израиля», как человек, который называет нечто по имени, а сам сомневается, верно ли назвал, — хоть и сказал «Земля Израиля», заметно было, что сомневается он, в самом ли деле Земля Израиля это.

Сказал ему второй: «Успокойся, старик, Яффа — это не Земля Израиля. Откуда следует, что Яффа — не Земля Израиля? Из

книги пророка Йоны. Хотел Йона убежать от Господа и куда сбежал? *Сошел в Яффу*¹. Знал этот старец, что не только о Яффе говорил его товарищ, но, желая уменьшить горечь ближнего, сказал так. И снова сказал первый старец: «Ты говоришь, что Яффа – не Земля Израиля, а сама-то Земля Израиля – разве Земля Израиля?» Глянули на него двое других с изумлением и сказали: даже если неразумный такое скажет, дурно это и требует осуждения.

Как человек, у которого накопело на сердце, а стал говорить и увидел, что не все просто оказывается, так и тот старец: мелочь раздражила его, и уж вся Земля Израиля ему не мила. И когда заговорил опять, так сказал: «Боже сохрани, если я сомневаюсь в святости этой Земли, а только о том я говорю, что открывшаяся нам Земля Израиля далека от того величия, о котором толкует Писание и ведут разговор наши благословенной памяти Мудрецы. Взять хоть благословение кознов. Да не оставит Господь милостью кознов Земли Израиля, которые возносят руки свои каждый день, как постановили наши Мудрецы, и ежедневно исполняют три положенных заповеди. Слава Создателю, что с тех пор, как взошел я на Землю Израиля, всякий день мог молиться с общиною, и при виде кознов, выходящих для благословения, радость святого дня снисходит на мое бренное тело. Но когда я слышу, как бросают они свои слова, словно скаредные, которые бросают грош нищему по обязанности, тотчас встают в моей памяти дома молитвы и учения в стране рассеяния в дни праздников, когда козны стоят на возвышении и растягивают в сладостном напеве слова благословения, чтобы благословить Израиль по любви. Сколько дивных напевов есть у нас там! Сколько праздников, столько и напевов; бодрый напев в Шавуот и печальный в великие праздники, и много еще мелодий святых и возвышенных исторгается из души кознов в их служении и левитов в их песнопении, и всего Израиля в его красе. И если скажете, нет Учения, подобного Учению на Земле Израиля, я вам отвечу, что даже изучение Каббалы в этом месте – не тем путем идет, какой проложили наши учителя. Возводят здесь дома учения, а изучают сокровенное, словно учат про быка, боднувшего корову. Только буду ли множить слова, друзья мои, и горе мне, если скажу, что ушла святость (не приведи Господи!) из Земли Израиля и Шехина с сумой Ее нашла приют в странах рассеяния. *Шехинта биглота* – Святыня в изгнании. А сама Земля Израиля – чему уподоблю ее? Ковчегу, из которого вынесли свитки и поставили в нем горящую свечу. Теплится огонек в Ковчеге, а Тора – где ж она?»

Заговорил второй и так сказал: «Сдается мне, друг мой, что понял я суть твоих слов. Жил ты в стране рассеяния, учил Тору, соблюдал заповеди, дела добрые делал, то есть искра Божия светила и теплилась в твоём сердце в ночи изгнания, а ты жаж-

¹ Йона, 1:3.

дал взойти на Землю Израиля. Так говорил ты себе: вот я живу в стране рассеяния и исполняю, хвала Создателю, то, что возложено на меня Святым Благословенным, а взойду на Землю Израиля, и взойдут со мной искры святости к истоку своему, сольются со Светом Шехины. Чему уподобить это? Была свеча, горела во мраке и рассуждала: я есть свет, товарищ я дневному светилу, пойду и встану рядом с ним; когда же встала свеча рядом с солнцем, в миг растаяла. Или ты упрекнешь в том солнце?»

Заговорил третий и так сказал: «Будь же благословен, друг мой, что не лишил нас беседы о тревоге твоей, ведь общая беда – почти утешение. И я с той же бедой. Только горе нам от такого утешения. Уж сколько месяцев живу я здесь – печальный, угрюмый, терзающийся. Не только что не удостоился радости от пребывания здесь, но пребывание здесь ввергает меня порой в тоску и меланхолию, не про вас будь сказано».

Так говорил, а сам зачерпнул понюшку табаку. Тряхнул пальцами и выпустил табак, и развеялся табак по ветру. И хотя всегда неспешно говорил, теперь спешил и торопился, словно верный гонец в час беды, который одного опасается – как бы не отдать Богу душу прежде, чем исполнит поручение. И таковы были его слова:

«Славную притчу рассказал ты нам, друг мой, да только суть дела ясна и в притчах нет надобности. Много размышлял я о том, отчего не могу найти покоя и наслаждения в пребывании моем в Святой Земле, тогда как благословенной памяти Мудрецы наши учили, что жизнь на Земле Израиля стоит всех остальных заповедей. Но по размышлении понял я, что это одно из искушений естества нашего, которое вносит путаницу и отчаяние в сердце человека, чтобы выжечь из него эту великую заповедь, стоящую всех остальных, и чтобы разорвать (не приведи Господи!) связь между Святым Благословенным и Израилем. Поэтому когда я обращаюсь мыслью к величию Земли Израиля, которая есть средоточие святости среди прочих святостей, а я не удостоился и малой толики от малого, что я говорю? Благо содеял нам Святой Благословенный, что не наслаждаемся мы от пребывания здесь, ибо тогда пребываем мы здесь ради одной этой заповеди, лишь ради нее самой. *Иди предо Мною и будь непорочен*, сказано в Писании², а Раши, да покоится с миром, поясняет: смирись со всеми Моими испытаниями, а Я установлю Завет Свой, союз любви и союз с Землей этой, ибо праведные будут населять эту Землю и непорочные пребудут на ней³.

Перевела с иврита Зоя Копельман

² Бытие, 17:1.

³ Притчи, 2:21.

Павел Асс

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

В середине прошлого века в Московском пединституте учились три очкарика: Паша, Эрик и Юлик (то есть я). Мы о себе распевали песенку:

*Как однажды по бульвару,
Что ведёт через Москва-реку,
Шли спокойно три очкарика
И курили три чинарика.*

Паша, правда, не курил. У него было больное сердце, от физкультуры он был освобождён, и жизнь его, вообще говоря, не обещала серьёзных потрясений. После института ему была уготована прямая дорога по театральной линии, он стал чиновником при культуре, курировал кукольные театры Союза и должность свою справлял и успешно, и с удовольствием. Если бы мне тогда сказали, что он осмелится махнуть в Израиль, я бы, засмеявшись, ответил:

– Уж скорее я, – что должно было означать остроумную шутку, так как Паша-то стопроцентный еврей, а я-то – полурусский кореец.

И что же?

Паша, с больным сердцем, таки отбыл в жаркий Израиль, поменяв благополучнейшую и весьма перспективную карьеру на чёрт знает что (см. здесь очерк «Кушать подано»). Через несколько лет мы видим его в Лондоне, на Би-Би-Си. Стал классным журналистом, объездил полмира, в том числе – в новейшие, конечно, времена – не раз наведывался в Москву, но считает и чувствует себя гражданином Израиля и переживает за Родину чрезвычайно.

Причудливые зигзаги выписывает время в Книге Судеб. Стопроцентный Паша в Лондоне, а полурусский-то кореец? Таки в Израиле. Из всех очкариков лишь Эрнест Абрамович остался верен своей доисторической отчизне.

Юлий Ким

ЭСВЭ

Завидую тому, кто сызмальства вел дневник... Раскрывал тетрадку, ставил в уголке дату, не забыв отметить день недели, и записывал: видел, слышал, встретил, вдыхал, любовался, думал, спать пошел поздно, вчера началась война. Память же удержала немногое.

Вот и в этом моем рассказе только одна точная дата, сохранившаяся благодаря записи в трудовой книжке. Самой книжки, конечно, уже нет, а есть копия с нотариальной копии. 27 октября 1958 года я был принят на

работу в ГЦТК – Государственный Центральный театр кукол под руководством С. В. Образцова. В тот день утром я пришел в театр для встречи с Образцовым. Волноваться я вроде не должен был. Решение о том, что меня возьмут сотрудником Музея театральных кукол, было уже как бы и принято. Директором-распорядителем театра был в то время Геннадий Иванович Шагаев, давний друг моего отца, работавший вместе с ним в Театре Красной армии. Шагаев меня знал с детства. Он часто повторял мне: «Паша, будь человеком!» Видимо, он решил, что самый верный путь стать человеком – поступить на службу в кукольный театр. Того здания на площади Маяковского уже нет, как нет, впрочем, и дома, в котором родился «Современник». Голизна места потрясла меня, когда я вернулся в Москву после долгого шестнадцатилетнего отсутствия. Я внезапно понял, что само здание было – кукольное, все настоящее, как у взрослых, только крохотное. Крохотной была и комната, где сидели две секретарши. У одной из них – той, что постарше, – было странное имя Пирайя. Крохотной оказалась и следующая комната, в которой меня ждали.

Четверть века спустя, оказавшись в Лондоне, я обнаружу толстенные фолианты «Current Biographies». В томе за шестидесятый год написанная мной биография Образцова. Нехитрый рефрен этого опуса, повторенный трижды, – «невысокий седой человек выходит на эстраду». Значит, именно таким было мое первое, и самое сильное, впечатление: «невысокий седой человек». Образцов был тогда моложе меня сегодняшнего. Мне он показался старым. Совершенно седой, полноватый, в коричневых брюках, в ковбойке с открытым воротом, он, заложив руки за ремень, непрерывно ходил по комнате, в которой и двум человекам было не разойтись, и что-то говорил... Началось же, как полагается, со знакомства.

– Как вас зовут?

– Павел.

– А отчества у вас нет?

– Я не привык, чтобы ко мне обращались по отчеству.

Образцов с эти не согласился:

– Если я буду называть вас только по имени, и у вас будет право называть меня Сергей, а мне не кажется это правильным.

Так, в двадцать два года, я приобрел отчество. Впрочем, дело было вовсе не в моем возрасте. Только одному человеку во всем театре дозволялось называть Образцова по имени – зычному (из певчих) хормейстеру, тезке Образцова, Крынкину. Для него Образцов был Сережа, для всех остальных – ЭсВэ или Хозяин.

В Музей театральных кукол, научным (!) сотрудником которого я стал, вела узкая деревянная лесенка. На протяжении многих лет, даже после моего ухода из театра и отъезда (значит, и в новом помещении на Садовом кольце), перед началом вечернего спектакля звучал мой записанный на пленку голос: «Через несколько минут начинается экскурсия в Музей театральных кукол». Распахивалась красная бархатная занавеска, и десяток-другой зрителей поднимался по скрипучим ступенькам. У музея была, как водится, и служебная комнатка, но, опять же, такая крохотная, что пятерым сотрудникам музея вместе разместиться было ну никак нельзя. И мне выпало сидеть в кабинете Сергея Владимировича – не в том, официальном, где состоялась наша первая встреча, а на втором эта-

же, в комнате за буфетом, с окном, выходящим на площадь. Высокий письменный стол-конторка, стол для «заседаний», шкаф и кресла, все было – «Чиппендейл». Слово это произносилось с уважением, но о том, что это был английский стиль восемнадцатого века (рококо с тонкой резьбой), я, темнота, узнал много позже, уже в самой Англии.

На самом деле хозяйкой комнаты была Ленора Густавовна Шпет – заведующая литературной частью, и это был ее письменный стол – сразу напротив двери. Я же устроился за большим столом, за которым мне было велено разбирать и приводить в порядок архив театра. С утра, с появлением в театре Хозяина, комната превращалась в проходной двор. Тут было не до архива. Образцов был не только художественным руководителем театра, но и директором. Все административные дела решались внизу, наверху – дела творческие. Образцов приходил, снимал пиджак, серый, твидовый, сказал бы я сегодня, закладывал руки за ремень и, прохаживаясь от окна до стола, – метра два не больше, – обсуждал предстоящий день, встречи, репетиции... Когда в комнате вместе с Образцовым была лишь Ленора Густавовна (ну, и я, как безмолвный довесок), тон разговора был один, когда в комнату набивались актеры – другой.

В редкую минуту раздражения Ленора Густавовна могла сказать: «Сергей Владимирович, мне надоели ваши вечные ламентации». А он в ответ: «Я не знаю, что такое ламентации».

Ленору Густавовну он уважал и ценил безоговорочно. При этом он был хозяином, а она – на вторых ролях, хотя в самом начале тридцатых годов, работая в Институте художественного воспитания детей, именно она позвонила ЭсВэ и предложила ему создать детский театр. На их дальнейших отношениях это никак не сказывалось. Не то, чтобы ругались, но сердились друг на друга. Однако Образцов безоговорочно доверял ее вкусу, и не было бы Лены Густавовны, не было бы и театра, она была его камертоном, она давала ему тот интеллигентный настрой, который, пока были живы «создатели», сквозил в каждом спектакле.

Ленору Густавовну в тот первый мой приход в театр я почти и не заметил. Строго причесанная, в наискромнейшей коричневой шерстяной кофточке, погруженная в кресло, она в разговоре как бы не участвовала, слушала, присматривалась. Но и за это не поручусь. Потом, через много лет, я мысленно назову ее своим наставником, советчиком, другом.

Когда на заседания художественного совета, которые проводились тут же, за чиппендейловским столом, приходили Зиновий Ефимович (Зяма) Гердт и Семен Соломонович (Сима) Самодур, шуткам не было конца. А в те дни, когда репетировалась «Божественная комедия» и к этим острословам добавились автор пьесы Исидор Шток и композитор Никита Богословский, то тут уже было разливанное море смеха. Пьесу досочиняли на ходу, и, признаюсь, одна фраза в ней принадлежит мне. Не помню, чтобы сам Образцов что называется «хохмил». В соревнование с Гердтом и Самодуром никогда не вступал. Но чужую шутку ловил на лету и радовался. Как-то в кабинете обсуждали, кому идти на юбилейный вечер известного ленинградского кукольника Евгения Де-мени (его театр, единственный в Советском Союзе, играл куклами-марионетками). Гердт сразу же решительно заявил: «Что до меня, я не пойду». Тут Образцов особенно возрадовался. Гомосексуалистов он не

любил, марионетки не любил тоже – за их натуральность. Каждый раз при Демени Образцов как бы невзначай заводил разговор о том, как он не любит, когда при нем целуются мужчины. (Ленора Густавовна, естественно, выражала свое недовольство.)

Впрочем, один раз я сам нарушил «золотое правило». Забавно, что и это было связано с марионетками. В самом начале шестидесятых в Москве гастролировал итальянский театр «Пикколо ди Подрекка». Театр этот был традиционным в самом точном смысле этого слова, не интеллигентской забавой, а народным зрелищем, то есть тем, что Образцов больше всего ценил и любил. Отвлекусь на мгновение. Образцов неизменно высоко отзывался о последнем русском петрушечнике Иване Зайцеве, которого даже принял в театр с его, Зайцева, репертуаром, и не слишком благоволил к театру художников Ивана и Нины Ефимовых, разыгрывавших в куклах Шекспира, хотя и «займствовал» у них (а те у восточного театра) технику тростевой (в отличие от перчаточной) куклы. Старенький, но энергичный и подвижный, Подрекка был настоящим, и Образцов устроил в его честь прием в фойе театра. Пили, ели, а потом Образцов расставил свою ширму (кстати, зайцевскую по конструкции) и сыграл, пропел романс «Минуточка». Я много раз бывал на концертах Образцова – и до, и после этой встречи, – но никогда не испытал такой любви к ЭсВэ. Вот тогда-то в порыве благодарности я и поцеловал Образцова.

У него вообще было безошибочное чутье на настоящее. В те же годы, самый конец пятидесятых – начало шестидесятых, в Москву приехал хозяин американского телевизионного шоу Эд Салливан, приехал, чтобы снять на видеопленку (неслыханное в то время дело) спектакль «Необыкновенный концерт». Съемки происходили в саду «Эрмитаж». В один из свободных вечеров Салливан пришел в театр и в антракте поднялся в кабинет ЭсВэ. В тот день я «дежурил по музею», но экскурсию не вел и оказался свидетелем этого маленького приема. С Салливаном в качестве переводчика был хорошо одетый сравнительно молодой человек в очках, безупречно говоривший по-английски и, уж конечно, по-русски. И его, и его элегантную жену я принял за иностранцев. Кончилось это тем, что сопровождавший Салливана человек пригласил Образцова с женой в тот же вечер приехать к нему на Ленинский проспект и там, за ужином, продолжить разговор.

Следующее утро началось с того, что невыспавшийся Образцов ругал себя за безвозвратно потерянный вечер. Он описывал псевдозападный интерьер роскошной квартиры с белыми стенами и белой же мебелью, картины, которые ему решительно не понравились, и только и повторял, что все это «поддельное», и вкус хозяина тоже. Я пытался припомнить облик молодого человека, которого видел накануне, и не мог, что-то блондинистое, в очках. Много позже я узнал, что «переводчиком» у Салливана был Виктор Луи, один из тех, кто и сам не помнит ни своего настоящего имени, ни места рождения, ни кто его подлинный хозяин. Он умрет в Англии уже в конце восьмидесятых годов этот полужурналист-полушпион, про которого Образцов сразу сказал: «ненастоящий».

И еще «про КГБ». Однажды мы были с ним в кабинете наедине. Раздался телефонный звонок. Кто звонил Хозяину, я, понятно, не знал,

только услышал: «Братя меня не надо, а мой адрес запишите: Немировича-Данченко...» Положил трубку, обернулся ко мне и весело сказал: «Из клуба КГБ. У меня сегодня там концерт. Звонят, спрашивают: «Где вас братья?» И добавил: «Вот что значит привычка!».

В кабинет Образцов приходил без всякого режиссерского плана. День начинался с рассказа о его рыбах, голубях или собаке, о фильме, который он снимал, или о книге, над которой работал. Никогда о прочитанном. В профессиональных разговорах пользовался одними и теми же литературными реминисценциями. Рассказывал о закаканной пеленке ребенка Наташи Ростовской или приводил гетевское изречение о том, что только дураки не меняют своего мнения. Европейски образованная, владевшая тремя языками, начитанная Ленора Густавовна прощала ему и это. Образцов любил поговорить сам, но был он и замечательным слушателем. Особенно он радовался, когда в кабинете появлялся с эскизами под мышкой долговязый, беззубый, взлохмаченный Борис Дмитриевич Тузлуков. Тот, казалось, знал все, мог рассуждать на любую тему. Он особым образом закручивал, одну за другую, свои тощие ноги, эскизы откладывались в сторону, и шел великий треп. Потом оказывалось, что большая часть энциклопедических познаний Тузлукова – чистейшая фантазия. Но это уже не в счет.

Театр был одной большой семьей. Здесь служили подолгу. Образцов любил всех, кто был предан Делу. Каждому знал цену. Те, кто пришел в театр попозже, в конце сороковых (вернувшись с войны, как Гердт или Игорь Дивов, которого я в театре уже не застал) или еще позже, с театральными дипломами (как Ирина Мазинг), может, и были посильнее «любителей», с которыми Образцов начинал театр. Но надо было видеть, с какой нежностью он относился к крохотной, безумно смешливой и наивной Кате (она всегда была для него Катей) Успенской или тоже совсем не молодому Мелиссарато. Ну, а уж авторитет тишайшего Евгения Вениаминовича Сперанского был непререкаем. Мне повезло, и я еще застал спектакль «Король-олень», в котором он гениально играл Труффальдино. Сперанский был еще и постоянным драматургом театра. У него был безошибочный внутренний слух на то, как «говорит» кукла. Впрочем, и так было всегда, драматургом в театре становился любой.

Я пришел в театр, когда Образцов выпустил спектакль «Мой, только мой». Сценарий написал все тот же Тузлуков, написал, по слухам, на спор, мол, и я могу. Впрочем, что значит «написал»? Как можно написать фары отъезжающей машины – сначала яркие, передние, а потом удаляющиеся, красные? В сочетании с замиравшими звуками мотора, огни эти создавали такой точный эффект, что зал неизменно разражался аплодисментами. Это почерк Образцова. «Соломенная шляпка» по Лабиншу, которую переделал для театра Николай Робертович Эрдман, как мне показалось, получила право на жизнь только тогда, когда Образцов придумал, что лошадь в этом спектакле будет какать золотыми шариками.

Иногда ЭсВэ влюблялся – исключительно платонически, и тогда в театре появлялись новые актрисы. Так он нашел бойкую Галю Бадич, а потом обнаружил, как ему показалось, особый талант в крайне зажатой поначалу Наташе Державиной. Но вообще-то, десятилетиями работал с

одними и теми же людьми: – композиторами, драматургами, художниками...

Не припомню, чтобы он вел «политические» разговоры. Когда при нем, сменивший Ленору Густавовну Шпет на посту завлита, Борис Полюровский с утра пытался передать содержание состоявшейся накануне беседы словами: «И тут Брежнев говорит Косыгину», Образцов вежливо прерывал его словами «Ну, а вы где были в это время, под столом что ли?» На том политическая пятиминутка и кончалась. Между тем, по долгу службы, из года в год, и в тридцатые, и в сороковые, и в пятидесятые Образцову непрерывно приходилось решать дела с «государственными» людьми. Как полководец (неважно, что в его полку только и было, что пятьдесят человек), он неизменно руководствовался принципом: «можно не выиграть, но проиграть – нельзя». Вскоре после прихода в театр я впервые услышал потом уже повторявшуюся в разных вариантах историю о том, как в разгар «борьбы с космополитизмом» Образцова пригласили на разговор в Министерство культуры (в ЦК – по другой версии) и дали понять, что у него в театре многовато евреев. Образцов сказал: «Ваши слова я мог бы расценить как проявление антисемитизма, но, поскольку в нашей стране этого быть не может, давайте считать, что наш разговор не состоялся». Ни одного еврея он не уволил.

В Куйбышеве он во время выступления сказал: ненавижу расизм, фашизм и антисемитизм. Зал разразился бурей аплодисментов, это был второй раз, когда мне захотелось его расцеловать.

Как-то мы женой оказались у него дома. Засиделись допоздна, Образцов был в отличном настроении и напоследок сказал: давайте послушаем отличного кантора, у меня хорошая коллекция канторской музыки. А нас дома ждал оставленный на бабушку двухлетний сын, мы должны были уходить. Слушать канторов не стали. Никогда не прощу себе этого.

Я уезжал из Москвы – навсегда – 6 января 1972 года (каюсь, еще одна точная дата). Накануне, поздно вечером, я пришел в театр на Самотеку, и ему единственному во всей Москве, сказал: «От вас скрывать не имею права. Завтра я уезжаю в Вильнюс, но на самом деле наша конечная цель – Израиль». Образцов огорчился беспредельно. Стал говорить о том, что, конечно же, понимает меня, и в стране действительно существует антисемитизм, но «я-то вас всегда защищал». Из театра мы вышли вместе и пошли на Немировича-Данченко, далеко не в первый раз, пешком. Шарфа он принципиально не носил, свое певческое горло простудить не боялся, шли, разговаривали. Еще задержались на короткое время у него дома, и уже у двери, совсем прощаясь, он поцеловал меня и сказал: «Всего Вам доброго. Но не уезжайте. Вы же по всему русский человек, вам там будет не хватать Пушкина».

Последний раз мы увиделись с ЭсВэ в Лондоне, году в восемьдесят втором. Невысокий седой человек вышел на эстраду. Очень-очень старый. Вывел на сцену Ольгу Александровну, свою постоянную аккомпаниаторшу. Она уже не могла ходить без палочки. Смотреть на это было мучительно. Я все же подвел за кулисы к ЭсВэ дочку и промямлил, что это мое произведение он знать не может, дочка родилась в Израиле. Не уверен, что Образцов увидел и услышал меня...

КУШАТЬ ПОДАНО...

Узкие и короткие – чуть ниже шиколоток – брюки, куцый красный пиджачок, напоминающий цирковую униформу, и превращение в официанта тель-авивской гостиницы «Хилтон» закончено. Завтра в шесть выходить на работу. Вот только надо успеть купить галстук-бабочку. Как это будет на иврите? Ну, конечно, – *парпар*. Смешное слово.

Сегодня «Хилтон» – Золушка на избыточно ярком и шумном средиземноморском балу. Серое здание как бы отодвинулось в сторону, потеснилось и уступило свое место отелям, скроенным и сшитым по самой последней моде. Вызывающий и зазывающий стиль. Следующий этап – гостиничный номер со стеклянными стенами.

В 72 году «Хилтон» был, как строгий сюртук, как наряд девушки, спешащей в синагогу... Дядюшка моей жены, приезжая из Далласа всегда останавливался в «Хилтоне». Визитная карточка: «Вы знаете, он останавливается в «Хилтоне». Всегда». Вслед за этой фразой невидимым режиссером предусматривалась пауза, которую следовало заполнить размышлениями о том, сколько же у него миллионов, если он – всегда...

Войти через парадную дверь мне так и не пришлось. Я огибал здание справа, проходил через автостоянку и по маленькой, чуть было не сказал – приставной, – лесенке поднимался к черному входу, входу для сотрудников. И отбивал карточку – 5:48. Десять минут следовало оставить на то, чтобы спуститься в подвал и в раздевалке, открыв собственный металлический ящик, – окончательно превратиться в официанта, повара (это уже потом) или ночного портье. Если бы еще с помощью легкого грима добавить лицу красочки или чуть-чуть омолодить его... Но это же не актерская уборная! И, подавляя то ли последний зев, то ли невольный вздох, снова несешь себя таким, как ты есть, наверх.

Рахель Сарно родилась в Шанхае, в еврейской семье. Получила хорошее образование. Это значит, кончила школу. Говорила на четырех или пяти языках. Русским владела в совершенстве. В Шанхае 20-х годов была огромная русская колония. Когда к власти пришли коммунисты, Рахель с семьей приехала в Израиль.

«Good morning! Hilton Room Service». Голос Рахели звучит слаще не бывает, вежливее не придумаешь. Приняла заказ, передала на кухню, а нести на восьмой этаж – это уже твоя задача. Пока поднос наполняется снедью, есть минутка перекинуться с Рахелью словом. Без нее была бы просто беда. Иврит еще не прорезался, а английский – кто ж не знает, как его учили в СССР.

Несешь поднос на одной руке. Второй открываешь двери, нажимаешь кнопки лифта. Да, вообще, кто же это хватается за поднос двумя руками – непрофессионально! Рюмки, стаканы и бутылки перемещаются к краю подноса, норовя съехать, но в цирке и не такое показывают.

Стучишь в дверь и говоришь: «Room service!» Оно, конечно, «мир входящему». Но официант человеком не считается. Даже тот, кто поставил перед тобой рюмку и всем своим видом выражает глубокое понимание того, как трудно бывает с похмелья. Нет, официант – слуга. Он есть, и его как бы нет. Чего тут стесняться.

Поэтому постояльцев то и дело застаешь на самых разных этапах раздетости. Выйти из душа с полотенцем, охватывающим бедра, – верх уважения к официанту, но полотенца может и не оказаться под рукой. Стюардессы TWA действительно неземной красоты, в каждой понамешано китайских, малайских, японских, индийских кровей. Эти заморские птицы, совершенного голенькие, выпархивают тебе навстречу, что-то щебечут, суют чаевые, и ты не выходишь – вылетаешь из этого вольера с цветными попугайчиками и еще долго приходишь в себя в пустом коридоре.

С авиацией я не в ладах. Часов в пять утра в холле гостиницы собираются летчики. Высокие, суровые, холеные – скорее похожие на голливудских актеров, играющих летчиков, TWA знает толк в кадрах. Твоя голова уже не варит. До конца ночной смены еще час. Просят «Seven up». Пересчитываю по пальцам: их, действительно, семь. И страшно гордый собой, сломя голову мчусь на кухню, вниз, «down», и приношу наверх – «up»... семь бутылок «колы». Ну, откуда мне знать, что «Seven up» – шипучий напиток в зеленых баночках? Это сейчас я такой умный. Вот и вспоминаю тридцать лет спустя их взгляды: такого идиота они еще не видавали.

Суббота в «Хилтоне», как и в любой израильской гостинице, – особый день. Чолнт готовится загодя и прееет, булькает, ворчит в котлах целый день. Кухня по субботам закрыта. Но мы, официанты, те, кому религия не указ, – как миленькие носимся по этажам и разносим холодные закуски. Религиозные постояльцы гостиницы в субботу счет не подписывают и чаевых сами не дают. Ставишь на счете свою подпись, берешь с тумбочки заранее приготовленные деньги, благодаришь и с непременным «*шабат шалом*» на устах несешься дальше.

Следующий шабат ожидаю с нетерпением. Тем, кому работать с утра, остаются ночевать в гостинице. Следующий шабат – особый. Йом-Кипур.

Примеряюсь к жизни, которую наблюдал со стороны. Сидел в зале, а тут, выбравшись на сцену, прежде всего начинаю обыгрывать «бутафорию»: мыло, шампунь, расческа, иголки, конверты, бумага. На всем выдавлено, вытеснено, напечатано «HILTON». Облачаюсь в белый махровый халат, обхожу дозором номер, и, не найдя себе достойного занятия, ложусь спать на белоснежную простыню «Хилтона», я – в раю.

Просыпаюсь от страшного шума. Под окном гостиницы – хаотичное, никем не регулируемое, броуновское движение машин. Первая мысль – о пожаре. Молчавшее радио заговорило, но голос диктора лишь произносит отдельные, никак не связанные одно с другим слова. Впрыгиваю в приготовленную с вечера униформу, и Рахель произносит слово «война». 6 октября 1973 года. Судный день. МИЛХАМА.

Диктор повторяет одни и те же слова – закодированные названия воинских соединений. Где твои сыновья, Рахель? – По пути на пункт сбора. – Где Шломо, Амихай, Авраам, те, кому заступать на смену? – Нет никого. Все ушли на фронт.

Иерусалим слишком близок к фронту. Тель-авивский «Хилтон» превращен в правительственную штаб-квартиру. Об этом вслух не говорят, и нам ничего не объясняют.

Заказ прост: бутылка минеральной воды. Поднимаюсь в номер. Полный беспорядок. На одной из кроватей, сдвинутых в центр комнаты, сидит лысый немолодой человек, держит на коленях телефон и кричит в трубку: «слушай, двумя миллионами ты не отделаешься, пять и ни центом меньше»... На меня, наконец, обратили внимание. Бутылка «Перье» есть, а открыть ее нечем. Бегу вниз, хватаю открывалку и, поднявшись в номер, слышу: «Что такое три миллиона – капля в море». К ужасу обнаруживаю, что в номере нет стакана. Снова проделываю тот же путь: из номера направо, к лифту, вниз, хватаю стакан и, вконец задохнувшийся, в третий раз в тот же номер. «Дай, сколько сможешь, сам понимаешь, какое положение...» Лысый человек – министр финансов Израиля Пинхас Сапир – собирает деньги на войну. На проводе – Америка.

Слетевшиеся со всего света военные корреспонденты тоже живут «у нас». По ночам их увозят к линии фронта. Ранним утром из каждого номера раздаются звуки пишущих машинок. У каждой двери заляпанные грязью высокие коричневые ботинки израильского образца и каски, затянутые маскировочной сеткой. Вспоминается Хемингуэй. Испания.

Завтрак на троих. Вхожу в номер. Из ванной выпархивает крошечная женщина в папильотках. Свеженькая. Успела накинуть халатик. Непрерывно щебечет: «Поднос вот сюда, пожалуйста. Мои коллеги сейчас зайдут – мужчины всегда копаются». На трельяже у зеркала – скрученный невероятной силой темно-бурый кусок металла. Кажется, что от него еще исходит тепло. Не меняя тона, тем же тоненьким голосом, с теми же интонациями: «Осколок, упал в двух шагах от меня, как только меня не убило, везение... Ну, где же они? Мерси».

Через несколько дней все страны мира обойдет сделанная ею для «Пари-матч» страшная фотография убитого солдата, но я узнаю об этом много позже. Как и о том, что она – известная журналистка. А подпись на счете не разобрать – закорючка.

Когда Израилю грозила опасность, когда приходила беда, когда арабы начинали очередную войну, евреи – музыканты, актеры, певцы разрывали свои контракты, отменяли концерты и летели на родину. Была такая традиция. Существовала такая внутренняя потребность.

Одним из первых появился дирижер Зубин Мета. Индус, он десятилетиями возглавлял Израильский симфонический оркестр. Прервал гастроли и появился в «Хилтоне». Прилетел, по слухам, и Дани Кей. Ну, а завтра – на третий день войны – концерт Айзика Стерна.

Отправляюсь с работы. Час дня – вечером концерт не устроишь, военное затемнение. В зале одни молодые лица. Солдаты. Стерн выходит на сцену в белоснежной без галстука рубашке, с завернутыми рукавами. Я слышал его когда-то в Большом зале Московской консерватории; на афишах было написано: «Исаак Штерн». Но какое может быть сравнение. Наверно, Стерн никогда не играл так вдохновенно и просто, так тепло, так душевно, с такой болью, как в тот октябрьский день семьдесят третьего года. Играл для слушателей, которым через час – на фронт.

На следующий день – заказ из номера Стерна. Пять рюмок водки, как сейчас помню. Вхожу. Стерн стоит в центре номера с группкой гостей.

Не уронив подноса, расставляю рюмки и нетвердым голосом обращаюсь к великому музыканту: «Господин Стерн, извините меня, но я был на вашем вчерашнем концерте и хочу вас поблагодарить, я был потрясен».

Потрясен и Стерн. В нарушение всех правил этикета, официант заговорил, заговорил по-русски, был на концерте... Стерн отступает вглубь номера, и не найдя ничего лучшего, говорит: «Спасибо. А кто вы?» «Бывший москвич, театральный критик, работал у Образцова». (По моим тогдашним понятиям, не знать имени Образцова было нельзя.) Стерн пугается еще дальше и, видимо, в полной растерянности мямлит что-то вроде «Ну-ну, ничего», и протягивает мне пять долларов. Брать или не брать? Какого черта, я же сейчас не московский критик, а хилтонский официант. И покидаю номер с зажатыми в руке долларами.

Сегодня с утра в нашем официантском закутке предгрозовое состояние. Там, наверху, в самом роскошном номере остановился президент Государства Израиль профессор Эфраим Кацир. Особенно суетится наш *машгиах* – страж кошерности. Кацир – религиозный человек, и хотя «Хилтон», как и подавляющее большинство израильских гостиниц строго соблюдает кашрут, кухня «Хилтона» приведена в состояние полной боевой готовности. Но мне это все невдомек. Иду по вызову в номер президента. Охрана снаружи и внутри. Самого Кацира нет. Меня встречает его жена Нина – немолодая, невысокая женщина, по внешнему виду учительница. Инициатива разговора принадлежит ей: «Кто вы, откуда, почему работаете официантом?» Ухожу обласканный: каждое мое слово аккуратно записано в толстый грессбук. Убей меня бог, не припомню, на каком языке шел разговор.

А машгиах таки не доглядел, и на «мясной стол» президента кто-то ненароком положил кусочек масла. Скандал!.. Президенту! Подложили!! Масло!!! Через пару дней президент вернулся в свою иерусалимскую резиденцию, а «Хилтон» еще долго постанывал: «Президенту!.. Масло!..»

В престижных отелях горничным строжайше запрещено убирать номера за закрытой дверью. Чтобы не грешили с постояльцами. Но одна из наших горничных не устояла перед Моше Даяном, о мужских

достоинствах которого слагались легенды. И перед женщиной возникла сложная дилемма: рассказать – уволят, не рассказать... Но ведь дала не кому-нибудь, а самому Даяну! И рассказала всем. И уволили.

Шторы спущены. В номере – темь. На кровати, свернувшись клубком, женщина. Лица не разглядишь. Жестом показывает, куда поставить поднос. Размашисто ставит подпись на счете, и я ухожу. Подпись читается легко и ясно – Геула Гиль.

Вернуться? Сказать, как много значит ее имя для меня, для советских евреев. Попросить привстать, взглядеться в лицо, поцеловать руку. Глупости.

Во время ее выступления в Риге еврейские юноши и девушки устроили настоящую демонстрацию, которая вовсе и не была демонстрацией, просто они рвались на концерт молодой певицы, которая была для них символом нового еврейского государства. Как бы там ни было, «сионистов» разогнали, кого-то побили, кого-то посадили.

Одного из тех, кто рвался на концерт Геулы Гиль, звали Марик Блюм. Я познакомился с ним много лет спустя, уже в Израиле. Теперь уже его звали Мордехай Лапид, он стал глубоко религиозным человеком, женился на дочери раввина. Каждый следующий их ребенок рождался на новом поселении. Мы бывали у него в вагончиках – «караванах», где, несмотря на кочевой образ жизни, всегда был идеальный порядок и чистота. Вот только детей становилось так много, что Лапиду приходилось лезть куда-то под густую черную бороду и доставать из кармашка длинный список – семь, восемь, одиннадцать, четырнадцать имен...

Лапид и его старший сын погибли от пуль арабских террористов. И тогда его друг Барух Гольдштейн возьмет в руки автомат и в приступе полного отчаяния откроет по арабам огонь в Гробнице праотцев.

Война Судного дня позади, и «Хилтон» возвращается к своей нормальной несуетной жизни. Вновь появились в номерах новобрачные. Терять девственность в «Хилтоне» всегда было доброй традицией.

Однажды я принес в номер многоэтажный свадебный торт, произведение нашего кондитера Ганса – белокурого швейцарца, женатого на жгуче-черной марокканской еврейке. Верхушку торта украшал маленький цукатный журавль. Невеста была прелестна. Утомленная, она едва заметным жестом указала мне, куда поставить торт. Одно неловкое движение, и торт полетел на пол, а журавлик, что ж, журавлик упал в разрез тончайшей ночной рубашки, туда, где правая грудь встречается с левой. Что было делать? Я сказал убежденно: «Это – к счастью».

И понял, что из «Хилтона» надо уходить.

Александр Тородницкий

ЛЮДИ И ПЕСНИ

Журнальный вариант

Размышляя об особенностях жанра, от которого много лет весьма старательно и успешно отпихивались как поэты, так и композиторы «в законе», и который получил не слишком точное название «авторской песни» (как будто бывают песни без авторов); вспоминая о наследии безвременно ушедших из жизни Окуджавы, Галича и, конечно, Высоцкого, можно попытаться сформулировать, в чем же неповторимая индивидуальность каждого из них, столь непохожих один на другого. Мне представляется, что она, прежде всего, в личности автора, подделать которую невозможно.

Словосочетание «авторская песня», кажется, придумал Владимир Высоцкий, чтобы подчеркнуть, что в этом жанре все делает один человек: сам придумывает стихи и мелодию, сам поет. Что же касается официальной прессы, то она сразу же присвоила этой песне снисходительное название «самодеятельная», решительно отказав авторам в какой бы то ни было профессиональности. Как будто можно назвать Булата Окуджаву или Новеллу Матвееву «самодеятельными поэтами», а Владимира Высоцкого или Юлию Киму «самодеятельными исполнителями».

Основоположником авторской песни обычно считают Булата Окуджаву, и для шестидесятых годов это, пожалуй, верно. Но авторская песня существовала всегда. Именно она легла в основу всех форм современной литературы. Возможно, самым древним автором, а значит, и первым основоположником авторской песни, был библейский царь Давид.

Высоцкий был истинно народным поэтом, свободно дышавшим всем многообразием российской словесности – от сказочного фольклора и высокого штиля до «мусорного» и сочного языка улицы. В его песенных стихах нет ни одной натужной строки. Все поется, как говорится, – легко и естественно. Развернутые диалоги персонажей с их ярким сленгом, изысканные дактилические и четырехсложные рифмы, свидетельствующие о высоком поэтическом мастерстве:

*Я сказал: «Я вот он весь, / ты же меня спас в порту.
только тут загвоздка есть: / русский я по паспорту...»*

Впервые я встретился с Владимиром Высоцким в январе 1965-го за сценой Центрального лектория в Политехническом музее в Москве, где мы вместе выступали в устном альманахе. Когда я подошел к нему, он, как мне показалось, хмуро взглянул на меня и неожиданно спросил: «Вы что, еврей, что ли?». «Да, ну и что?», – ошетинился я, неприятно пораженный таким приемом. Тут он вдруг улыбнулся и, протянув руку, произнес: «Очень приятно, я имею прямое отношение к этой нации».

Несколько лет назад мне позвонили из музея Высоцкого: «Мы отыскали магнитофонную запись вашей встречи с Владимиром Семеновичем в 1965 году в Ленинграде на квартире у Евгения Клячкина. К сожалению, на записи есть только песни, а от разговора только обрывки. Не можете ли вы вспомнить, о чем с ним беседовали?»

Кое-что на самом деле запомнилось. Весной шестьдесят пятого, несмотря на яростное сопротивление ленинградского обкома партии и его тогдашнего босса Василия Сергеевича Толстикова, Театр на Таганке приехал на гастроли в Ленинград.

Привезли они свои уже знаменитые постановки «Добрый человек из Сезуана», «Павшие и живые» и премьеру «Жизнь Галилея», где главную роль играл Высоцкий. Мне его исполнение не понравилось. Я представлял себе Галилея маститым ученым с благородной сединой, величественным европейским обликом и неторопливыми движениями, а увидел на сцене совершенно непохожего курносого молодого парня, не очень даже загримированного, который хриплым полублатным голосом «прихватывал» инквизиторов.

Обо всем этом я и заявил беззастенчиво Володе на следующий день в доме у Жени Клячкина. Значительно позднее я понял, что актер Высоцкий тем и отличался от многих других актеров, что черты своей неповторимой личности вкладывал во все сценические образы. Поэтому-то Галилей-Высоцкий, Гамлет-Высоцкий и Жеглов-Высоцкий это – Высоцкий-Галилей, Высоцкий-Гамлет и Высоцкий-Жеглов.

Разговор за столом коснулся также и блатного уклона песен Высоцкого в то время. Я разделял (и сейчас разделяю) позицию почитаемого мною Шаламова, что вся романтика блатного мира – вещь дутая и фальшивая, и попенял Володе, что он во всю силу своего таланта умножает романтику блатарей. Он, смеясь, вяло отшучивался.

Люди, набившие оскомину на приторно-сладкой лирике советских песенников, распевали блатные и полублатные песни, в которых им слышался хоть какой-нибудь воздух свободы, пусть и воровской. Время показало, однако, что Высоцкий был прав, интуитивно найдя верный тон для своих ранних песен в стране, где в лагерях погибли восемнадцать миллионов... Блатной стиль разговора, блатная надрывная канва его первых песен сразу сделали их автора народным героем, бунтарем. Если хулиган Маяковского, покрасовавшись перед девушкой, довольно быстро стал правофланговым запевалой, ассенизатором и водовозом при власти, то Высоцкий, не соблазнившись на «ласку» первых лиц страны, остался независимым до самой смерти.

Как поэт он фактически создал новый язык, введя в литературу все многообразие сленгов улиц и подворотен.

В галерее песенных персонажей Высоцкого главную роль играют вовсе не воры и бандиты, а герои, бесстрашно принимающие бой и выигрывающие в сложных обстоятельствах. Летчики и пехотинцы, альпинисты и подводники, спортсмены и золотоискатели, и даже милиционеры.

В ту пору мне пришлось выступать вместе с Володей в Ленинграде в помещении какого-то Дома пионеров. Я – в первом отделении, Высоцкий – во втором. Зал был переполнен. В конце вечера Володю много раз

вызывали петь «на бис». Он несколько раз вышел, но зал не успокаивался. Минут пять упорно и ритмично хлопали, топали ногами. Мы стояли за занавесом. Зал продолжал шуметь. «Ну, выйди, спой», – сказал я Володе. Он неожиданно круто обернулся ко мне, и меня испугало его лицо, вдруг осунувшееся, постаревшее, с желтой кожей и запавшими глазами. «Ну, ладно, эти не понимают, – яростно прохрипел он, – но ты-то свой, ты должен понять. Да я сдохну, если еще одну спою!» Как же выкладывался он уже тогда, сжигая свои силы без остатка!

Неподалеку от могилы Высоцкого на Ваганьково могила другого русского поэта, трагически ушедшего из жизни, – Сергея Есенина. Теперь рядом с ним лежит и Булат Окуджава.

*Белый аист московский на белое небо взлетел,
Черный аист московский на черную землю спустился.*

Говорить о наследии Высоцкого сложно. Огромный масштаб его поэтического таланта и личности, неповторимая органика слияния его хриплого голоса с жестким существом песен, обрекают на заведомую неудачу все бесплодные попытки подражателей. Он был и остается единственным.

«Старая песенка – новый звук», пророчески написал молодой Михаил Анчаров. Я познакомился с ним в 1963 году, когда попал на одно из частых в те поры московских песенных сборищ в непривычно просторную квартиру потомков Григория Петровского, председателя большевистской фракции Государственной думы, в печально известный «Дом на набережной».

«Ну, где этот ваш мальчик из Ленинграда?» – услышал я голос в передней, и в комнату шагнул плотный, как борец, черноволосый, коротко стриженный мужчина с правильными чертами лица и внимательными, часто моргающими глазами.

Из всех его песен тогда я знал только ставшую народной «От Москвы до Шанси», а в тот вечер впервые услышал сразу же полюбившиеся мне: «МАЗы», «Органист», «Тихо капает вода»... Яростная экспрессия этих песен – на фоне мужественного облика их автора, опаленного пороховым дымом великой войны (я подумал, что он и моргает часто оттого, что глаза были раньше обожжены), – и его рассказов о парашютно-десантных войсках произвели на меня сильнейшее впечатление.

У Анчарова была удивительно обаятельная и темпераментная, уже утраченная ныне «цыганская» манера исполнения. Да и гитара в его руках была старинная, инкрустированная, как мне тогда показалось, каким-то серебром и перламутром, чуть не из прошлого века. Мы подружились, и он дал мне прочесть рукопись только что написанной и еще не опубликованной повести «Теория невероятности», которую никто тогда не хотел печатать. Первые же ее строки вызвали у меня скептическую улыбку недоумения. Повесть начиналась так: «Этой весной у меня наступила пора любви. Я совсем юный. Мне сорок лет». «Вот старый хрен, – подумал я (мне было неполных тридцать), – он еще влюбляется! В его-то возрасте!» Повесть, однако, захватила меня. Была в ней стихийная сила личности яркой, мятущейся, не вписывающейся в стереотипы.

Анчаров только начинал свое литературное поприще, себя считал, прежде всего, художником, жил в писательском доме в Лаврушинском переулке, в квартире своей тогдашней жены Джои Афиногеновой, был, как выяснилось, скор на выпивку и кулак, и писал песни.

Он был подобен витязю на распутье – короткая оттепель конца пятидесятых опьяняла его, бывшего фронтовика, множеством неожиданно открывшихся дорог и возможностей. Чем заняться всерьез? Песнями? Живописью? Прозой? Все удавалось ему.

В последующие годы Михаилу Анчарову удалось добиться литературного признания. Одна за другой были напечатаны и «Теория невероятности», и другие следовавшие за нею повести. Он стал модным писателем. Ему заказывали сценарии телефильмов. Инсценировки его произведений ставили московские театры. Песни были заброшены – Анчаров полностью ушел в прозу и драматургию.

И тут судьба сыграла с ним злую шутку. За телесериалом «День за днем», отчасти автобиографическим, последовал бесконечный сериал, где были уже «труба пониже и дым пожиже». Герои Анчарова, вызывавшие ранее полное доверие, начали говорить ходульными фразами и воспевать в псевдонародном стиле свой коммунальный рай, превратились в воинствующих резонеров, обучающих смыслу жизни сомневающимся и ненадежных интеллигентов.

Интерес к писателю Анчарову утих, и о нем мало-помалу забыли, хотя он продолжал жить и писать.

Прошли годы. И стало ясно, что именно песни, написанные Михаилом Анчаровым в пятидесятые и шестидесятые годы, в самом начале его литературной карьеры, одни только и воплотили в полной мере талант художника, еще не зависевший в то время от железных тисков худсоветов и издательств.

Михаил Анчаров относится к выбитому временем поколению, о котором он сказал: *«Мы почти не встречали целых домов, мы руины встречали и стройки»*. Первые песни он написал еще в конце тридцатых – задолго до эпохи «бардов и менестрелей». В песнях Анчарова, помужски жестких, поражающих прямоотой разговора, – послевоенная эпоха, где юношеский романтизм и фанатичная вера рано повзрослевших на войне юнцов сталкиваются с беспощадной повседневностью быта, на чисто лишенного романтического камуфляжа: *«Мне тыща лет. Романтика подохла. Кузьма Иваныч пляшет у окна»*.

Стихи его песен сочны, насыщены точными деталями: «Словно масляные губы улыбается еда», «И трупы синие торчат, вцепившись в камыши». И в то же время фольклорно напевны, полны воздуха.

Любимый герой песен, повестей и пьес Анчарова – бывалый человек фронтового поколения, в котором легко угадываются автобиографические черты автора. В героя этого влюбляется молоденькая девчушка, безошибочно угадывая в нем подлинного мужчину.

Михаил Анчаров – художник. И может быть, именно поэтому так живописно и красочно отобразился в его песнях мир детства и юности автора – мир московских предместий, где во дворах «забивают козла», «белье танцует на ветру весенний танец липси» и звучат, щемя сердце, «мещанские вальсы» в микромире нашего городского оби-

тания. Как у каждого подлинного художника, у Анчарова есть «малая» родина – Благуша, голодная и воровская окраина тогдашней Москвы, превратившаяся в его песнях в сказочную страну детства («Только в лунную ночь на Благуше повстречал я в снегу красоту»).

Неистребимое детское ощущение потребности в красоте и надежды на счастье, которое должно наступить завтра, сохранившееся на всю жизнь со сладкой поры первого освоения велосипеда («Король велосипеда»), окрашивает даже самые трагические песни Анчарова в светлые тона: «Уходит мирная пехота на вечный поиск живой воды». Эта упрямая надежда несмотря ни на что – не может оставить равнодушными слушателей этих песен, безоговорочно верящих автору, который:

*Душу продал за бульвар осенний,
За трамвайный гулкий ветерок.
Ой вы, сени, сени мои, сени, –
Тоскливая радость горлу поперек.*

Песни Михаила Анчарова не умозрительны, не «книжны», они написаны не «человеком со стороны». Автор темпераментно и яростно живет в самой гуще несчастной нашей городской жизни, внутри ее радостей и страданий, любви и ненависти. И в то же время песни эти населяет столь не свойственная дворовому бытию мечта:

*Чтобы Земля, как сад благословенный,
Произвела людей, а не скотов;
Чтоб шар земной помчался по Вселенной,
Пугая звезды запахом цветов.*

В те же шестидесятые песни неожиданно начали писать и поэты, ранее писавшие только стихи. Это, видимо, было следствием потребности более полного самовыражения, непосредственного контакта с аудиторией. Наиболее ярко это выразилось у Новеллы Матвеевой, создавшей удивительный акварельный мир добрых сказок («Страна Дельфиния», «Капитаны») и нежной глубокой лирики («Окраины», «Любви моей ты боялся зря»). Негромкая, завораживающая интонация ее песен – полная противоположность громовому звучанию Высоцкого или Галича – была как кислород в безвоздушном пространстве той эпохи, рождала надежду на алые паруса, которые вот-вот появятся на пасмурном горизонте.

В 1974 году, впервые попав на борту научно-исследовательского судна «Дмитрий Менделеев» в Австралию, в Мельбурн, я, сойдя на берег, обратил внимание на небольшой остров, темневший на горизонте напротив порта. Я спросил у своего спутника, как он называется. «Остров Кенгуру», – ответил он. Я вздрогнул от неожиданности, поскольку всерьез полагал, что имя это, как и «Страна Дельфиния» – сказочная выдумка из любимой мною песни Новеллы Матвеевой. Так удивился бы человек, которому вдруг показали реальный Лисс или Зурбаган.

Именно подобные сине-зеленым акварелям, пахнущие морской солью и солнцем, нагретым палубные доски, песни Новеллы Матвеевой, заставили меня в свое время навсегда связать свою судьбу с океаном. Мне нестерпимо захотелось увидеть и ощутить наяву так ярко нарисованный ею шумный и многокрасочный мир, где:

*Там по побережью дружную парюю
Ходят рядом какаду с кукабаррою.
А за утесами там носом к носу мы
Можем столкнуться порой с утконосами.*

Когда я впервые услышал ее солнечные сказочные песни, то почему-то решил, что так может писать только очень счастливый человек, некое зеленоглазое подобие Фрези Грант. Попад в дом к Новелле Матвеевой и увидев чудовищный быт ее неприятной коммуналки на Беговой улице, с окнами, выходящими на железнодорожное полотно и Ваганьковское кладбище, я был потрясен. Каким могучим воображением художника, каким человеческим мужеством и оптимизмом должен обладать автор, придумавший свой сказочный мир в такой обстановке!

Для того, чтобы увидеть его и ощутить, совсем необязательно путешествовать в далекие страны, – достаточно просто забрести на окраину:

*...Эти окраины
Были оправлены
Вышками вырезными,
Кружевными кранами.
Из-за угла, как вор,
Выглянул бледный двор:
Там на ветру волшебном
Танцевал бумажный сор.*

Если Галич, Высоцкий и Ким – ближе к театру, а Окуджава к литературе, то Новелла Матвеева, на мой взгляд, ближе всех к живописи.

*В закатных тучах красные прорывы.
Большая чайка, плаваний сестра,
Из красных волн выхватывает рыбу,
Как головню из красного костра.*

Или:

*Видишь – как будто ломтик от каравая
Лодочка отломилась от корабля.*

В отличие от любимого мною в юности Киплинга, лирический мир Новеллы Матвеевой, неизменно закутанный в блоковский «цветной туман», – не жесткий и враждебный, который надо завоевывать с карабином в руке, а теплый и добрый, которому надо открыться и довериться. Неслучайна поэтому ее принципиальная полемика с Киплингом: «Так нужна ли миру Киплингова лира?»

Ее песня «Девушка из харчевни», я уверен, останется в памяти следующих поколений в числе лучших лирических стихов XX столетия:

*И если ты уходил к другой,
Или просто был неизвестно где,
Мне было довольно того, что твой
Плащ висел на звезде.*

Сейчас, когда потеряли грозную актуальность еще вчера запретные строки ведущих авторов «магнитофониздата», по которым будут восстанавливать историю минувших десятилетий, когда смолкли яростные

хриплые голоса под набатный бой гитары, в памяти оживают негромкие мелодии и слова, обращенные к вечным ценностям – любви, красоте, радости открытий. Эти ценности – непреходящи и не зависят от курса валют и политической ситуации. Послушайте снова песни Новеллы Матвеевой, прочтите ее насыщенные утранным светом стихи, в которых:

*Юбочки клеи надевают медузы
И световые рейтузы
И уплывают на праздник свеченья,
Перед собою держа зеркала.*

Войдите в это сказочное зазеркалье, где дружно живут фокусники и пожарные, капитаны и погонщики мулов, юнги и цыганки, «люди, кони и медведи»... Научитесь удивляться сходству кобуры револьвера и апельсиновой кожуры, тому что «водопады стоят веретенами». И вас снова охватит неповторимое детское счастье первооткрывателей...

Что касается меня, то я испытываю острую ностальгию, когда представляю:

*Перевернутый бочонок.
На бочонке первый снег.
Куда-то влево уплывают острова.*

И мое поношенное сердце снова сжимает наивная надежда ступить, как прежде, на судовую палубу, подрагивающую от ударов волн и работы машин, мальчишеская мечта о таинственных островах, ставших теперь еще более недоступными и далекими... А может быть, наоборот, доступными и близкими? Стоит только поставить песню Новеллы Матвеевой...

Крупным песенным центром в Москве в те времена стал Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина, где учились тогда Ада Якушева, Юрий Визбор, Юлий Ким, Юрий Ряшенцев...

Именно там в конце пятидесятых годов зазвучали, сначала в альпинистских и горнолыжных компаниях, а потом уже и по всей стране, песни Юрия Визбора, рождая снежную лавину подражаний.

Популярность этого человека при жизни, оборвавшейся в 1984 году, когда Юрию едва исполнилось пятьдесят, была фантастической, и вовсе не потому только, что Визбор был еще и талантливым киноактером, сыгравшим, в частности, Бормана в «Семнадцати мгновениях весны». Его песни «Льжи у печки стоят», «Сергея Санин», «На плато Расвумчорр», «Мы стояли с пилотом», «Волейбол на Сретенке» и многие другие создали подлинную романтику этой совсем не романтической эпохи.

Атрибуты его героя – скала над ледяной пропастью – «вот это для мужчин – рюкзак и ледоруб», кабина взлетающего самолета – «пошел на взлет наш самолет», отсек подводной лодки – «наша серая подлодка в себя вобрала якоря», завьюженный перевал, где «бульдозеру нужно мужское плечо».

Я дружил с Юрой более двадцати лет, с 1961 года. С первой же встречи Визбор поразил меня богатством и многогранностью своей натуры. Автор песен, журналист, литератор, спортсмен, художник, обаятельный человек и талантливый собеседник, он повсюду сразу же

становился центром компании. Как всем по-настоящему талантливым людям, ему были свойственны творческая щедрость и способность искренне радоваться удачам своих собратьев по песням.

Именно от него я услышал впервые песни Юлия Кима, Геннадия Шпаликова и многих других, в ту пору еще не известных мне авторов. До сих пор многие песни, и не только Юрины, я слышу как бы его голосом. В том числе и свои ранние.

Он не был диссидентом, хотя некоторые его песни вроде «Технолога Петухова» или «Что ж вы ботик потопили?» и запрещались. Он был членом КПСС, но именно партийные власти, когда он умер, отказали ему в официальной панихиде. Темы его песен – любовь, разлука, измена, трудности настоящей «мужской жизни», горы, лыжи, стоящие у печки, ледоколы во льду, север, океан. Но именно эти, казалось бы, нехитрые и тривиальные ценности, оказались наиболее долговечными и привлекательными, перешагнув через рубеж тысячелетий.

Я хорошо помню Грушинские фестивали на Волге, под Самарой. Стотысячная толпа сидела на горе, у подножья которой на волжской протоке была оборудована сцена-плот в форме гитары. Грифом гитары был трап, по которому на сцену шли выступающие. Паруса яхт с другой стороны плота образовывали задник этой плавучей сцены. Конкурсные концерты длились до глубокой ночи. А после этого – еще концерт членов жюри. Сергей и Татьяна Никитины, Виктор Берковский, Дмитрий Сухарев, Александр Дулов... Появление каждого из них сопровождалось дружными аплодисментами. Но когда на сцену поднимался Юрий Визбор, вся гора вспыхивала тысячами фонариков и взрывалась ураганом аплодисментов. Таких оваций стотысячной аудитории, самой большой в нашей стране, а может быть, и на всей планете, не знал никто.

Кажется, тогда на берегу Волги мы с Юрой и сочинили вместе шуточную песню с придуманным им припевом: «Омск, Томск, Москва, Чита, Челябинск».

Году в шестьдесят седьмом Юрий Визбор приехал в Ленинград в командировку от журнала «Кругозор» вместе со своим приятелем – талантливым фоторепортером Виктором Сакком. Появился первый очерк о ленинградских бардах. Сохранилась гибкая пластиночка, где Визбор исполняет мою «Канаду», сообщив перед этим слушателям, что делает это вместо автора потому, что «Городничий, как всегда, между двумя экспедициями, и его огрубевшие руки плохо справляются с гитарой». Справедливости ради надо отметить, что мои «огрубевшие руки» до сих пор с гитарой справляются плохо...

Юра любил море. На мой пятидесятилетний юбилей в 1983 году он принес мне сине-белый военно-морской флаг, на котором было написано «Старшему матросу А. Городничьему от матроса Ю. Визбора». Я спросил у него: «Юра, а почему же старшему?» «А я тебя моложе, – ответил он, – на полгода. Дольше проживу». И засмеялся...

А в моем родном Питере в это время распевали лихие куплеты Глеба Горбовского. Несколько позднее начали придумывать песни на свои стихи и другие ленинградские поэты и прозаики: Виктор Соснора, Сергей Вольф, Ирена Сергеева, Нонна Слепакова...

Молодой и много обещавший в ту пору драматург Борис Голлер писал песни для героев своих пьес:

*В аэродромном клубе
Смеется он и пьет.
Меня убили в небе,
А он – второй пилот.
Меня убили в небе,
А он – второй пилот, -
Он без меня сегодня
Машины поведет.*

В 1965 году в переполненном зале ДК имени Кирова на Васильевском острове, где проходил заключительный концерт I Ленинградского конкурса самодеятельной песни, на сцену вышел молодой человек с пышноволосой курчавой головой и, смущенно улыбаясь, представился как тренер по фигурному катанию. Потом он взял гитару и запел:

*А я еду, а я еду за туманом,
За туманом и за запахом тайги.*

Так вошел в авторскую песню Юрий Кукин, без которого нельзя представить незабвенные шестидесятые.

Лирический герой Кукина далек от «суперменства», он не кичится своей страстью к путешествиям и тяготам экспедиционной жизни. Наоборот, он как бы просит извинения за органическую неспособность жить атрибутами мещанского уюта, наблюдать восходы с закатами из окна и «колера» – на выставках. Для него «берег не место для встречи, а скорее – начало пути». Несмотря на полное отсутствие восклицательных знаков в строке, эта жизненная позиция Кукина – чрезвычайно тверда.

Стихи в его песнях не всегда равноценны, но почти всегда поражают своей удивительной точностью и образностью:

*Горы головы в землю упрятали,
Обхватив их руками дорог.*

Любимые герои песен Кукина – сказочник, канатоходец, волшебник, и, наконец, клоун, – персонажи, несущие людям добро и улыбку, избавляющие их от грусти и уныния:

*Если же внезапно истинную грусть
Как-нибудь случайным жестом обнаружу,
Я подпрыгну вверх и я перевернусь,
И тогда опять вам буду нужен.*

В последние годы Юрий Кукин кабально много выступает и мало пишет. Это плохо, потому что он должен писать. Это хорошо, потому что он не может писать не от души, а «по заказу».

Рождение авторской песни в Ленинграде связано с клубом «Восток». Интересной особенностью первых вечеров-концертов «Востока», начавшихся в 1965 году, было то, что в этих концертах-дискуссиях принимали участие одновременно и «самодеятельные» авторы песен, и про-

фессиональные поэты и композиторы – Андрей Петров, Микаэл Таривердиев, Ян Френкель, Александр Колкер, поэты-песенники Лев Куклин, Ким Рыжов и другие. Участие профессионалов было необходимым условием для получения разрешений на эти концерты.

На первом вечере профессионалов представляли Андрей Петров, один из ведущих композиторов, весьма известный и популярный в ту пору, и поэт-песенник Лев Куклин, песни которого «Голубые города» и некоторые другие были тогда на слуху у молодежи. Самодеятельные авторы были представлены гостем из Москвы Александром Дуловым и ленинградцами Борисом Полоскиным, Евгением Клячкиным, Валентином Вихоревым, Виталием Сейновым и Валерием Сачковским. Александр Дулов пел ставшую к тому времени уже знаменитой среди моих коллег-геологов песню на стихи Игоря Жданова «Сырая тяжесть сапога», а также песни на стихи Виктора Сосноры, Юнны Мориц, Александра Кушнера, Олега Тарутина. Закончил он под бурные аплодисменты всего зала песней, которая уже тогда пользовалась всеобщей любовью – «Хромой король», на слова бельгийского поэта Мориса Карема:

*Железный шлем, деревянный костыль –
Король с войны возвращается домой...*

За ним выступал Клячкин, который спел «Сигаретой опиши колечко», «Этот город – он на вид утрюм», «На Театральной площади»...

Участники вечера, сидевшие в зале, получили опросные анкеты, где спрашивали о лучшей песне на вечере, кто больше понравился и каковы пожелания. Абсолютное большинство зрителей решительно высказалось в пользу первого отделения, в пользу авторской песни.

Вот отрывки из анкет.

«Товарищи, где ваше чувство меры? Две половины вашего концерта не стыкуются. Публика смеется над вами. Нельзя путать настоящие песни с большим подтекстом с песнями эстрады».

«В дальнейшем не сочетать эстраду с самодеятельными песнями и их исполнителями. Сравнение – увы – не в пользу эстрады. Ей не хватает искренности и непосредственности».

«Зачем Петров пишет столь хорошую музыку на столь плохие стихи?»

Были и такие пожелания: «В принудительном порядке отправить профессиональных поэтов и композиторов в турпоходы».

...После первого концерта было проведено еще несколько «комплексных» вечеров, где одно отделение занимали самодеятельные авторы, а второе – «профессионалы». Так, 10 ноября 1965 года в первом отделении абонементного концерта выступал один из ведущих ленинградских эстрадных композиторов Александр Колкер с очень популярными в то время профессиональными исполнителями Марией Пахоменко и Александром Серебровым, а во втором отделении – автор этих строк, как известно, никогда вокальными талантами не отличавшийся. На гитаре мне аккомпанировал Валентин Вихорев.

Часть моих песен в этом концерте пел молодой артист-исполнитель Илья Резник, ставший позже весьма популярным и преуспевающим автором, немало песен написавшим для Аллы Пугачевой. Тогда это был

высокий, застенчивый и красивый юноша, очень похожий на молодого Блока. На этом концерте он пел «За белым металлом», «Палаточные города», «Черный хлеб», «Бермудские острова», «Над Канадой».

Много лет спустя я неожиданно встретился с ним в Ленинграде на перроне Московского вокзала. Мы с женой стояли возле «Красной Стрелы», когда рядом с нами величественно проплыла высокая солидная фигура в бобровой шубе и такой же шапке. «Познакомься, – сказал я жене, – это один из столпов современной эстрады». Илья с высоты своего великолепного роста скептически оглядел мою затертую нейлоновую куртку и милостиво протянул два толстых пальца.

– Да, – произнес он, снисходительно улыбнувшись. – Еду в Москву встречать Аллочку из Италии. А ведь представляете, с чего я начал? – неожиданно обратился он к моей жене. – Я пел когда-то песни вашего мужа! – И, лучезарно улыбнувшись, величественно проследовал дальше.

В последующих концертах пели в основном самодеятельные авторы, вместе с которыми охотно и успешно выступали ленинградские поэты Олег Тарутин, Леонид Агеев и другие. А вот композиторы уже не отважились. Приехал, правда, как-то из Москвы только вошедший в моду Микаэл Таривердиев, но, узнав, что ему придется выступать «вместе с самодеятельностью», оскорбился и наотрез отказался участвовать в концерте, оставив вместо себя молодую исполнительницу Елену Камбурову, которая пела песни Окуджавы в музыкальной аранжировке Таривердиева, сильно их искажившей.

И все-таки продолжались концерты и дискуссии, а приезжавшие в гости и с выступлениями москвичи Александр Дулов, Юрий Визбор и Ада Якушева завидовали – «Вот бы нам такой клуб!»

На одном из концертов в декабре 1966 года после выступления Александра Дулова и Олега Тарутина развернулась острая дискуссия о «профессионализации» авторских песен.

К этому времени в Союзе композиторов состоялось несколько вечеров, посвященных «проблеме» самодеятельной песни. В декабре 1966 года первый вечер-диспут прошел во Всесоюзном Доме композиторов в Москве. Выступали там Александр Дулов, Юлий Ким, Сергей Никитин с квartetом и Юрий Кукин.

В ленинградском отделении Союза композиторов был устроен вечер, также вызвавший ожесточенную дискуссию. В нем принимали участие Евгений Клячкин и я. Несколько композиторов выступили на этом вечере с уничтожающей критикой. «Все это – торжество вопиющей музыкальной безграмотности», – заявил один. Другой (Александр Колкер) сказал: «Когда я слышу песни Городницкого, то ощущаю немедленную потребность спуститься вниз в буфет и чего-нибудь выпить, потому что трезвый человек такие песни слушать не может!»

Я вспоминаю слова Иосифа Бродского: «Свобода – это тогда, когда забываешь имя и отчество диктатора». Следует признаться, что я до сих пор отчетливо помню все имена-отчества диктаторов и не только всесоюзных – Никита Сергеевич, Леонид Ильич или Юрий Владимирович, но и областных – Фрол Романович, Василий Сергеевич или Григорий Васильевич...

В 1968 году официальная пресса начала массированное наступление на авторскую песню. Сигналом для нее, своеобразным «залпом Авроры», послужила статья в газете «Советская Россия», направленная против Высоцкого. Вслед за ней последовали другие статьи и заметки. Сурен Кочарян выступил в газете «Правда» с целым «подвалом», где писал об авторах самодельных песен:

«С гитарой под полой» или на плече самодельные певцы перекочевали из узкого круга своих сотоварищей на сцены клубов и дворцов культуры. Они не только выступают, но *(о, ужас! – А. Г.)* устраивают состязания, присуждают друг другу премии. Некоторые из них выезжают на гастроли. Иных, говорят, невозможно заполучить, или же – только «по блату» и за солидное вознаграждение... Они называют себя бардами, труверами, менестрелями... но право же, нельзя так уж свободно жонглировать такими глубоко содержательными понятиями. И те, и другие, и третьи выражали думы и чаяния своих народов, являясь их живой памятью, передавая лучшее следующим поколениям, выставя отрицательное на осмеяние и осуждение. Они умели вглядываться в жизнь, отличать в ней зерна от плевел, умели владеть стихом, инструментом, голосом для песни. Они беспрерывно, хотя и самодельно, оттачивали свое мастерство, потому и преуспели в этом».

Во всем вышеперечисленном: народности, таланте, умении владеть «стихом, инструментом и голосом для песни» бардам первого поколения – Окуджаве, Галичу, Высоцкому и другим – было решительно отказано.

Привычно восприняв выступления печати как команду, клубы и дворцы культуры отказались предоставлять помещения «бардам и менестрелям». Пошли запреты на конкурсы и фестивали. Наконец, чтобы поставить последнюю точку в разгроме «самодельной песни», газета «Известия» заказала большую статью одному из ведущих советских композиторов – многократному лауреату Ленинских и Государственных премий, депутату Верховного Совета СССР, автору популярнейших в народе песен – Василию Павловичу Соловьеву-Седому, жившему тогда на своей даче в Комарове.

Активисты клуба «Восток» прознали об этом и решили встретиться с Соловьевым-Седым и постараться отговорить его писать эту статью. Всеобщим решением отговаривать должен был я.

Встреча состоялась в жаркий июльский день на литфондовской даче, где раньше жила Анна Андреевна Ахматова, а в тот год – ленинградский поэт Лев Дружкин с женой. Василия Павловича, дача которого была неподалеку, уговорили прийти туда для разговора о самодельной песне. Помимо хозяев и меня, в кабинете было еще несколько человек, в том числе Володя Фрумкин и ленинградский драматург Аль. По случаю предстоящего разговора на стол было выставлено сухое вино.

Наконец, тяжело отдуваясь, появился покрасневший от жары Соловьев-Седой, в летнем полотняном костюме и тюбетейке. На присутствующих он даже не взглянул. Бросив взгляд на стол, произнес: «Водки нет – разговора не будет» – и, вытирая со лба обильный пот, развернулся на выход. Его с трудом уговорили подождать. Побежали за водкой.

Разговор все-таки состоялся. Вели его в основном Фрумкин, Соловьев-Седой и я. В течение без малого трех часов я рассказывал Соловьеву-

Седому об авторской песне, пел, как мог, фрагменты из песен Анчарова, Кима, Визбора, Высоцкого, Горбовского, Новеллы Матвеевой и других, рассказывал о клубе «Восток», пытался объяснить, что именем композитора хотят воспользоваться для удушения самодеятельной песни. Он внимательно слушал, много спрашивал, удивлялся, что до сих пор плохо знает об этом направлении.

Когда же я упомянул Галича, он неожиданно сказал: «Ну, про Сашу ты мне ничего не говори – это мой автор. Мы с ним работаем». «Как?» – удивился теперь я. «Да ты что, разве не знаешь?» – спросил Василий Павлович. Оказалось, что песня Соловьева-Седого «Протрубили трубы тревогу», которую еще в институте мы распевали по команде старшины на строевой подготовке, написана на слова Галича.

Встреча оказалась бесполезной. Несмотря на заверения Соловьева-Седого в поддержке, 15 ноября 1968 года появилась его статья «Модно – не значит современно».

Однако «закрыть» авторскую песню не удалось.

Оглядываясь назад, нельзя не заметить, что именно вторая половина шестидесятых и семидесятые годы – прежде всего в Москве – были временем максимального взлета авторской песни, подхваченной мощной волной движения КСП, быстро распространившегося по огромной стране. Именно в это время резко усилившаяся бездуховность и фальшь брежневской эпохи, отразившаяся, прежде всего, в стремительной деградации песенного искусства и доморощенной и убогой нашей эстрады, заставила молодежь, особенно чуткую ко всякой неправде и двоедушию, искать для самовыражения собственные слова и мелодии.

Довольно быстро сообразившее это партийное руководство во главе с Сусловым и Гришиным к концу семидесятых начало открыто расправляться с этим движением, увидев полную невозможность формализовать его через комсомол и направить в «нужное русло».

Именно тогда в 1968 году на берегу Волги, неподалеку от Куйбышева, зажгли первые костры ежегодного фестиваля памяти студента Валерия Грушина, погибшего при спасении детей на таежной реке; зазвонели гитары, зазвучали голоса молодых авторов.

Сейчас, когда возникло великое множество различных партий и «неформальных объединений», я думаю, что именно клубы самодеятельной песни в беспросветное, казалось бы, застойное время – в семидесятые годы, когда Суслов «над страной простер совиные крыла», – образовали первое «неформальное объединение». Песни, вокруг которых объединились люди, были не самоцелью, а лишь условным опознавательным знаком «свой-чужой», как на современных реактивных истребителях. «Ты любишь эти песни? Значит, мы любим одно и то же. Тогда иди к нам. У нас общие друзья, а, следовательно, общие враги». Как правильно написал Юрий Визбор в одной из своих песен:

*Слава Богу, мой дружище, есть у нас враги –
Значит, есть, наверно, и друзья.*

Повсюду – в институтах, на заводах, в городских районах создавались поющие «кусты», входившие в состав городских, районных и рес-

публиканских клубов. Места многочисленных фестивалей сохранялись в глубочайшей тайне, чтобы не пришли «хвосты». И хотя ничего «крамольного» в движении самодеятельной песни не было, оно все время находилось под неусыпным оком КГБ, которое, в частности, неоднократно бесцеремонно вмешивалось в работу жюри и составление концертной программы Грушинских фестивалей. Подсчитывали, например, «число людей еврейской национальности» в оргкомитете фестиваля и среди участников. Бдительно слушали у ночных костров, не запоет ли кто-нибудь сдуру запрещенные песни Галича или Кима.

Помню, какой скандал возник, когда после одного из фестивалей, уже на городском концерте, почетные гости и члены жюри Татьяна и Сергей Никитины спели свою знаменитую песню на стихи Давида Самойлова «Смерть Ивана». Ревнителям в штатском не понравились строчки: «Может, так проживем, безо всяких царей? Что хошь твори, что хошь говори!» «Это что же такое, кто разрешил петь?» – возмутились «инстанции». Все мои попытки возражать, ссылаясь на то, что эти стихи многократно опубликованы в книгах Самойлова, успеха не возымели.

Времена, впрочем, были крутые. Примерно в ту же пору в Саратове, где выступала с гастролями Елена Камбуrowa, бдительные партийные власти обратили внимание на «идейно не выдержанные» строчки в одной из исполненных ею песен:

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?

В Москву немедленно был отправлен донос, и выступления Камбуrowой надолго были прерваны.

Особенно лютыми были две атаки на авторскую песню и клубы КСП: первая началась в 1968 году сразу же после знаменитого фестиваля КСП в Новосибирске, где выступил Александр Галич. Неприятностей хватило не только организаторам, но и всем песенным клубам страны. Поводом для второй атаки, после которой партийные власти перешли к запрещению клубов самодеятельной песни и фестивалей, послужил в 1981 году юбилейный XXV фестиваль московского КСП, плотно обложенный стукачами, после чего сам клуб был распущен.

Говорят, что всемогущему в то время товарищу Гришину доложили, что КСП представляет собой серьезную опасность – «он может, передавая сообщение по цепочке, тайно вывести под Москву и собрать за несколько часов в условленном месте до десяти тысяч человек». «Нам такие клубы не нужны», – грозно заявил партийный лидер.

Припомнили и то, что на поляне, где проходил московский слет, красовался плакат «Слава КСП», и многое другое. Были закрыты и другие клубы, а заодно запрещены все фестивали, начиная с Грушинского. У меня дома до сих пор хранится фотография пустой поляны на берегу Волги, посредине которой на вбитом колу прикреплена надпись «Фестиваль отменен». Стихийно прибывших на берег Волги энтузиастов, пытавшихся собраться здесь «нелегально», вылавливала милиция и отправляла обратно. Запреты эти сняты были лишь с приходом «гласности».

С середины девяностых годов, в пору перестройки, авторская песня как будто потеряла свое бывшее значение. Из некогда крамольного на-

правления она стала как бы искусством ретро. Кому нужно теперь тихое звучание гитары, когда под электронный рев певцы современного «тяжелого рока» громко выкрикивают со сцен куда более политически острые строки под одобрительный гул приплясывающей толпы.

...На эти размышления навели меня события у Белого дома в августе 1991 года. В эти трагические, полные тревоги и надежды дни и ночи на баррикадах у Белого дома звучали молодежные рок-ансамбли, подбадривая усталых, промокших и практически безоружных его защитников. Об этих выступлениях рок-музыкантов писали газеты, их показывали по телевидению.

Гораздо менее известно другое: в самое тяжелое время, когда возводились баррикады, и одно тревожное известие спешило сменить другое, люди, стоя под дождем в темноте, пели «авторские песни» шестидесятых годов. Это не было концертом. Пели люди у Горбатого моста, передавая по цепочке камни из развороченной мостовой и складывая из них баррикаду, пели под проливным дождем, плотно, плечом к плечу прижатые в толпе под балконом Белого дома, когда Руцкой объявил о возможности близкого штурма и попросил отойти назад от стен – на случай, если полетят стекла.

Туда пришли ребята из московского Центра авторской песни, прихватив с собой несколько гитар и спальные мешки. Они пели всю ночь, и песни подхватывали окружающие.

Что пели? Ну конечно, «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке» – песню, как бы специально для этого написанную. Если меня не подводит память, Булат Окуджава написал эту песню для спектакля «Глоток свободы» – о декабристах, так же героически стоявших когда-то на Сенатской площади. Пели «Атлантов». И сам я до хрипоты много раз их пел, и меня самого поражало, что старые слова обретают новый смысл. Пели Визбора: «Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?» – и эта песня тоже оказалась кстати. Пели Кукина и Долину, Анчарова и Якушеву, Новеллу Матвееву и Галича, и неизвестные мне песни молодых авторов.

Около семи вечера двадцатого августа, когда я стоял в цепи у Горбатого моста и передавал из рук в руки камни для баррикады, а по радио в очередной раз объявили об опасности штурма, ко мне подошел какой-то паренек и, внимательно посмотрев на меня, сказал: «Александр Моисеевич, это вы? Можно я встану рядом с вами?» Большого комплимента как автор я не получал в жизни.

Говоря об авторской песне, нельзя не коснуться ставшего уже традиционным пренебрежительного к ней отношения не только со стороны многих профессиональных композиторов, но и многих ведущих поэтов. В одной из своих статей любимый мною Александр Кушнер написал, что авторская песня «это особый вид массовой культуры, к поэзии, за редким исключением, отношения не имеющий». И далее: «Люди, пропевающие свою жизнь, заменяют мышление пением, – философ сказал бы, что они не существуют».

В конце 70-х я присутствовал на поэтическом вечере Давида Самойлова в Останкино. Отвечая на вопрос о художественной значимости ав-

торской песни, он сказал, поморщившись: «Настоящая поэзия не нуждается в гитарной подпорке».

«Нет, не нужно, меня не интересует этот жанр», — ответил Иосиф Бродский автору песен на его стихи Евгению Клячкину, предложившему прислать пластинку.

Такое пренебрежительное отношение к «бардам», как правило, характерно и для других профессиональных поэтов, полагающих, что если стихи читаются с листа, то они «настоящие», а если их надо петь, то это уже и не стихи, а неизвестно что.

Несмотря на огромную популярность посмертно опубликованных песен Галича и Высоцкого и их безусловное поэтическое новаторство, ревнители «истинной поэзии» все так же пожимают плечами, как это делали их предки еще во времена Аполлона Григорьева. Я же не понимаю, чем хуже поэтическая строка, которая поется, той, которую можно только читать. Что потеряли, и потеряли ли вообще что-нибудь, став песнями, такие стихи, как «Выхожу один я на дорогу» и «Парус» Лермонтова, «Гренада» Светлова, «Повремени, певец разлук» Самойлова, «Мы под Колпино скопом стоим» Межирова, «Пилигримы» Бродского?

Когда я беру в руки книги стихов Окуджавы, Галича или Кима, мне, действительно, трудно читать их, не воспроизводя в памяти мелодию, ну и что из этого? Ведь то же самое происходит с пушкинскими, лермонтовскими или тютчевскими стихами, положенными на музыку, что несколько не делает их хуже.

Есть и другая позиция, наиболее четко выраженная в статье Дмитрия Сухарева «Введение в субъективную бардистику», опубликованной в журнале «Знамя» (№10, 2000) и представляющей собой журнальный вариант предисловия к составленной им «Антологии авторской песни».

Согласно Сухареву, песня только тогда «истинно авторская», когда бард (читай — композитор) придумывает мелодию на готовые стихи профессионального поэта.

При этом приводятся примеры всем известных песен на стихи Иосифа Бродского, Александра Величанского, Редьярда Киплинга, Юнны Мориц. Продолжая этот список, мы тут же вспомним и самого Сухарева. Тех же, кто сочиняет сразу и стихи, и мелодию, Дмитрий Сухарев называет «дилетантами».

Он пишет: «Вряд ли нужно доказывать, что начальная пора авторской песни действительно прошла под знаком возвышенного дилетантизма. Это касается всех, включая классиков жанра. Пальцы одной руки загну, вспоминая писавших крепкие стихи, пальцы другой оставлю для авторов достойной музыки, один палец подожму на ноге, дабы не забыть того, который выделялся умением работать на сцене». Этим заявлением Сухарев сразу отказывает авторской песне в принадлежности к литературному ряду¹ и предлагает судить ее по законам эстрады, где «умение

¹ Возможно, здесь уместно напомнить, что «ИЖ» публикует и материалы авторов, чьи взгляды могут не совпадать с мнениями других авторов нашего журнала и членов редколлегии, которые прочли упомянутую статью Д. Сухарева несколько иными глазами.

работать на сцене» не менее важно, чем уровень поэзии поющих стихов. Вот уж не знаю, умел ли «работать на сцене» один из лучших поэтов серебряного века Михаил Кузмин.

Кстати сказать, Дмитрий Сухарев и не скрывает, что, по его мнению, авторская песня вообще не литературный жанр: «Наверное, каждый согласится с утверждением, что это один из музыкальных жанров современной русской культуры». Не каждый, – я, например, не соглашусь. Это расплывчатое определение мне не нравится. Гораздо лучше четкая формулировка Альтшулера: «Музыкальное интонирование русской поэтической речи».

Согласно Сухареву, отказавшему «триединым авторам» в профессионализме, в число «дилетантов» автоматически попадают такие поэты как Булат Окуджава, Александр Галич, Новелла Матвеева, Владимир Высоцкий, Юлий Ким. Впрочем, трудно спорить о поэзии с автором статьи, который и самого Тютчева не жалует. Цитируя полюбившуюся ему матерную частушку: «Теща бл..ща / Блинищи пекла. / Уронила сковородищу – / Пи...ищу сожгла», он заключает: «Это вам уже не Тютчев, а поэзия сама». Да уж, – это и впрямь не Тютчев!

Заочно полемизируя с Булатом Окуджавой, Дмитрий Сухарев пишет: «Евгений Рейн считает Высоцкого посредственным стихотворцем, а для Окуджавы Высоцкий – «явление». Боюсь, что ближе к истине Евгений Рейн». И далее: «Булат Окуджава выводил авторскую песню из поэзии Дениса Давыдова и Аполлона Григорьева. Чаше ее выводят из «Бригантины» и «Глобуса». Обе песни – самодеятельность самого, я бы сказал, среднего пошиба».

Ну, что тут скажешь! Обе эти песни, – и «Бригантина», и «Глобус», – одни из самых любимых для меня, более сорока лет проводящего в экспедициях. И, в отличие от сурового Дмитрия Антоновича, я никак не могу считать «самодеятельными поэтами» Павла Когана, Михаила Светлова и Михаила Львовского, автора знаменитой песни «На Тихорецкую состав отправится».

«Это сейчас, в последние годы, – продолжает Сухарев, – авторская песня мощно прирастает великой поэзией, а тогда было иначе». Примеров этой «великой поэзии» в авторской песне, пришедшей на смену «дилетанту Окуджаве» Дмитрий Антонович почему-то не приводит.

В чем же специфика песенных стихов? Мне кажется, что стихотворная основа песни должна обладать главными достоинствами стихотворения, и в то же время не выносит некоторых его черт. Например, стихотворение может быть длинным. Читатель может отложить книгу, чтобы потом вернуться к ней. Песня должна быть краткой, чтобы восприниматься на слух. Вспомним, как безжалостно и точно обрубил народ стихи Рылеева про Ермака. Песня гораздо короче «Думы», да и то ее редко допевают до конца, чаще вянут где-то на середине. Так же неумолимо народ сократил и «Коробейников» Некрасова.

Песне противопоказана метафорическая усложненность, многоступенчатая система тонких ассоциативных связей. Многие стихи Пастернака, Мандельштама, Ходасевича петь просто невозможно. Песня должна быть внешне проста, подчеркиваю, – проста, но не примитивна, чтобы

восприниматься с первого же прослушивания. Иначе ее не поймут, а, следовательно, не услышат. Кроме того, в песне, за исключением, пожалуй, старинных баллад, не прививаются излишне конкретные черты и детали. Обратимся снова к Некрасову, одному из наиболее «поющих» поэтов XIX века. В знаменитой песне «Что ты жадно глядишь на дорогу» оказалась выброшенной, например, такая замечательная строфа:

*Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник,
И свекровь в три погибели гнуть.*

Как ярко и зримо написано, а вот не поется! Я долго не мог с этим примириться и лишь значительно позднее понял, в чем дело: в этих строках – уже деталь, конкретизация образа, а песня сохраняет только общие черты. Из нее уходит все, что касается конкретного персонажа, героини, ее личной судьбы, не созвучной тем, кто поет.

Потому что народная песня (а авторская песня по духу сродни именно ей, а не эстрадной), нужна людям не только для того, чтобы слушать ее на концертах, но и чтобы петь самим. Она, может быть, бессознательно, рассчитана на соавторство тех, кто ее поет. Это предъявляет к стихам песни еще одно обязательное условие: язык песни должен быть естественным, как дыхание, легким и удобным, привычным. Вот уж чем в совершенстве владел Высоцкий – органикой современного разговорного языка, его ритмом, его внутренней музыкой! Любое препятствие на этом пути немедленно размывается, как берег рекой. Достаточно вспомнить пример с известной песней на стихи Демьяна Бедного:

*Как родная мать меня / Провожала,
Как тут вся моя родня / Набежала.*

И рифма на месте, и складно, да вот не так, и сразу же возникла единственная для дыхания строка: «Как родная меня мать». Для русского уха привычнее, когда слово «мать» стоит в конце.

Вот и получается, что к песенным стихам должен быть предъявлен еще более жесткий уровень требований, чем к «обычным», привычно читаемым с листа. Оппоненты авторской песни часто ссылаются на то, что по радио и телевидению звучат бездарные тексты песен под гитару, рекламируемые как «авторская песня». Но ведь и книжные магазины до отказа заполнены рифмованной макулатурой, к поэзии никакого отношения не имеющей.

Этот странный литературно-песенный жанр невозвратно уходит из сегодняшней жизни и становится историей. На первый взгляд, все наоборот – массовыми тиражами выпущены посмертные диски и книги столь одиозных некогда Галича, Высоцкого, Окуджавы и других авторов первого поколения. Авторской песне охотно предоставляют эфир телевидение и радио. Вышедшая из подполья многотысячная армия «каэспэшников» собирает свои шумные фестивали по всей России – от Курска до Челябинска и Норильска. Полны концертные залы в Москве, Петербурге и других городах Фестиваль памяти Валерия Грушина, также

запрещавшийся ранее, собрал в прошлом году на берегу Волги под Самарой более двухсот пятидесяти тысяч участников. Вышло даже учебное пособие по авторской песне для средней школы. И все же что-то неуловимо изменилось.

Как писали когда-то Ильф и Петров, – автомобиль вначале изобрел пешеход, но про это быстро забыли. Рождение авторской песни связано было прежде всего с исполнением стихов под гитарный аккомпанемент, ее главными характерными чертами были поэтическая строка и доверительная интонация, отличавшие ее от официальной эстрады. Вот этого-то теперь почти и не осталось.

С перемещением авторской песни от кухонных застолий и таежных костров на концертные эстрады, на смену тихоголосым авторам, не слишком умело владеющим гитарой, быстро пришли солисты, дуэты и ансамбли, с профессиональными голосами и инструментами. То, что по инерции и недомыслию сегодня еще называют авторской песней, давно уже, по существу, срослось с эстрадой, отличаясь от нее, пожалуй, только более низким исполнительским уровнем, и интегрируется в беспощадную рыночную систему шоу-бизнеса. «Окуджава не может держать своими песнями стадион, а я могу. Так кто настоящий поэт, – Окуджава или я?» – гордо заявил несколько лет назад один из самых популярных бардов нового поколения.

Многие годы мне довелось принимать участие в работе жюри самых разных конкурсов и фестивалей самодеятельной песни, и я не мог не обратить внимания, как необратимо меняется состав их участников. Все больше исполнителей и ансамблей, часто очень хороших. Все меньше поэтов, придумывающих мелодии на свои стихи, а уж хороших и того меньше. И дело не только и не столько в их физическом отсутствии, – вред ли Россия оскудела талантами, – сколько в не востребованности.

Изменилась сама эпоха, невозвратно уйдя от наивных шестидесятых. Исчезла столь привлекательная запретность яростных обличительных песен Галича и Высоцкого, да и сами герои и антигерои этих песен переместились во вчера и стали предметом истории. Столь грозный некогда «магнитофониздат», так же как и «самиздат», потерял свою актуальность. То, что раздается сегодня с телеэкранов и эстрад под громкие звуки гитар под эгидой «авторской песни», уже другая культура. Можно спорить, лучше она или хуже, но она другая, и к литературе никакого отношения не имеет.

Поэзия – дело тихое и интимное. Она так же отличается от эстрады, как любовь от секса. Можно прекрасно петь и оркестровать песни, но никакие децибелы, никакая аранжировка и режиссура не искупят убогости текста, как поэтической, так и смысловой. Совсем не гитарный аккомпанемент, а именно поэтическая строка является, по моему мнению, главной отличительной особенностью авторской песни. Она может звучать и под фортепиано (Вертинский, Кузмин), и под другие инструменты. Да и ведущие авторы поколения, положившего начало этому жанру – Булат Окуджава, Новелла Матвеева, Александр Галич, Владимир Высоцкий, Юлий Ким, Юрий Визбор, Ада Якушева, Михаил Анчаров, Юрий Кукин – прежде всего, талантливые поэты.

Самуил Шварцбанг

О «ЖИДОВЕ» И О «ЖИДЕХЪ»

Историко-семантические заметки

...исследование семантических изменений литературной лексики должно носить историко-стилистический характер.

В. В. Виноградов

Кому из нас не приходилось слышать или читать неприятное, гнойное слово «жид».

Наша реакция всегда была адекватной: кулак, инвектива... и выплеск на супостата историко-культурного ярлычка – антисемит!

Казалось бы, наши действия были вполне справедливы, поскольку слово «жид» включало в себя ряд таких метафорических коннотаций, как «хриstopродавец», «скряга», «ростовщик», «мелочный нечестный человек» и т. д. И хотя было доказано, что «эмоционально-отрицательный характер слова в русском языке сформировался не ранее XVI – XVII вв.» и «оскорбительного оттенка в древнейших славянских памятниках за ним не замечается»¹, для нас, как и для генерала Макашова или же национал-большевика Лимонова, подобные тонкости не имели никакого значения.

Смушало одно: в польском, чешском, словенском, сербохорватском, словацком, ниже- и верхнелужицком, болгарском и македонском языках слово «жид» и по сей день является вполне нормативным. А если бы не советская власть, таковым бы оно осталось и в прибалтийских языках, не говоря уже об украинском и белорусском.

Лет пятнадцать тому назад, занявшись изучением памятников старославянской письменности, я обнаружил, что в этимологических словарях объяснений этому феномену нет. Впрочем, еще большее удивление вызвал тот факт, что в качестве словарной единицы было избрано слово «жид», начисто отсутствующее в памятниках славянской письменности X – XI вв.

Однако именно это слово и описывалось как лексическое заимствование «через балканором. языки из ит. *giudeo* «еврей», лат. *judaeus*; *ju-* дало *žy-*, затем *ži-*»².

Лишь в старой Еврейской энциклопедии рядом с ним было указано и слово «жидовин», хотя, справедливости ради, следовало бы указать «жидове». Статья, подписанная инициалами И. Б. (И. Берлин), оказалась крайне информативной: «...славянская форма лат. *judaeus* и древнее русское народное название еврея... В русской былинe о жидовине, в сербских песнях о Джидовине, Джидиге-исполине и в болгарских пре-

¹ Н. Переферкович. Филологические заметки. ЖМНП, 1913, окт., с. 269.

² См.: М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. М., 1986, т. 2, с. 53.

даниях о жидях-гигантах «Жидовин» является необыкновенным исполином, с которым воюет Илия-змееборец... По современным же болгарским преданиям, жи́ды являются первыми людьми на свете... Мотив же о Ж.-врагах возник из другого христианского представления о Ж. – гонителях Христа... У других славянских народов Ж. до сих пор сохранился, как *народное* название, хотя имеется и другой термин: еврейн у болгар, *starozakonny* у поляков и т. д.» (т. VII, стлб. 587-588).

В памятниках славянской письменности X – XI вв. словоупотребление лексических единиц «еврей – израильтянин – иудей = *жидове* (*жидовинъ*)» достаточно четко маркировано:

1. Εβραῖος – *Hebrais* – עִבְרִי [от Εβερ – Eber – עֵבֶר] – обозначает в Священной истории «избранный народ» до ухода в Египет;

2. Ἰσραήλ – *Israhel* – יִשְׂרָאֵל [от Ἰσραήλ – Israhel – יִשְׂרָאֵל] – имя «избранного народа» до Исхода;

3. Ἰουδαῖος – *virī Iuda* – יְהוּדִים [от Ἰουδας – Iuda – יְהוּדָה] – название одного из «колен Израилевых» после распада еврейского государства на северное и южное царства;

4. *Жидове* (мн. ч.) – в комментариях к новозаветной истории и по отношению к евреям диаспоры.

Первые три *самоназвания* были использованы в греческом и латинском языках – от Гераклита (V в. до н. э.) до Артемидора (II в. н. э.)³. Столь же неукоснительно они употреблялись и в наследии «святых отец»⁴.

Конечно, при переводе некоторых «толковъ» святых отцов II-VII вв., ряда литургико-паримийных и апокрифо-исторических текстов можно наблюдать некоторое смешение словоупотреблений, но оно, скорее, является результатом или более поздних переводов или же позднейших поновлений (кажется, «*жидъ*» и «*жиды*» в русских летописях, хронографах, палаях и т. д., которые дошли до нас в рукописях XIV-XVI вв., являются скорее носителями лингвистических изменений, нежели словарными моделями X – XIII вв.).

Следует отметить, что ни в греческих, ни в латинских оригиналах (следовательно, и в переводах на другие языки, за исключением старославянских, а затем и древнерусских памятников) столь строгой маркированности нет, ибо все наименования «избранного народа» были синонимизированы на основе их происхождения от *имен собственных* «Евер = Израиль (Иаков) = Иуда («колено»)).

Зато отсутствие во всех европейских языках какой-либо лексической единицы, которая была бы подобна старославянской лексеме, изначально употребляемой к тому же только во множественном числе («*жидове*»), требует историко-семантического объяснения.

Независимо от своего генезиса (из греко-латино-итальянского *ιουδαῖος* – *judaicus* – *giudeo*) «*жидове*» изначально включило в себя и значения, не свойственные, да и не содержащиеся в «именных» семах

³ См.: «Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме». В 2-х кн. Москва – Иерусалим, 1997 – 2000.

⁴ См., напр., *Migne, Patrol. graecae*.

(ср. в польском языке нарицательное существительное «*staro-zakonny*» в качестве синонима к слову «*żyd*»).

Логика словоупотреблений «нарицательного» этнонима в старославянских памятниках понятна: «*жидове*» – это наказанные Богом и рассеянные им «евреи, Израиль, иудеи», которые не приняли Иисуса Христа в качестве мессии, посланника, помазанника, спасителя и которые продолжают *жить* среди других народов.

Именно это обстоятельство и легло в основу противопоставления ветхозаветным *самоназваниям* (Израиль, евреи, иудеи) славянского *чуженазвания* новозаветных «врагов» Иисуса. А если учесть географию возникновения старославянской письменности (Болгария, Македония, Паннония, Моравия) и направления ее распространения в X – XI вв. – с Балканского полуострова на северо-запад, а затем на северо-восток, – то честь *изобретения* этой идеологемы должна принадлежать непосредственно славянским святителям Кириллу (Константину) и Мефодию или их ближайшим ученикам.

Многомудрие солунских братьев не вызывает сомнений: оба прекрасно знали и греческий, и латынь. А в их «Житиях», дошедших до нас в рукописях XIV – XV вв., сообщается и о том, что по дороге к хазарам на диспут о вере Кирилл (Константин) научился еще и «сурьскому» – языку Таргумов⁵. И хотя традиция приписывает Кириллу почетное звание создателя славянской письменности (не то глаголической, не то кириллической), суть деяний его намного точнее выражена в церковном титуле «святитель», т. е. посвящающий в христианство.

Появление в славянских языках «чужого» названия (которое, по Фасмеру, «было достоверно известно славянам с IX в.») и вытеснение им библейских самоназваний не может быть сведено к какому-либо заимствованию или калькированию: «тайна» славянского неологизма лежит отнюдь не только в сфере блестяще обоснованных этимологий, но и в сфере его словоупотребления в сугубо историко-стилистическом контексте.

Итак, заимствованное самоназвание «*жидове*» (из лат. *judaeus*) в старославянских переводах, имеющих как бы временной указатель «после разрушения Второго Храма», приобрело дополнительное значение «врагов Христа», а вместе с ним и само слово «*жидове*» оказалось противопоставленным ветхозаветным наименованиям «избранного народа».

Метафоризация «*жидове*» не могла не подключить и дополнительные приращения смыслов: см., например, связь слова «*жидове*» с такими неожиданными словами, как «*жизнь*» и «*животь*» [Старославянский словарь (по рукописям X-XI вв.). М., 1994]». Об одном из таких приращений, оказавшем существенное влияние на становление указанной идеологемы («*жидове*» – враги Христа), следует рассказать.

⁵ *Таргум* – в раввинистической литературе название перевода Библии на арамейский язык.

При просмотре глаголических и кириллических памятников оказалось, что «жидовинъ» в X в. встречается при переводе только одной фразы из Евангелия от Иоанна, которая к тому же отсутствует в других евангелиях: «Ѡвеша емѹ пїлатъ: еда азъ жидовинъ есмь» – «Отвечал Пилат: разве я жидовин» (18: 35).

Естественно, что в греческом и латинском текстах Евангелия, как и при цитировании этих слов святыми отцами, например, Иоанном Златоустом, употребляется *Ioudaіc* – *judaеus*.

Однако славянский компилятор антииудейских толкований в *Изборнике XIII века*⁶ воспользовался этой уже идеологизированной формой «жидовинъ», содержащей противопоставление живущих в рассеянии евреев их ветхозаветным предкам.

После VII в. (да еще с учетом исламской экспансии и завоевания мусульманами Святой земли) концепция об «отвержении жидовъ» и об «отпадении» избранного народа от «правильной» веры не могла не закрепиться в сознании «просвященных» язычников, которыми в IX – X вв. как раз и были славянские народы...

Сперва христианин (я цитирую фрагменты старославянской рукописи в переводе на современный русский язык, в круглых скобках указываются страницы – С. Ш.) объяснял: «Кто, Жидовине, является надеждой (чаганіемъ) для народов? Иуда ли, что ли, сын его Фарес, что ли? А, может быть, думаешь, царь Давид? Пойми, Жидовине, что не Иуда, не Давид, а Господь – надежда народов... и как не исчезнут князья от Иуды, и вожди от стегна его, так сохранится у народов надежда. Это было сказано до пришествия Христа. Но когда пришел Христос, эта надежда была отнята, потому что явился другой царь, называемый Иродом...» (с. 189-191). А затем приписал комментарий: «От стегна Иуды, князья и старейшины, по-прежнему вы чаєте первого пришествия, а в *пришедшего* – не веруете. Мы же чаем уже второго пришествия Его. О первом приходе Его говорил пророк (Исайя), а о втором глаголил Даниил...» (с. 192 – 193).

Не трудно увидеть в речах к Жидовину основную идеологическую тезу славянского христианства: о *первом* пришествии посланника Бога сказано у Исайи, а о *втором* – в книге Даниила.

Язычники, не видевшие и не слышавшие мессию, поверили в то, что он уже, согласно пророчеству Исайи, приходил в *первый* раз и верят в то, что он придет, согласно Даниилу, во *второй* раз.

Евреи же (иудеи, Израиль), *верившие* в пророчество Исайи (т. е. первое) и *видевшие и слышавшие* Иисуса, не приняли его в качестве посланника, за что и были изгнаны из своей страны и рассеяны по миру.

Вместе с тем, представления, что Антихрист должен был явиться вовсе не из рода Иуды, а из рода Измаила, могли получить распространение только до отвоевания крестоносцами Иерусалима в 1099 году: «От Исаака идет род Иуды. От племени его и родился Христос. А

⁶ См.: The Izbornik of the XIIIth Century. (Полата кѣнигописьна. Дѣло [H. Wątróbska]). Switzerland, 1986.

племя Измаила сойдет в ад, но из этого племени родится Антихрист. Зато все потомство Исаака примет крещение...» (с. 178).

В такой логике антииудейского трактата явным *анахронизмом* оказывались «ветхозаветные» ожидания (чаянья) иудеев своего «Машиаака», ибо они обязаны были признать, что мессия уже приходил, и вследствие этого они должны креститься, чтобы вместе с христианами чаять второго пришествия Иисуса. Ну, а те из иудеев, кто этого не сделает и кто в упорстве своем будет ждать (чаять) первого (по Исайе) пришествия Божьего посланника, не спасется.

Рассуждения христианина оказались абсолютно неприемлемы для иудея: «Жидовинъ же сказал: «В конце времен придет Тот, а принятый вами – мнимый, ибо родился Он раньше, чем наступил конец царства человеческого. Поэтому вы бессмысленно (*безъ оума*) надеетесь (*чаяти*) на Его царство (*того црьства*)» (с. 194).

Христианин, естественно, не согласен с таким «жидовинъ»: «Ты, Жидовине, какое имя дашь тому, который должен (по Исайе – С. Ш.) родиться сперва. Я скажу, а ты пойми: того, кого вы ждете (*чаєте*), зовут Машика (так в тексте – С. Ш.), называемый Антихрист (*глемъи антихрьсть...*), и этого ожидаемого (*чаемаго*) Машиаака, (так в тексте – С. Ш.), которого зовут Антихрист, поставят Жидове царем. Ты, Жидовине, все еще ждешь первого Его прихода, а мы уже ждем (*чаемъ*) второго Его прихода, ибо Его мы признали при первом пришествии, а ты не признал...» (с. 196).

Почему еврейский *משיח* (греч. *Χριστός*) вдруг оказался Антихристом, сказать невозможно, если, конечно, не признать, что подобная концептуальная позиция *не могла возникнуть* в первые века христианства. Следовательно, она и не могла найти свое отражение в ранних работах святых отцов, считавших, что «...олива уподоблена Богу, а Жидове уподоблены веточке, присаженной к нему... Жидове, как масличная веточка, были привиты к вере в Бога, но впоследствии, как веточка, отломились... Суть веры – надежда. Поэтому и Жидове могут быть снова привиты к *надежде*, если вернуться к вере и крестятся...» (с. 177).

А они, «жестоковыйные», не вернулись и не крестились...

Нетрудно заметить, что в таком контексте «толковъ» семантическое поле «жидове» аккумулировало в себе смыслы таких посторонних ранее слов, как «надежда», «чаянье», «ожиданье». В результате этого ставшее уже нарицательным наименование «избранного народа» метафорически переосмыслялось. При этом «звукоподобия» разных и не связанных друг с другом слов – «жидомъ, жидехъ, жидовъ / Жьдати, жидж и жьдехъ» – играли, видимо, в процессе метафоризации не последнюю роль.

Обратимся еще раз к «Старославянскому словарю», в котором, естественно, русского слова «ждать» не оказалось. Зато были отмечены его словоформы: «Жьдати, жидж и жьдѣ, несов. кого, чесо, чесомоу или без доп. (26)⁷ [жѣда Супр (4), живѣшоу Ен (1)]... ждати, ожидать čekat., očekávat... Ср. ожидать, пождать, чати».

⁷ В круглых скобках указано количество словоупотреблений.

Судьба слова «ждать» в других, отличных от русского, славянских языках была неожиданной: «Итератив -ждать (только с приставками...)... Украинский *ждати* [чаще *чекати*]... ср. болгарский *чакаць* – «ждать». Из зарубежных славянских языков этот глагол теперь сохраняется лишь в некоторых, да и то за пределами разговорной речи: чешский *ždāti* – «ожидать» (только книжн., обычно же *čekati*); старопольский *ždać* (совр. польский *czekać*). Ср. болгарский *чакам* – «ожидая», «жду»; сербскохорватский *чѐкати*; словенский *čakati* и др. Древнерусский (с XI в.) *жьдати* : *жидати*, ед. ч. *жиду* : *жду*»⁸

Фонетическая сближенность поздней формы существительных «*жидомъ*, *жидехъ*, *жидовъ*» и глагольных вариаций «*жидѣхъ*, *жидехъ*» вызывала в народном сознании каламбурные переосмысления на «основе глагола *ждать*» (В. В. Виноградов, *ibid.*, с. 163) даже таких слов как «жидомор».

Однако для нас более важно то, что именно в тех славянских языках, где глагол «ждать» оказывается «за пределами разговорной речи», слово «жид» становится литературно-нормативным.

Собственно говоря, *семантическая* история слов «*жидове*» и «*жидати*», а не их *этимологическая* связанность / несвязанность позволяет уяснить достаточно скрытый механизм антииудейской полемики в памятниках старославянской письменности XI – XIII вв.

Что же касается *этимологии* слова *жидъ*, которая была установлена М. Фасмером (а на фонетико-морфологическом уровне доказана Х. Бирнбаумом⁹), то, несмотря на свое правдоподобие, она мне просто не интересна. Хотя бы потому, что в жизни каждого филолога есть странные минуты влюбленности в какую-либо навязчивую идею. Коллеги и друзья могут сколь угодно, печатно и устно, подшучивать над нею, критиковать, обвинять в эклектике, но все равно эта идея не дает тебе спать и, как зубная боль, мучает, терзает и требует... своего места под солнцем.

⁸ П. Я. Черных. Историко-этимологический словарь современного русского языка. В 2-х тт. М., 1994, т. 1, с. 294.

⁹ См.: *Slavica Hierusolymitana*, vol. VII, Jerusalem, 1985, pp. 1 – 15.

Леонид Черкасский, Элла Щульга
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» НА ИВРИТЕ,
или СЧАСТЛИВАЯ ВСТРЕЧА

(Журнальный вариант)

К 200-летию А. С. Пушкина в Израиле под научной редакцией Самуила Шварцбанда вышло в свет новое издание «Евгения Онегина», переведенного на иврит Авраамом Шлэнским.

Шлэнский был новатором в ивритской поэзии, обогатившим ее достижениями европейской и особенно русской поэзии конца XIX – XX вв. Он опирался на традиции переводческого искусства, восходящие к эпохе Второго Храма, когда еврейские мудрецы переводили на греческий книги ТАНАХа. В XII веке теолог и философ Маймонид (Рамбам) сформулировал принципы перевода, в силу своей универсальности актуальные по сей день: «Переписывающему с одного языка на язык иной, должно прежде понять суть, а затем рассказать и разъяснить... и не можно ему без того, чтобы опередить и отстать, и рассказать единое слово многими, и рассказать многие слова одним, добавить в одном, убавить в другом, и так разъяснится суть дела во всей красе и постигнется язык иной через язык, на который он переписан».

Шлэнский оказался верным последователем своего далекого наставника. Он был хорошо знаком и с современными ему достижениями теории художественного перевода.

Шлэнский перевел на иврит значительную часть пушкинского наследия: «Борис Годунов», «Медный всадник», «Маленькие трагедии», лирические стихи, роман в стихах «Евгений Онегин»¹. (Первый в его жизни перевод – «Сказки» Пушкина (1918) – в смутные времена был утерян).

В статье «О работе переводчика» (1955) он писал: «Мы, отдающие свои силы переводу классической литературы других народов, не занимаемся импортом, который разоряет духовное хозяйство оригинального творчества; напротив, мы укрепляем национальную культуру».

Работая над переводом, Шлэнский использует все ресурсы иврита. Он пишет: «...переводчик живет жизнью собрата-творца во всех проявлениях его личности, во всех «жестах». Когда я перевожу другого поэта, я понемногу начинаю предугадывать и предчувствовать особенности его языка, его выражений, и порою начинает казаться, что вот это слово ему ненавистно, а это он любит, этот оборот – в его духе, а этот – ему отвратителен, и упаси меня бог им воспользоваться!» (1966). Шлэнский поразительно чувствует ткань оригинала, и если нужного слова в иврите нет, он придумывает новое, не нарушая при этом законов языка. Он обогатил иврит множеством новых выражений и создал новую поэтику, знаменовавшую переход

¹ Добавим, что в Израиле также переведены «Арап Петра Великого», «Пиковая дама», «Граф Нулин», «Гавриилиада», «Домик в Коломне».

от риторической дидактической поэзии к модернизму и символизму. Он писал, переводил и совершенствовал язык, на котором писал.

Пушкин «менее всех мировых гениев, — пишет В. Непомнящий, — переводим на другие языки и хуже всех постижим в переводе: в иноязычных культурах он берет за душу лишь тех, кто знает и любит наш язык, нашу культуру, кому Россия не чужая духовно». Русский язык Шлэнский знал, как родной, глубоко изучал культуру России и много лет переводил на иврит ее поэзию, прозу и драматургию.²

Произошла счастливая встреча поэтов-реформаторов своих национальных языков — Александра Пушкина и Авраама Шленского.

Перед Шлэнским стояла задача огромной трудности: передать на иврите сочетание поэтического и бытового, книжного и разговорного, просторечий и церковно-славянских речений — всех составляющих литературного языка «Евгения Онегина». В первом варианте перевода, вспоминал он в 1966 году, преобладала стилистика «возвышенная». Затем началась борьба за «секуляризацию» художественного текста (заметим, что это слово латинского происхождения Шлэнский написал по-русски), дабы сблизить на языковом уровне «святыню» и «быт». Переводчик был удовлетворен результатами работы: «Сейчас, полагаю, мне удалось доказать, что на иврите возможно сочетание этих двух «крайностей», возможно слияние воедино возвышенно-величавого и повседневно-бытового».

Первое издание перевода «Евгения Онегина» на иврит (1937) было приурочено к столетию со дня гибели великого русского поэта. В четыре последующих издания переводчик вносил поправки и уточнения, а в пятое (1966), как можно прочесть в предисловии к очередной публикации (1992) Арье Аарони, «Шлэнский вложил столько усердия и душевных сил, что вся прочая его деятельность носила в это время побочный характер».

Сам Шленский писал так: «Со дня выхода первого варианта «Онегина» прошло почти 30 лет. Это была эпоха динамичных, почти революционных перемен в иврите, перемен как качественных, так и количественных. Они затронули и речь повседневную, разговорную, и язык поэзии. Целое поколение новых поэтов, унаследовавших от предшественников мелодику «ашкеназийского слога», теперь осваивало и совершенствовало иную мелодику нашей поэзии — «сефардский слог», шлифовало его форму и средства. Это позволяет переводчику и обязывает его вернуться к переводам поэзии Пушкина, к «Евгению Онегину» в частности, который сейчас выходит в свет в новом, переработанном и исправленном варианте».

К новому варианту перевода Шлэнский составил комментарий объемом в 127 страниц. «Целью была не столько необходимость объяснения и расшифровки трудных для понимания мест, сколько описание мира, в котором жили поэт и его герои, чтобы читателю стали понятны эпоха и ее современники, их речи, раздумья, поступки, наблюдения, поведение и манеры, понятны так, будто эти люди — близкие его знакомые, существующие в реальном времени и пространстве», — писал он. Выполнению столь трудной задачи способствовало расширение фоновых знаний самого переводчика, который пристально следил за развитием советского

² Шлэнский переводил Тютчева, Бунина, Волошина, Блока, Ахматову, Гумилева, Цветаеву, Маяковского, Есенина, Твардовского.

пушкиноведения, переходившего от вульгарной социологии к научному изучению художественного наследия поэта.

Представим себе рабочий стол Шлэнского во время подготовки издания 1966 года. Четырехтомный «Словарь языка Пушкина», двухтомник Б. Томашевского «Пушкин», книги Н. Бродского «Евгений Онегин. Роман А. С. Пушкина», М. Цявловского «Летопись жизни и творчества Пушкина» (т. 1), труды М. Алексеева, Д. Благого, А. Винокура, Ю. Тынянова, Н. Лернера. Тут же могли находиться «Язык Пушкина» (1935) В. Виноградова, «Мастерство Пушкина» (1959) А. Слонимского, «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (1957) Г. Гуковского... В библиографии трудов, используемых в качестве справочников, указаны и комментарии к «Евгению Онегину» В. Набокова, которые он много лет писал в помощь читателям собственного прозаического перевода романа на английский, – комментарии, вышедшие в свет в Нью-Йорке в 1964 году.

Переводческая версия 1966 года изобиловала неологизмами, придуманными самим Шлэнским для конкретных случаев, часть которых вошла в словари современного иврита.

Как чуток Шлэнский к слову!

Пени – «жалоба, сетование, упрек» – в строках «И, зарыдав, у ваших ног / Разлить мольбы, признание, пени». В переводе вместо второй строки появился перифраз (дословно): «Выплеснуть в речи перед ней все, что рот может сказать». Это и есть творческий подход к оригиналу.

В прошедшем веке запоздалый – находит верную интерпретацию: «придерживался старины» (*махзик беношанут*); юмористический оттенок на иврите тоже сохранен.

От точности интерпретации стилистической экспрессивности существительного зависит и его взаимодействие с глаголом, а также понимание оттенков последнего; зависимость здесь, конечно же, обоюдная.

И вот уже трещат морозы
И серебрятся средь полей...
(Читатель ждет уж рифмы розы;
На вот, возьми ее скорей!)

Вззоэфим квар кфор взкерах
нахсэф йахсифу пнэй садай...
(Кан нозгин лахроз бэпэрах;
һинэ харазти работай).

Дословный перевод с иврита: «И свирепствует уже иней и лед / Серебром серебрится поверхность поля / Здесь принято рифмовать с цветом; / Вот я вам и срифмовал, господа».

«Трещат морозы» – «чистое морозное потрескивание» (В. Набоков) – в переводе «свирепствуют иней и лед». «Лед» введен для рифмы «керах – перах», где первое – «лед», второе – «цветок», вместо рифмы «морозы – розы». Великолепное замещение!

Во фразе «*Расправил волосы рукой*» переводчик передал двойственный характер глагола. По Набокову, Онегин мог либо пригласить волосы, либо умышленно их взъерошить. Шленский выбрал верный ход: Онегин у него «привел волосы в порядок, сделал как должно» (*сидер*), по его, молодого денди, разумению. Возможно, придал им небрежный вид.

Переводчику было ясно, что «*Beef-steaks и страсбургский пирог / Шампанской обливать бутылкой*» означает лишь одно: запивать этот харч шампанским (*баяйн шампанья леканеях*).

Дружеское, шутливое обращение Пушкина к читателю также нашло отражение в переводе. И все же в некоторых случаях интуиция, как нам кажется, изменяла переводчику.

«*Они сошлись...*», например, А. Шлёнский перевел как «Они встретились» (**вэипагшу**). В. Набоков утверждал, что глагол «сошлись» означает «стали неразлучными друзьями». И он был прав. Ленский желал «*знакомство покороче свести*», знакомы они уже были. «*Они сошлись*», т. е. сблизились, стали неразлучны, хотя это было непросто: «*Сперва взаимной разнотой / Они друг другу были скучны*», но потом «*понравились*» друг другу, хотя «*меж ими всё рождало споры*». Возможно, в глаголе «сошлись» таилось зерно будущих несчастий, «сошлись», как сходятся на дуэли. «*Теперь сходитесь*» – слова Зарецкого, звучащие эхом, рожденным прежним «сошлись». Опасная омонимия... Оставим ее на суд вдумчивых пушкинистов. В любом случае перевод Шлёнского неточен.

В выражении «...*Махнул рукою напоследок – / И очутился у соседок*» В. Набоков увидел проблему «национальных жестов». Здесь устойчивое сочетание, обозначающее «ну и ладно», «и пусть». Иначе говоря: Ленский смирил гордыню и поехал к «коварной кокетке Ольге». А. Шлёнский перевел буквально: «махнул рукой» («**ядо инниа**»), изобразив, таким образом, сам жест и передав его национальную, а точнее – интернациональную коннотацию.

Метафоризированное прилагательное-эпитет отражает состояние души, переливается сложными оттенками сентиментального, романтического или реалистического стиля, требуя лексического соответствия.

«*Пасмурный чудак*» стал «чудаком с сердито поднятыми бровями», т. е. остался тем же метафоризированным «чудаком», каким его задумал Пушкин. «*Молчаливый кабинет*» сохранил трагизм безмолвия, как это бывает в доме, где хозяина больше нет, – «пропал и след». «*Необходимые глупцы*». А. Шлёнский оценил и воспроизвел эпитет со всеми его обертонами: «глупцы, от которых нет убежища», потому что, домысливает читатель оригинала и его переводчик, эти «глупцы» неизбежны, постоянны и неременны в светском обществе. «*Француз убогий*» сохранил черты убогости («**алув царфат**»). Кстати, в заглавии романа В. Гюго «Отверженные» использована та же лексика («**Алувэй хайм**»).

Онегин аттестует Ольгу: «*Кругла, красна лицом она, / Как эта глупая луна...*» В. Набоков настаивает: «красна лицом» означает «пригожа», но не «краснолица». В двух английских переводах использованы эпитеты «цветущая» – «*blooming* (пер. 1936 г.) и «красивая» – «*faîr*» (пер. 1990 г.). Шлёнский не только верно перевел эпитет, но, имея в виду иронический подтекст фразы, к слову «хороша собой» присовокупил эпитет «румяна», которого в этой строке нет, но он как нельзя кстати для звучной рифмы «**эвилит – хахлалит**». Переводчик имел право на подобную вольность: Пушкин не единожды обращал внимание на румянец своей не слишком любимой героини: «*Ольга к ней, / Авроры северной алей...*» или «*...и запылал / В ее лице самолюбивом / Румянец ярче...*».

«*Пламенный творец*» примечателен не только безошибочным выбором аналога (иш **лапидот**), но и тем, что И. Ильф и Е. Петров придумали героя по имени Лапидус – «**лапидот**» в ашкеназийском произношении, т. е. «пламенный, кипучий, полный жизненных сил». «Пламенный» – из-

любленный эпитет Пушкина, выступающий в романтическом ключе; но это обстоятельство, разумеется, не мешает Лапидусу оставаться образом сугубо сатирическим.

Несколько примеров, когда ивритский перевод, как нам кажется, стилистически неадекватен подлиннику.

«*Сердца кокеток записных*». «Словарь языка Пушкина» разъясняет: «/кокеток/ завязых, отъявленных, общепризнанных». Шлёнский пошел дальше. У него «кокетки» – «агувот», т. е. «вызывающие сексуальное желание», что, может быть, и верно с «потребительской» точки зрения, но не совсем точно в лексическом плане. И наоборот: «*красотки молодые*» были переводчиком несколько повышены в статусе: для него – это «серны города», «прелестные козочки», причем обе аттестации относятся к любимым женщинам. Следовало прислушаться к В. Набокову, который четко разъясняет: «Красотки молодые» – «куртизанки, которых удалые повесы мчат в открытых экипажах».

«*Тяжелый сплетник*» – «грубый, вульгарный», но не «невежественный», как это звучит на иврите.

С большим искусством и изяществом Шлёнский воспроизводит на иврите целые сцены, требующие знания русских обычаев, нравов, традиций, упоминаемых Пушкиным вскользь, «мимоходом», как нечто само собой разумеющееся, и эту тональность, эти слегка обрисованные драгоценные подробности...

«*Уж тёмно: в санки он садится. / Пади! Пади! – раздался крик...*» «Словарь языка Пушкина» и другие комментаторские тексты объясняют: это возглас (крик) кучера (форейтора), предостерегающего пешеходов при быстрой езде, особенно в темноте, как в нашем случае. Переводчик был в курсе дела; он не только верно перевел фразу, но и нашел звуковой аналог непереводаемому русскому восклицанию «пади»: «**пану, пану һаколь һир'им**» – «дайте дорогу – загремел голос», где в словах «пади» и «пану» первые слоги совпадают.

«*Еще усталые лакеи / На шубах у подъезда спят...*»; «*И кучера, вокруг огней / Бранят господ и бьют в ладони...*»; «*Носили блюда по чинам*»; «*В Москву, на ярмарку невест!*» и многие другие тексты сомнений не вызывали и были переведены естественно и понятно.

Точно так же «увидел» Шлёнский знаменитую встречу Онегина и Татьяны с паузами и «благородной» проповедью героя. Помог и Набоков. «*Минуты две они молчали...*» В действительности такого долгого молчания быть не могло, Пушкин и не настаивал, а переводчик догадался, что имел в виду русский поэт: «несколько мгновений они молчали» («риг'эй миспар»).

В одной из последних строф романа Пушкин, прощаясь с читателем, восклицает: «*Поздравим / Друг друга с берегом...*» Переводчик дает превосходный перифраз «Кто довел нас» (до берега) – цитата из благодарственной молитвы («ше игиану»), поясняя, что так принято говорить у русских при окончании важного дела.

Внеязыковым элементом являются и глухая ссылка на литературный источник, намек, аллюзия. Известно ли читателям романа Пушкина на иврите, что первая же строка первой строфы пародирует стих из басни Крылова «Осел и мужик»? «*Мой дядя самых честных правил...*» намека-

ет на иной текст: «*Осел был самых честных правил...*» Знать это желательно, потому что, как пишет Н. Бродский, «сей шуткой Онегин сразу же вскрывает свое прямое и трезвое отношение к дяде». Шлэнский аллюзию знал и упомянул ее в комментариях.

Горькое: «*Цензуре долг свой заплачу...*» – предвидение поэта, который не раз сталкивался с николаевской цензурой, вторгавшейся в его сочинения. Шлэнский оказался не совсем прав: «эт **нацензура эфацэ**». **Эфацэ** имеет двоякий смысл: «возмещу убытки, расплачусь» и «умилостивлю, умиротворю». Первое – к нашей ситуации не подходит вовсе, второе – лишь приближает к искомому смыслу. В. Набоков расшифровывает стих: «некоторые пассажи могут быть вынужденно изъяты».

Представляя читателям нового героя, Пушкин начал с его души: «*С душою прямо геттингенской*». Переводчик справился и с лексикой и с ироничностью строки: «Геттингенец дальше некуда» – (**иш геттинген мезйи камоһу**). Но что характеризует «геттингенца»? Осведомлен ли об этом читатель? Знает ли он, что Геттингенский университет считался одним из самых либеральных учебных заведений Европы? Шлэнский знал и отметил этот факт в комментариях, что еще раз подчеркивает их общекультурную ценность.

Перечисляя заботы и труды помещицы Лариной, Пушкин в одном ряду среди прочего отмечает:

«...*Солила на зиму грибы, / Вела расходы, брила лбы...*»

Переводчик перевел текст дословно: «надзирала за домом, брила головы...» («**цафта бейта, рошим гилха**») в полной гармонии с пушкинской лексикой, при соблюдении перечислительного ряда, важнейшего стилистического приема в романе. Но что значит «брила лбы»? Шлэнский и здесь разъясняет, что в России во времена крепостничества «брить лбы» означало сдавать крестьян в рекруты: у признанных годными подбрасывали часть волос, спадавших на лоб. Это то, о чем Пушкин писал в «Деревне» (1819): «*Здесь барство дикое, без чувства, без закона...*»

Еще два примера.

«*А Петербург неугомонный / Уж барабаном пробужден*».

Шлэнский следовал букве текста и поступал правильно: «И уже звуки барабана пробудили Петербург неугомонный (неугомонный)». Но «звуки барабана» не могут пробудить большой город, если не знать, что в Петербурге в начале XIX в. сигналы утренней побудки и вечернего сбора подавались барабанной дробью, а поскольку казармы были расположены в разных концах города, барабанная дробь была слышна везде. Комментарии к этим стихам появились только у Лотмана.

«...*В очках, в изорванном кафтане, / С чулком в руке, седой калмык...*»

Откуда взялся калмык? С ним Шлэнский встречался в знаменитых стихах: «*друг степей калмык*». Но в помещицкой усадьбе да еще в очках? Пушкину виднее. И Шлэнский повторил на иврите написанные порусски слова: «седой калмык с чулком в руке» («**весав калмик пузмак баяд**»). Все бы замечательно, но читателю неизвестна маленькая деталь: в XVIII веке в России распространилась странная мода держать слугой мальчика-калмыка. Ко времени описываемых Пушкиным событий мода устарела, калмык состарился и так и остался при барыне. Но об этом мы тоже узнали от Лотмана в начале 80-х годов!

А что же с ситуативными реалиями? С формальной точки зрения, пушкинские тексты Шлѣнский, как правило, в рамках собственно текста, переводил почти безукоризненно, не передавая в иных случаях коннотативного их значения, внешне себя ничем не проявившего и по этой причине не вызывавшего внимания переводчика

Претензий к переводчику в этом случае у нас немного. Ряд «нерасшифрованных» в корпусе романа строк Шлѣнский прокомментировал сам, а иные – самой наукой были прояснены много позднее времени работы израильского поэта над переводом романа.

Значение фразеологизмов и реалий чаще всего определяется вне рамок текста, на уровне экстралингвистики.

«...Так люди / первый, каюсь, я / От делать нечего – друзья». В. Набоков в «Комментариях» цитирует принадлежащие Пушкину слова из другого его сочинения: «...Я всегда был уверен, что ты меня любишь не от делать нечего, а от сердца». Стало быть, разговорный фразеологизм «от делать нечего» (иначе: «скуки ради») следует однозначно понимать так: из-за отсутствия полезного занятия совершать поступки необдуманные и легковесные. У Набокова: «out of nothingness are friends», что означает «стали друзьями» (от бесполезности, ненужности, никчемности жизни).

По необходимости кратко мы будем иногда обращаться еще к двум английским переводам – Бабетты Дейч (1936) и Джеймса Фейлена (1990) – для сопоставления их с версией Шлѣнского. Б. Дейч пробивалась к Пушкину раньше Набокова: «out of sheer idleness» – «сошлись от абсолютной праздности; безделья». Дж. Фейлен, учитывая опыт предшественников, предложил вариант: «from sheer ennui» – (сблизились) «от абсолютной тоски, от абсолютной пресыщенности (жизнью)». Шлѣнский перевел неточно: он посчитал Онегина и Ленского друзьями «по безделью» (**реим бебитлонам**) – это справедливо в широком смысле, однако чуждо романному тексту.

Как решает А. Шлѣнский неразрешимую проблему с местоимением «Вы», которого в иврите нет?

Самый характерный случай. Письмо Татьяны к Онегину.

«Я к вам пишу – чего же боле?» – и далее «вы» склоняется десять раз. Просим снисхождения: подсчитывать количество «вы» и «ты» в прекрасных строках «Письма» как-то неловко, но что делать: наука...

Итак, после многочисленных «вы» следует: «То воля неба: я твоя...», а затем происходит возвращение от «ты» к «вы»: «...Но мне порукой ваша честь...». С «ты» сложностей нет: **ани шельха** – «я твоя».

«Я к вам пишу...» и все остальные обращения на «вы» Шлѣнский переводит в третье лицо: «Я пишу ему...» («эхтов элав») или «...порукой ваша честь» – «/верю/ в его душу и честность» («бенафшеhu ве яш-раа»). Третье лицо в обращении к собеседнику встречается в высоком иврите, и в русском тоже, для выражения особой почтительности: «Пусть Ваше превосходительство изволит приказать...» Вероятно, решение не идеальное, но лучшего нет.

Поэтические фразеологизмы не тождественны собственно фразеологизмам, однако близки им по тем добавочным семантическим или стилистическим оттенкам, которые отличают их от «рядовой» лексики. Концентрация поэтической фразеологии в романе Пушкина весьма высока.

Но именно в этой поэтической стихии Шлёнский чувствует себя особенно легко и раскованно, именно здесь Александр Пушкин находит в Аврааме Шлёнском надежного интерпретатора.

Поэт передает Поэту перифрастические наименования предметов и явлений природы, фразеологию, связанную с темой поэзии, жизни и смерти, обозначающую различные чувства и состояния – из сердца в сердце, из языка в язык, из русской культуры в культуру израильскую. Примеров множество, ограничимся наиболее характерными.

«Рассвет печальный жизни бурной...». Перевод: «Заря его дней бурных и печальных». «Дни» в иврите часто используется в смысле «жизнь», как, впрочем, и в русском – «до конца своих дней».

«Нет, никогда порыв страстей / Так не терзал души моей!». На откровение Пушкина Шлёнский как бы отзывается собственным откровением: «Нет, никогда моя страсть / Так не разрывала мне сердце» («*ло, меоди таавати / ко ло кара эт либати*»).

«Не дай остыть душе поэта...» переведено в нужной тональности и верно лексически: «*пэн һапайтан икна либеһу*».

И еще один пример: «Там, там, под сению кулис...». У Шлёнского: «Там, там, в укрытии кулис» – «*шам, шам, бесетер һаклаим*».

Разговорность из явления нелитературного превратилась в письменной литературе в факт литературного языка. Пушкин выработал новые принципы отбора и употребления просторечий, уточнил самый состав и границы разговорного элемента в литературном языке. Шлёнский, разумеется, прекрасно различал элементы разговорного и литературного, книжного и народного языка в их естественном чередовании и нерасторжимом единстве. Гораздо сложнее, чем, скажем, перевыражение книжной лексики, оказалась задача воссоздания на иврите многочисленных русских просторечий. В ряде случаев просторечия «обезличивались», лишались оттенков сниженности, грубоватости, безыскусности и вливались в высокий иврит на правах, так сказать, равноправного элемента литературного языка, чем в действительности они и являлись, но только в роли именно «просторечия».

При всех объективных трудностях А. Шлёнский пробивался к существенным характеристикам просторечия и достигал порою полного тождества оригинала и перевода. Показательна его устремленность к истине.

Об «*оплошном враге*» Пушкин пишет: «*Приятней, если он, друзья, / Завоем сдуру: это я*». Просторечие для перевода не из легких, но Шлёнский подобрал любопытное сочетание слов, в котором слышится рев осла и людская невразумительная речь («*биг'от һаголем*»); здесь *голем* – «дурак» и «тяжеловесный, неуклюжий», а *гот* – «рев осла» и «разразиться (плачем, смехом)».

«*Ах, братцы! как я был доволен...*». Доверительное «братцы» стало «*ахай*» – «братья» в обращении к неродственникам – разговорная уличная форма в современном иврите.

Слова из «Песни девушек»: «*Девицы, красавицы, / Душеньки, подруженьки...*» переведены фольклорным ивритским выражением «девица – газель прелестная», («*нзара аелет хэн*»), горячо одобренным Авраамом Элинсоном-Беловым, автором первой аналитической статьи на русском языке о переводе романа Шлёнским.

Удачный аналог «*кошурке*» переводчик взял из пасхальной Агады (песенка «Козлик») – арамейское слово «*шунра*» – «кот» в переводе.

И, наконец, эквивалент непереводаемого текста, описывающего доблестный эпизод из жизни Зарецкого: «*как зюзя пьяный*» – «пьяный как Лот». Ветхозаветный персонаж в современной разговорной речи незаметен и служит, как и его русский напарник «зюзя», лишь знаком, сигналом высокой степени опьянения.

Перед Шлэнским возникали сложности еще менее преодолимые. Временами он вообще не мог найти хоть какой-то аналог русскому слову. По причине отсутствия такового. Но и тут поэт-реформатор не смирялся. Если в языке не было необходимого ему строительного материала, он этот материал создавал сам, не нарушая при этом грамматических норм и традиций иврита.

Общественно-политические, бытовые, исторические, религиозные, культовые реалии... Воссоздание их представляет специфические трудности при переводе, так как они для своего перевыражения требуют, как правило, особых подходов. При этом практикуются родовидовая замена, функциональный аналог, описание и толкование. Эффективна транскрипция, сопровождаемая пояснительным текстом, если не удастся подобрать более совершенного метода.

В тексте реалия многолика: она либо выступает его цементирующей основой, «главным действующим лицом», либо уходит в тень, предстает перед читателем в «стертом», полужаменяемом, порою незамечаемом, виде; случается, что она вообще утрачивает функцию собственно реалии и становится символом, легко поддающимся функциональной замене.

Часто стремление сохранить «национальный колорит» сталкивается с объективным процессом «размывания» реалии на уровне оригинального текста, процессом, который переводчик должен учитывать, так как и в этом случае появляется объективная возможность замены реалий по функциональному признаку.

Бывают случаи, когда реалия «не в состоянии» внедриться в принимающую языковую, этнопсихологическую среду – насильственная трансплантация способна лишь привести к последующему отторжению «инородного тела». Вполне невинная информация, касающаяся помещицы Лариной, «...*Ходила в баню по субботам*» для еврейского, особенно, религиозного читателя, звучит несколько странно, если не вызывающе, даже при самом демократическом образе мыслей и понимании специфики православной реалии и реалии иудейской. Шлэнский любил Пушкина и любил своих читателей, поэтому в переводе появляется перифраз «*ходила в баню на седьмой день*», в соответствии с принятым в иврите дополнительным цифровым обозначением дней недели.

При переводе реалий еды и напитков более чем часто оптимален обычный перевод, благо, в «ближней» или «исторической» памяти многих израильтян, выходцев из СССР, а также из разных краев Российской империи, русские названия не выветрились напрочь и даже существуют в иврите, – к примеру, «пирог», «варенье», «квас», «блины». А «страсбургский пирог» или «лимбургский сыр» уточнены в комментариях.

«Цимлянское», «бланманже», «бордо», «трюфели» даны в транскрипции и подробно объяснены.

«Фуфайка» передана словом «пакрес» – нечто, носимое сверху, по значению ближе к кофте. «Чепец» – «цниф шель рош» (цниф – «косынка», рош – голова). «Бобровый воротник» тоже остался самим собой.

«На вате шлафор», т. е. домашний халат на вате – на иврите «атиф шель мох» (атиф – одежда, в которую можно укутаться, мох – пух или вата. В современном иврите «вата» – цемер гефен, а мох – прежде всего, «пух», но и «вата» тоже, и следовательно, перевод верен.

Религиозные реалии в романе, как, впрочем, почти и все остальные, Шлёнскому были ясны, но в процессе перевыражения возникали потери, носящие принципиальный характер.

В стихах «А на полу мосье Трике, / В фуфайке, в старом колпаке» домашний головной убор ночного пользования (у Набокова «old nightcap») превратился в «кипу». Правда, кипа на иврите имеет еще значение «шапочка» (в сочетании «красная шапочка» и некоторых других), но кипа как головной убор религиозного иудея в сознании израильянина преобладает. Куплетист-остряк, француз-католик в «кипе» вызывает у читателя некоторое недоумение.

Читаем строки об Ольге и ее женихе-улане:

«...И вот уж с ним пред алтарем / Она стыдливо под венцом / Стоит с поникшей головою...».

«Венец» в «Евгении Онегине» встречается трижды, с разными смысловыми нюансами. В данном контексте «венец» – корона, возлагаемая на жениха и невесту во время венчания в церкви. (В переводе Набокова и Б. Дейч «bridal crown», у Дж. Фейлена – «the crown»).

Поэт Шлёнского не мог привлечь описательный оборот типа «совершил обряд (ритуал) бракосочетания». Он мыслил образами и русскую реалию заместил израильской. Это путь мастера, обычно ведущий к успеху, но не в мире религиозных реалий. У Шлёнского Ольга с уланом «стояли под хупой»! Подобное замещение неожиданно вводит читателя в мир иудейских традиций, отличных от традиций православных, изображенных в романе.

Любопытны метаморфозы, произошедшие с понятиями «кум», «Троицын день». «Кум» на иврите **сандак**. Так называют человека, который держит на руках младенца во время ритуала обрезания. Для родителей ребенка этот человек становится именно «кумом», то есть как бы «крестным отцом». Но проблема состоит в том, что «крестным отцом» в России и в Израиле человек становится после обрядов, решительно отличных друг от друга. И русский «кум», и еврейский «сандак» так же, как «венец» и «хупа», выражая по глубинной своей сути сходные действия людей по религиозным установлениям и коннотативным нюансам, тем не менее, друг друга не замещают. О «неуместности» крестного отца (кума) в еврейском контексте пишет также Ш. Маркиш в очерке «Третий отец-основатель...» («Иерусалимский журнал». 2000, № 6).

«В день Троицын...» – то есть в день христианского праздника в честь пресвятой «троицы», на 50-й день после праздника Пасхи.

Еврейский праздник «Шавуот» тоже отмечается на 50-й день после праздника Песах. Воспользовавшись числовым совпадением, Авраам Шлёнский вместо «Троицына дня» бесхитростно ввел в текст романа **Шавуот**, означающий, прежде всего, праздник дарования Торы!

Было бы некорректно говорить о просчетах переводчика. Речь идет о творческой установке Авраама Шлэнского, и мы ее уважаем. Мы лишь обращаем внимание на тенденцию, с которой согласиться трудно.

Среди «добродетелей» Зарецкого, в прошлом повесы, картежника и болтуна, а ныне доброго помещика, «отца семейства», Пушкин разглядел и такие весьма почтенные занятия:

«Разводит уток и гусей / И учит азбуке детей».

Домашняя птица и всё, что перечислено ранее, обрели свои места в ивритском тексте, но последнюю строку, А. Шлэнский остроумно, но вряд ли правомерно перефразировал: «вбивает Тору в младенцев» – **«марбиц Тора бетинокот»**; **леһарбиц** – «укладывать», «лупить», «бить»; в современном сленге: **«марбиц неум»** – «закатывает речугу».

Что тут можно сказать? Конечно, русские дети в школе учили «Закон Божий», Библию, включая, разумеется, Тору, но у православных она называется Пятикнижием Моисеевым...

Правда, «учить Тору» в широком смысле означает «постигать грамоту». Но это – в широком смысле, а у Пушкина в характеристике Зарецкого непритязательная конкретика.

В. Набоков, не мудрствуя лукаво, перевел: «...and teaches his children the A B C». Б. Дейч и Дж. Фейлен слово «азбука» перевели так же.

Вариант Шлэнского представляется нам неудачным и даже неправомерным. Но вместе с тем нельзя не подивиться находчивости и остроумию переводчика.

Из неисчислимого количества бытовых реалий возьмем, почти не выбирая, несколько примеров.

«Дрожжи удалые» ворвались в язык, прекрасно оснащенные: **«киркерет медаһерет»** – какая аллитерация! – «мчащаяся коляска». Вообще-то в языке слово **киркара** означает «коляска, колесница». **Киркерет** воспринимается на слух тоже как «коляска», но поменьше.

«Облатка», т. е. кружочек бумаги с клеем для запечатывания писем – стала «наклейкой» (**мадбекет**). А трудное слово «лучинка» (от «лучины») – «лучиной света» (**«кейсам һаор»**) плюс соответствующий комментарий.

«Версты» адекватно переведены как «дорожные знаки» (**тамрурим**).

Еще одна переводческая находка: «...играть изволил в дурачки» Шлэнский перевел: **«белемех лесахек»**. «Лемех» – один из потомков Каина; слово приобрело нарицательное значение «простак, простофиля». Игра в «лемех» была широко распространена в еврейских местечках.

Вяч. Вс. Иванов в послесловии к сборнику «Восточные мотивы» (1985), составителем русского раздела которого был один из авторов данной работы, писал, в частности: «В ряду восточных в широком смысле мотивов русской литературы, восходящей отчасти и к более ранней древнерусско-церковнославянской традиции, прежде всего, стоят вариации на темы ветхозаветных текстов и сюжетов, начинающиеся с началом новой русской поэзии – с переложений псалмов Ломоносовым – и продолжающиеся вплоть до Ахматовой». И еще: «Благодаря Пушкину и Лермонтову у всех нас с детства стоит перед глазами перевоплощенная в русской поэтической стихии ветхозаветная поэзия...»

Разумеется, «ветхозаветная поэзия» в той или иной степени нашла отражение и в «Евгении Онегине». О «литературных отражениях» в сти-

ле романа пушкинисты писали не раз. «Учет художественных отражений, – отмечал В. Левин, – необходим при анализе языка и стиля «Онегина», чтобы разграничить в нем прямое, «авторское» и в той или иной мере стилизованное, «неавторское». Это обусловлено, по мнению С. Бочарова, разными стилистическими линиями и «многоязычностью» романа, взаимоотношениями прямого слова и перифразы.

Для переводчика подобные соображения крайне важны: они подвигали его на поиски аналогов, эквивалентов, субститутов в ветхозаветных текстах; истолкователь как бы смыкался в своих действиях с аналогичными усилиями русского поэта, устремленного к тем же источникам, для него органически близким, однако же не всегда воссозданным им в их первозданности, – на стилевом уровне Пушкин нередко переосмысливал библейские образы и сентенции, иронизируя, насмехаясь над своими героями, пародируя их романтические мечтания. Из поля зрения Шленского коннотации такого «переосмысления» в большинстве случаев тоже не ускользали.

Не в последнюю очередь израильский поэт решал сверхзадачу сближения персонажей романа и всего того, что их окружало в их каждодневном бытии, с израильскими читателями, в жизнь которых ветхозаветные тексты входили с молодых ногей.

«Блаженные мужья» в «Словаре языка Пушкина»: «невозмутимо счастливые, исполненные блаженства».

Эпитет «блажен», «блаженный» встречается в «Евгении Онегине» в разных ситуациях неоднократно, то с шутливо-ироническим оттенком, то с оттенком легкой зависти, а порою в серьезном и торжественном контексте.

Онегин отдыхает после бала: *«Спокойно спит в тени блаженной / Забав и роскоши дитя».*

«Владимир Ленский здесь лежит» – и ничто более не омрачает его душу. Поэт *«блаженный / Уж не смущается ничем...»*

Мы выбрали самый уязвимый вариант – эпитет полон иронии и насмешки: *«Как он язвительно злословил! / Какие сети им готовил! / Но вы, блаженные мужья, / С ним оставались вы друзья».* И вдобавок четырьмя строками ниже: *«рогоносец величавый»* пребывал в блаженном неведении, *«Всегда довольный сам собой, / Своим обедом и женой».*

Шлёнский, конечно, без труда уловил иронический смысл эпитета, соотнес его по принципу контраста с библейским первоисточником: «Блажен Муж, который не ходит на совет нечестивых» (Псалом 1). В первоисточнике использовано слово **ашрей** – «счастливый» без добавочных стилистических или семантических нюансов. Переводчик выбрал иное слово – **машош** – «ликование» и присовокупил к нему «брюхо» для дискредитации образа. «Машош» манифестирует «чувственность», притом звучит одинаково со словом **машаш** – от «осознать, шупать, шарить».

Возможно, Шлёнского несколько озадачило свободное обращение Пушкина с ветхозаветным знаковым словом, и потому переводчик от него отказался.

Вспомним другие стихи из романа.

«Стократ блажен, кто предан вере...» Шлёнский возвращается к библейскому **ашрей**.

«Блажен, кто ведал их волнение...»; «Блажен, кто смолоду был молод...» – в обоих случаях **ашрей**.

В стихах «*Но я не создан для блаженства...*», «*Ты в ослепительной надежде / Блаженство темное зовешь...*» с «блаженством» лексически происходит изменение: вместо **ашрей** появляется **ошер** – корень тот же, что у **ашрей**, но исчезает библейская коннотация.

А в стихе «*И думал: глупо мне мешать / Его минутному блаженству...*» «блаженство» выражено словом **хедва** («радость»).

Все это свидетельствует о безукоризненном чувстве стиля у переводчика «Евгения Онегина».

В первых примерах краткий эпитет «блажен» имеет оттенок книжности, возможно, архаичности, и служит для выражения возвышенных вечных истин в достаточно категоричной форме. «Блаженство» – иной стилистический ряд с очевидной чувственной интонацией, пусть даже и с оттенком «внутренней гармонии в чувствах и мыслях» (В. Кошелев). А «минутному блаженству» А. Шлэнский вовсе отказал в статусе «блаженства»: «несерьезно это, довольно и радости». От идеальных обобщений, через земные страсти, к каждодневному бытию.

«*Я негой наслажусь на воле...*» на иврите звучит: «**эдна ведроп ли**». «**Эдна**» – наслаждение, блаженство. У слов **эдна** и **эден** («рай») – тот же корень.

«*Он с лирой странствовал на свете...*»: «**ахуз кинор рухо шотета**». «Кинор» на современном языке означает скрипку, но исторически инструмент функционально примыкает к лире и арфе: на нем играл Давид, успокаивая помутившийся рассудок Саула.

«*Так думал молодой повеса, / Летя в пыли на почтовых...*». Второй стих замещен динамичным же – «**бгама сусей хадоар**» – перифразом из «Книги Иова» (39, 24) о боевом коне: «в порыве и ярости он глотает землю», то есть мчится, преодолевая долгие расстояния, – абсолютно современная метафора!

Интересно отметить, что именно с целью перевода «Книги Иова» на русский язык Пушкин «изучал древнееврейский язык» (см. книгу А. Гессена «Все волновало нежный ум... Пушкин среди книг и друзей». Наука, М., 1965, с. 17).

Шлэнский вводил в текст перевода прямые цитаты из Библии, идентичные русским стихам. «*Условий света свергнув бремя, / Как он, отстав от суеты, / С ним подружился я в то время*». «Суета», по Набокову, подразумевает сочетание беспокойства из-за пустяков, суматохи, поглощенности земными интересами, тщеславия и пустой парадности. Шлэнский перевел слово «суета» прекрасным основополагающим «**һэвель**» – из «Экклезиаста» («суета сует» – «**һэвель һэвэлим**»).

«*Читаю мало, долго сплю...*». У Шлэнского: «Мало чтения, много дрёмы» – «**меат микра, һарбе тнумот**». («Книга притчей Соломоновых» (гл. 6): «Немного поспишь, немного подремлешь...» – «**меат шенот, меат тнумот**»). Та же лексика и тот же синтаксический строй.

«*Как он язвительно злословил! / Какие сети им готовил!*» Шлэнский нашел аналог: «какую яму им копал!» – «**бор кара**» – восходящий к выражению «Рыл ров, и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил» (Псалом 7). «Сети» и «яма» взаимозаменяемы, так как лексика как тако-

вая утратила свой вещный смысл и стала в обоих случаях условным знаком, фразеологизмом со значением морального назидания.

Балерина Истомина «Летит, как пух...». У Шлёнского: «как перо, взметаемое ветром». В первом Псалме: «как прах, взметаемый ветром». Здесь разница качественная: у Пушкина сравнение исполнено восторгом, Шлёнским не утраченным, а в первом Псалме – гневная инвектива в адрес «нечестивых». Сходство первоисточника с вторичным тропом в сравнительном обороте формируется тоже по закону контрастов.

Использование библеизмов, образов и тропов из «Псалмов», «Песни Песней», «Экклезиаста» и других источников оказалось художественно оправдавшим себя способом перевыражения образов и тропов русского поэта, для творчества которого столь органичны ветхозаветные сюжеты и ветхозаветная атрибуция.

Четырехстопный ямб занимает самое значительное место в стихотворных произведениях Пушкина. Этим размером написан «Евгений Онегин». Новаторство поэта – в создании «онегинской строфы», состоящей из 14 стихов, тогда как в русской поэзии до Пушкина пределом считалась строфа, не превышающая 10 – 12 стихов.

Возможно ли «онегинскую строфу» передать на иностранном языке со всеми ее структурообразующими элементами и музыкой стиха? Возможен ли эквиритмический и эквилинеарный перевод пушкинского романа в стихах? На иврите, в отличие от многих языков Востока и Запада, не только возможен, но явлен – зримо и художественно убедительно.

Четырехстопный ямб, как и другие метры, подвластен ивритскому стиху; появление силлабо-тонического стихосложения в ивритской поэзии относится к 80-м годам XIX века, в немалой степени этому способствовали усвоение русской и немецкой поэзии и переводы на иврит Пушкина, Лермонтова, Гёте.

Авраам Шлёнский владел четырехстопным ямбом в совершенстве, в чем легко убедиться на любых примерах, выбор которых в данном случае продиктован лишь тем, что все они на слуху у каждого грамотного русскоязычного читателя.

*...Мы почитаем всех нулями,
А единицами – себя...*

*...האכול הֵם אִפְסִים רַק אֲנִי
בִּגְדֵדֵר יַחֲדֵיךְ סְגֻלָּה...*

Звучит пушкинский четырехстопный ямб с пушкинским текстом, но только звучит на иврите.

*...Боюсь: брусничная вода
Мне не наделала б вреда...*

*...חֹשֶׁשְׁנִי, מִיֵּץ הָאֲדֻמָּאִים
צָרֹת-צָרֹת אֵלַי יָמִית...*

(«Опасаясь, сок брусничный навлечет на меня горе горькое...»)
Всё на месте, в том числе мужская рифма коды.

*...И хором бабушки твердят:
Как наши годы-то летят...*

*...אִפְּזֵה צֶהָד זְכֵנוֹת אֲמֹרֹת
אֵד מֵאִי שְׁנוֹתֵנִי נִימְהָרֹת...*

(«И в один голос старухи говорят: до чего же наши годы торопливы...») Нельзя не отметить тонкого перифразы второго стиха.

...Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел...

...Ашрей шебинурав ну наар
ашрей базар бево ито...

(«Блажен, кто в юности был юношей, блажен созревший с приходом времени»).

Шлёнский строг и экономен в выборе лексики: ничего лишнего, ничего не утрачено. Ритмический рисунок безукоризнен.

Онегинская строфа чудесным образом вмещает, кроме всего указанного ранее, иронию и юмор, пародийность и «чужую речь», а также важные синтаксические фигуры типа повторов и перечислительных рядов.

Ирония пронизывает стихотворный роман; Пушкин постоянно переключает повествование из серьезной интонации в ироническую и наоборот; порою текст пародирует или откровенно гротесковый.

Ироническое преувеличение:

*Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно.*

Здесь израильский поэт показал завидную осведомленность по части российских дорог и гиперболу не считал чрезмерной.

Вариант Шлёнского едва ли не ироничнее подлинника: «По вычислению тайных (!) таблиц мудрецов через пятьсот лет дороги у нас улучшатся безмерно» («беод тарпат шана һадерех / итав эцлену ад эйн эрех»). Шлёнский добавил «от себя» «тайну», ее в тексте нет, но она обитает в подтексте: какими такими «философическими таблицами» можно «расчислить» улучшение российских дорог, если не таинственными, тайными, слабо поддающимися человеческому разуму?!

Ох, не случайно в строке появилась раздумчивая инверсия «лет чрез пятьсот» вместо прямого порядка слов. Без сверхъестественных (таинственных) сил в переводе не обойтись, если мы не хотим утратить пушкинскую иронию.

В переводе Б. Дейч она утрачена; Дж. Фейлен «философические таблицы» почему-то заменил «научным вычислением» («scientific computation»). Шлёнский ближе к Пушкину.

В книге В. Кошелева «Онегина» воздушная громада» (1999) высказано любопытное соображение по поводу процитированной выше строфы XXXIII главы седьмой. Завершим строфу:

*Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.*

Видный пушкинист пишет: «В этом нагромождении «благого просвещения» чувствуется явная бессмысленность и отсутствие конечной цели прогресса: «пророем», «раздвинем» – а дальше? А дальше все сводится к неизбежному российскому «трактиру». Стоило ли из-за этого усердствовать в пятисотлетних трудах?» Поэтому-то автор называет строки поэта ироничными, а мечты о будущем российских дорог «двусмысленными» (с. 168).

Шлёнский так далеко не глядел. Его интересовали дороги как таковые, как, впрочем, и самого Александра Сергеевича, издевавшего их прелести в кочевой своей жизни. Переводчик тоже был с ними знаком до репатриации в Эрец-Исраэль.

Мысль В. Кошелева представляется довольно спорной. Строфа XXXIII – не тезисы пятилетнего, точнее, пятисотлетнего плана развития народного хозяйства России, но лишь выражение заветной мечты о хороших дорогах и об их, если по-современному, инфраструктуре; а что может быть желаннее для скачущего «в пыли на почтовых» путешественника, чем придорожная станция с трактиром?

Шоссе и мосты вовсе не конец прогресса, упирающегося в «трактир», а его начало: дороги – артерии жизни, будут дороги – будет и прогресс. Мечта Пушкина светлее перифраза ее толкователя.

Пушкин мечтает и, как бы утверждая неизбежность прогресса, в следующей XXXIV строфе не жалеет красок для описания бедственного реального состояния российских дорог. Он ироничен в сроках.

Именно это увидел в романе А. Шлёнский и вслед за Пушкиным показал, сколь далека перспектива реализации мечты, как иллюзорны «расчисленья философических таблиц». Об общем, так сказать, прогрессе здесь речи нет. Это другая тема.

И последний из множества примеров, свидетельствующих о поэтической зоркости Авраама Шлёнского, его умении выйти за рамки собственно текста, т. е. «второй действительности» – в реальную жизнь, в «первую действительность», позволяющем глубже прочувствовать и понять семантические и стилистические оттенки, намеки и аллюзии оригинала. Драматическая ирония:

*Он умер в час перед обедом,
Оплаканный своим соседом,
Детьми и верною женой...*

Слово С. Аверинцеву:

«Как там с семейной идиллией Лариных, с лиризмом Ленского? На миллиметр в одну сторону – и получится опера Чайковского... На миллиметр в другую – и выйдет сатира, что твой Салтыков-Щедрин. Или ирония, что твой Гейне. Но в том-то и состоит стратегия Пушкина, что все эти миллиметровые отклонения... остаются строжайше запрещенными авторской интонацией... И если в чем осязаема жизненная «мудрость» Пушкина, так в этом. Мы читаем у него о кончине старого Ларина: «Он умер в час перед обедом»; это смешновато, но нимало не противоречит идиллии, более того, это и есть идиллия, самая ее суть: мирный ритм семейных трапез, структурирующий жизнь и отбрасывающий уютную тень на смертный час».

Сказано в 1999 году; Шлёнский в середине 60-х, возможно, еще раньше, понял в этой коллизии главное, как раз то, на что много лет спустя обратил внимание российский ученый и литератор.

«Он умер до полудня, слезы лили по нем, как воду» – «*הו מת לילפ-
נע הַצוֹהֹרַיִם / דְּמֹאֹת שַׁאףְּהוּ אֵלֶּם כֶּמַּיִם...*». Заметим: *צוֹהֹרַיִם* – полдень, *אַרְחָט צוֹהֹרַיִם* – обед. В разговорной речи *אַרְחָט* (трапеза, еда) часто опускается и, следовательно, точное указание на время, когда произошло печальное событие, «в час перед обедом», осталось в неприкосновенности, а добавочный текст «от Шлёнского» – «слезы лили по нем как воду» – никакая не отсебятина, а важнейшее звено в идиллическом ритме жизни барской усадьбы, подразумеваемое Пушкиным, и пронизательно подмеченное и А. Шлёнским и С. Аверинцевым.

Англичане оказались менее пронизательными и пушкинскую иронию упустили.

Б. Дейч многословна и сосредоточена на перечислении добродетелей покойного и только в пятой строке (у Пушкина их всего три) мимоходом сообщает время произошедшего печального события: «Он умер в час перед обедом» («He died a short hour before dinner»). Дж. Фейлен уложился в три строки, инверсий не производил, но его перевод важнейшей строки еще больше отдалился от подлинника: «Он умер в перерыве работы в полдень» (домочадцев? своей?) – «He died at midday s break of labour». Знакомое клише: «Он умер на рабочем месте»...

К «перечислительным рядам» А. Шлёнский относился скрупулезно, сохраняя в переводе, за редким исключением, всё, что «украшало кабинет / Философа в восемнадцать лет», имена собственные, чудищ из сновидения Татьяны, авторов и героев романов, атрибуты романтического письма и многое другое.

Ведя репортаж из кабинета Ленского, переводчик поведал израильским читателям о восьми замечательных предметах, предназначенных для «неги модной», и лишь в девятом случае отступился, оставив без перевода «*прямые ножницы*», зато «*кривые*» обозначил. Из такого же количества «*домашних пожитков*», размещенных в трех кибитках, в ивритском тексте не хватило лишь места «*перинам*». Но там были «*тюфяки*», и, стало быть, перины легко домыслить.

Ироническую аттестацию гостей на именинах в усадьбе Лариных Шлёнский представил читателям в первозданном виде, разве что Буянов оказался не «в пуху», но «всклоченный», что тоже неплохо.

В строфе переплетаются формы «чужой» и авторской речи – монологи от лица персонажа, диалоги между героями; слова-отсылки, выделенные курсивом, цитаты, реминисценции, иноязычные тексты, эпиграфы, авторские примечания.

Шлёнский легко обнаруживает границы, в том числе между «чужой речью», введенной в строфу в косвенной форме, и авторской речью, и переводит летучие фразы с присущим ему блеском, не забывая кавычек, скобок, многоточий, тире и прочих пунктуационных знаков в соответствии с волей автора. Правда, в ивритском тексте курсивные строки оригинала выделены с помощью укрупнения букв и разрядки между ними, а крылатые слова и афоризмы, как правило, берутся в кавычки.

Заключительное двестишесте строфы – кода, со смежными мужскими рифмами, является, обычно в афористической форме, выводом из развития трех четверостиший.

А. Шлёнский воссоздает коду с высочайшим искусством, находя в иврите слова, фразы, звукопись, равноценные подлиннику.

...Привычка свыше нам дана:
Замена счастью она.

הרגל נטאן לכולך באסר,
הו תאחז אושר כי יחסר.

(«Привычка дана каждой плоти / Она замена счастьем, которого нету»).

...Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!

Барух гам йом базмало,
Барух гам лайла беаффо!

(«Благословен и день в его трудах / Благословенна и ночь в ее тьме»).

...Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.

Страдательный залог и противительный союз «но» вовсе не случайны. Татьяна вышла замуж в силу жизненных обстоятельств, где места любви не было: «для бедной Тани / Все были жребии равны...». Спустя три года, после встречи с Онегиным в Петербурге, любовь вспыхнула в ней с новой силой. Возникло сильнейшее противостояние между чувством и верностью церковному браку. В романе всё сказано и, так сказать, суммировано в коде строфы XLVII восьмой главы. Б. Дейч: «But I became another's wife, / I shall be true to him through life» – «Но я стала женой другого, / и буду всю жизнь ему верна». Дж. Фейлен: «But I am now another's wife, / And I'll be faithful all my life.». «True» и «faithful» – синонимы и означают «верный», «преданный». Перевод на иврите:

Ах леахер яди нитна;
Лазд эшмор ло эмуна.

(«Но другому моя рука отдана; / Навек сохраню ему верность»).

Шлёнский к Пушкину ближе.

Переводчик решал двойную задачу: донести до израильского читателя новаторскую сущность и эстетическое совершенство романа и добиться его максимальной ясности и доступности. В этой работе в полной мере проявились мастерство, эрудиция, находчивость и деликатность Шлёнско-го, готовившего пушкинский шедевр к новой жизни на иврите.

«Перевод, в той мере, в какой он отходит от простого следования подлиннику, – пишет Вяч. Вс. Иванов, – всегда представляет собой некоторый компромисс между поэтическими традициями».

Шлёнский не следовал подлиннику, но воссоздавал его. Неточность, обусловленная законами переводящего языка, традициями переводящей культуры, ее этики и эстетики, заложена в самой природе перевода. Переводчик шел к пушкинскому тексту разными путями, не отказываясь и от принципа «отступить, чтобы приблизиться». Достичь смыслового единства с подлинником непросто; Шлёнскому это удалось.

«Творчество Шлэнского, – отмечает Л. Беренсон, – было наиболее ярким звеном в российско-еврейском альянсе современной ивритской литературы». Перевод на иврит «Евгения Онегина» стал сердцевиной этого альянса.

В письме (от 20.09.1966) А. Белову-Элинсону в Москву Шлэнский сообщал об успехе сборника «Пушкин» (с «Евгением Онегиным»): «За несколько дней продана тысяча экземпляров. Это очень много для такой маленькой страны, как наша, при том, что значительная часть жителей все еще затрудняется читать на иврите». Шлэнский писал, что на презентации сборника в присутствии руководителей государства «актриса Хана Рубина читала Письмо Татьяны к Онегину, а я говорил об искусстве перевода как высшем проявлении братства народов».

Десятью годами раньше (1955) Шлэнский убежденно утверждал: переводя мировую классику, «мы укрепляем национальную культуру».

В работах будущих мастеров перевода, по мере развития процесса взаимовлияния культур, экстралингвистические и психологические факторы будут нуждаться в корректировке и расшифровке, возможно, в меньшей степени. Но при этом старые переводы, и, прежде всего, перевод Шлэнского «Евгения Онегина» как образец переводческого искусства, не утратят своей эстетической ценности и притягательной силы; в мире искусства ничто неотменимо, как неотменимы в третьем тысячелетии переводы «Божественной комедии» М. Лозинского, «Гамлета» и «Фауста» Б. Пастернака, «Гаргантюа и Пантагрюэля» Н. Любимова.

Перевод романа А. С. Пушкина стал неотъемлемой частью израильской культуры. По словам современницы Шлэнского, поэтессы Леи Гольдберг, «роман в стихах возродился в переводе как ивритский близнец оригинала». Переводчик оказался конгениален автору, и в этом залог долгой жизни его творения.

Геннадий БЕЗЗУБОВ. «Вместо дружеских писем» [Стихи 1997 – 2000]. – Иерусалим, «ШВИЛЬ», 2001.

Сейчас самое благоприятное для поэзии время. Во-первых, происходит естественный отбор: все, кто баловался стихами, а не отдавался поэзии «до полной гибели всерьёз», по логике нынешних литературных обстоятельств, сравнительно быстро и легко избавляются от этого ещё более вредного, чем алкоголь и наркотики, занятия. А во-вторых, поэт, предоставленный самому себе, освобождённый от необходимости работать на читательский рынок, вступать в конкурентный поединок со своими соперниками, остаётся лицом к лицу с Божьим миром и своей душой и пишет, оглядываясь только на свою художественную совесть. А это как раз и обеспечивает серьёзные творческие достижения. На мой взгляд, Геннадий Беззубов – один из самых совестливых поэтов русскоязычного Израиля.

Первое же стихотворение Беззубова, которое попало мне на глаза, поразило меня не просто высокой степенью мастерства (виртуозностью сейчас щеголяют многие!), а именно унаследованной у Пушкина, Лермонтова, Ходасевича способностью точно определить вес, вкус, запах каждого слова и поставить его на то самое единственное место, которое ему самой природой, самим Богом предназначено. Не могу логически объяснить то чувство радостного удивления (с оттенком благородной зависти), которое возникло у меня. Вероятно, пьяняще действовало то самое «чуть-чуть», с которого, по словам Льва Толстого, начинается искусство.

*Пойдёт на спуск рассветный самолёт,
И замутится чёрный круг обзора.
Что ж ты замолк, ты, выпавший из хора, –
Ведь он тебя на родину вернёт.*

*Вдыхай скорее лавр и апельсин,
Как в первый раз, доселе не забытый.*

*Взгляни на город свой многоочитый,
Висящий над предсердием долин.*

Я всегда особенно ценил в поэзии тот неожиданный вариант естественности и простоты, который найден заново и ранее ни у кого не встречался. У Беззубова «многоочитость города» и «предсердие долин» не воспринимаются как стилистические выкрутасы – они естественны, как здоровый ритм дыхания. Я не нашёл в его стихах, отличающихся экспрессивной образностью и завидным богатством словаря, ни одной нарочитой интонации, ни одного вкусового срыва.

За спиной у Беззубова первоклассная поэтическая школа. Ничего похожего на ползучее эпигонство, на явные или скрытые цитаты. Барьеры несовместимости преодолены, влияния переработаны до такой степени, что вошли в органику поэта. Чуткий слух, конечно, уловит отдалённое эхо Ходасевича, Нарбута, Бродского... Но при этом общий

рисунок каждого стихотворения у Беззубова свой, кровный, беззубовский. Вот, к примеру, стихотворение «Когда кололи кабана». Тема – типично нарбутовская, да и типично нарбутовское нагнетание натуралистических, антипоэтических подробностей. Но под рукой мастера, тяготеющего, как диктует классическая традиция, к чистоте красок, кристальной прозрачности и высоте полёта мысли, нарбутовская тема и нарбутовский натурализм обретают пушкинское звучание:

*Но был момент, когда обложен
Соломою, он возлежал,
И проступала влажность кожи
Под узким лезвием ножа.
Чуть желтоватый, как фарфор,
Кабан венчал собою двор.*

*Хозяева стояли рядом,
Проя прощенья у него.
Под этим виноватым взглядом
Он вырастал, как божество,
Его лелеяли, как Будду.
И, словно Будда, был нелеп
Он и загадочен.
Забудут
Об этом сразу, и на хлеб
Положат розовое сало,
Как часть того, кого не стало.*

У меня нет ни малейшего основания подвергать сомнению признание Геннадия Беззубова в том, что огромное воздействие на его душу, на его сознание оказало и оказывает чтение ТАНАХа. Но я, читатель, в начале всех начал и в конце всех концов имею дело со стихами поэта, с реалиями мира, созданного стихотворцем Беззубовым. Размышляя о том или ином поэте, мы вполне правомерно судим о тематике и проблематике его стихов, о личности автора, его темпераменте, человеческой судьбе, ну и, конечно, об особенностях его стилистических манер. Но порой забываем об одной трудноуловимой вещи, которую я бы назвал материей стиха. Это – некая таинственная совокупность мелодики, ритмики, интонаций, словаря, образности, рифм, строфики, звукового ряда, в которой-то и воспроизводится во всей её органической полноте личность поэта: его темперамент, его судьба, его мироощущение и миропонимание. Если попытаться двумя словами определить суть материи стиха Геннадия Беззубова, пожалуй, ближе всего к истине будет словосочетание: сотворение гармонии.

Есть в стихах Беззубова высокая торжественная интонация, взлёт в космические выси, есть незатаивающее эхо вечности, горьковатый привкус библейской мудрости, – но нет отрыва от грешной земли, быта, житейщины, низких подробностей. Поэт зорек на всё бытовое, на плесень, ржавчину, грязь повседневности. Но он умеет так организовать житейские подробности, что они в своей целокупности образуют таинство мировой гармонии. И эта особенность беззубовской материи

стиха говорит о религиозно-философском кредо поэта убедительней, чем все его прямые высказывания в жанре газетных интервью.

*Всё светом съедено, всё им растворено,
Не город – обнажившееся дно,
Где не распорядишься о наследстве,
Поскольку не наследует никто
Ни глупых фраз, произнесённых в детстве,
Ни перенафталиненных пальто –
Одни лишь доски, камни да раствор,
Из них и возникает, как ни странно,
Щель каменная, этаким зазор
В безводье светового океана,
Где даже электронная печать
Вполголоса старается звучать.*

Являя мастерство в таких жанрах, как пейзажная, философская, гражданская лирика, поэт почему-то не желает отдавать на суд читателя свою любовную лирику. А между тем туго свёрнутая пружина любовной темы нет-нет да и разворачивается в стихах, казалось бы, совсем иного плана. И ещё. Беззубов никогда не разрешает себе гражданских стихов публицистического строя. Это не означает, что в своей поэзии он отстраняется от драматических будней израильского политического бытия. Он и здесь находит свой особый подход: двигаясь от бытовых низин. Блистательный образец гражданской лирики этого рода – стихотворение «Арабские подростки».

У Беззубова практически нет «проходных» стихотворений. Каждая его лирическая пьеса до предела содержательна и являет нам «обыкновенное чудо» стиховой гармонии. Поэзия эта не знает вершин и долов. Она – высокогорное плато. Хорошо это или плохо? Думаю, что это свойство поэзии Геннадия Беззубова есть реализация его мировоззренческих установок.

Один из учителей Беззубова, И. Бродский исходил из того, что не язык является орудием поэта, а поэт есть орудие языка. В языке, в его словарных богатствах, в его пословицах, поговорках, присловьях, в его речевых изворотах, смысловых вариациях, в его звуковой многозначности спрессован весь многовековой житейский, бытовой, исторический, духовный опыт нации. И когда настоящий поэт отдаёт себя во власть стихии родной речи, его устами говорит нация.

Вот тут-то и намечается драма русскоязычного поэта, ощущающего себя израильтянином, дышащего воздухом трагедийной истории еврейства и трагедийной современности Израиля. Есть ли выход из этого противоречия: можно ли, будучи голосом данной нации, говорить на языке другого народа? У меня нет ответа на этот вопрос. Обнадёживает, однако, что вот сумел же Геннадий Беззубов найти в языковом строе русской речи краски, интонации, мелодику, уходящие своими корнями в то вечное, общечеловеческое, что заложено в ТАНАХе, в исторических судьбах еврейства, в сегодняшней драме Израиля.

Марк Богославский

это попыткой Зайчика воссоздать историю Личности. Именно та тема, что и должна интересовать писателя. Время ушло – и долг летописца воскресить его силой документа и силой творческого воображения.

Бегин предстает в изображении Зайчика выдающейся, харизматической личностью. Он и лидером становится как бы автоматически – в экстремальных ситуациях его упрасивают, а он – еще сопротивляется. Вот он прибыл в Палестину в составе Польского корпуса, направлявшегося на фронт. Его просят возглавить Национальную военную организацию, и уже избранный лидер, Меридор, добровольно уступает свой пост пришельцу Бегину, а он... Он отказывается. Потому что это неблагородно – дезертировать из армии, уходящей на войну с нацизмом. «А если мы устроим так, что вам не придется дезертировать?» – спрашивают товарищи. «Это другое дело». Они каким-то образом добывают документ о бессрочном отпуске из армии...

Бегин не приказывает, он принимает решения. только согласно демократической процедуре. Потому что уверен: его личное обаяние настолько велико, что товарищи примут лишь то, что кажется правильным ему. А когда среди них оказывается один, который уже побывал в поле влияния человека, еще более харизматического (Жаботинского), и потому не подпал под духовное влияние Бегина, лидер... перестает его замечать. Хорошо, что Зайчик создал портрет героя таким – объемным.

Другое присущее Бегину качество – это благородство. Как сказал о нем в книге один из критиков: «Но, конечно, джентльмен есть джентльмен».

Только в книге Зайчика я нашел, например, разгадку невероятной грубости Бен-Гуриона, постоянно оскорблявшего главу оппозиции в Кнессете. Отношения двух гигантов национальной политики представляли собой странную смесь жесточайшей полемики и большого личного уважения: Бегин в душе преклонялся перед политическим инстинктом соперника, поразительным умением нащупать момент для необходимой акции и при этом провидеть все будущие результаты. Получив в конце 60-х письмо от ушедшего в отставку Старика с признанием своих высоких человеческих достоинств, он воспринял этот жест как своего рода верительную грамоту для занятия и самого высокого поста в Израиле! И при всем при том публично они изошренно поносили друг друга. Зайчик выяснил, что Бен-Гурион, политик острый и находчивый, специально дразнил соперника, опасаясь его возражений по сути рассматриваемых вопросов: большинство у Бен-Гуриона в Кнессете обычно было сомнительным, а способность Бегина убеждать была колоссальной. Вот Бен-Гурион и ловил его на личных выпадах! Бегин, которому свойственна была странная в политике, старомодная наивность, попадался на удочку, начинал ответно грубить, а Старик тем временем проводил-таки свое решение через Кнессет...

Еще в подполье сторонники Бен-Гуриона применяли против «раскольников» силовой нажим и потом открывали по ним стрельбу на поражение (случай с «Альталеной»), но Бегин запретил отвечать огнем на огонь. Своим громадным авторитетом он предотвратил гражданскую войну (а междоусобицы свойственны нашему яростному, но

Зинаида ПАЛВАНОВА, Вениамин КЛЕЦЕЛЬ. «Иерусалимские картинки». – Иерусалим, «СКОПУС», 2000.

Книга, изданная творческим объединением «Иерусалимская антология», убеждает в том, что в мире искусства, литературы рождаются удивительные созвучия. Рисунки в книге – не иллюстрации к стихам, они не создавались специально для этой именно книги. Поэт и художник объединили то, что творили каждый на свой лад, в своем искусстве. И это так легко и естественно соединилось, сложилось в общие «картинки», в целое – и живописует, и звучит, и влечет.

Вот так же, почти 80 лет назад, поэт и художник, каждый в своем ремесле, выразили свою любовь к одному городу. Независимо. А потом объединили стихи и рисунки в одной книге. Город тоже назывался Иерусалим – Литовский Иерусалим. Это Вильно, важный в еврейской истории и судьбе город, который называли Иерусалимом галута – с горечью, и Иерусалимом учености – с гордостью. Поэт Залман Шнеур издал книгу, в которой поместил свою поэму «Вильна» (написанную на иврите) и рисунки немецкого еврея Германа Штрука, посвященные этому городу.

И вот наши современники так же соединили свое искусство в одной любви. Здесь всё черно-белое – и перьевой росчерк, и форма печатного слова. Но странным образом и за словами стихов, и за заключенным в линию рисунком чувствуешь (видишь?) яркость, красочность, освещенность складывающихся образов. И еще – звучание, ту невидимую музыку, наигрываемую на невидимой скрипке, о которой стихотворение «Скрипач на крыше».

В уличных сценках-картинках, запечатленных в стихах и рисунках, часто слышится ирония. Порою озорная, порою грустная, она помогает и авторам, и читателю справиться со смущением, которое охватывает многих, пытающихся говорить о вечном, земном и небесном Городе.

*Здесьнее пространство –
из негдеших,
из таинственных,
из поднебесных.*

Ирония помогает соединить возвышенное и будничное, пафос и юмор. Наша современница, спешащая с пластиковыми пакетами, но и в спешке – на бегу – не утратившая драгоценной потребности, остановившись на миг, – это мгновение остановить.

*Вот раскопки, руины –
тут они такие домашние,
как ремонт, затеянный летом
в одной из комнат.*

Узнаваемые черточки нашей жизни, «бытом человеческим навьюченные», ее сумасшедшинка (...пугаюсь: / не у меня ли поехала крыша / вместе со скрипачом на ней?..), комичность и драматизм. И уча-

ствие в ней, в этой жизни, и отстраненность (и «остраненность» пространства, которая остается при всей обжитости этого пространства). Ведь мы себя в этом городе видим еще и как бы со стороны.

*А сегодня с утра
плотный белый туман
поднялся снизу
и прижался к нашим окнам,
и глядел на нашу
вполне прозрачную жизнь.*

*Вдруг туман пронизало солнце,
Наверху проступило небо
с воздушными замками
Иерусалима.
На глазах они
становились земными.
А рядом, внизу, лежал Эй-Карем,
за туман держась, как за чудо,
за игру, за тайну.*

В стихах проскальзывает мотив узнаваемости, похожести. И в рисунках естественно соединились неповторимость иерусалимских уголков и узнаваемые черточки еврейского мира вообще. Потому что есть в Иерусалиме переулки и дворики, напоминающие об узких улочках еврейских кварталов разных городов.

В. Н. Топоров писал, что «Город ведет человека и обучает его самому себе». Это абсолютно, наверное, более чем где-либо, именно в нашем Городе. Он ведет нас своими каменными улицами, отшлифованными шагавшими по ним – в иных местах тысячелетиями! – и длиннющими лестницами по крутизне («здешнее пространство – не из ровных»), по кручам, вознося и низвергая, и освещая сразу и солнцем и блеском своим, и великолепием, пока не выведет, не поднимет куда-то туда, в заоблачье, где Еврейская улица галутного Вильно вливается в *рехов а-еһудим* – Еврейскую улицу Иерусалима.

Валентина Брио

Марк ЗАЙЧИК. «Жизнь Беги́на» [Свидетельства и описание]. – Иерусалим, Центр наследия Менахе́ма Беги́на, 2001.

Марк Зайчик написал необычную книгу. Это не роман. Но и не историческое исследование, не историческая публицистика, не журналистика. Некое собрание самых разнородных материалов – и документы (например, заново переведенное Зайчиком письмо Бен-Гуриона Бегину), и серия интервью, взятых автором у людей, работавших с Беги́ном, его приверженцев и его оппонентов, и обширные цитаты из книг самого Беги́на и книг о нем, о покойном вожде... Я бы назвал

не слишком разумному народу: вспомните, как пал Иерусалим перед Титом!). Вот это благородство, умение поставить общенациональные интересы выше самых нестерпимых личных и политических обид – и есть самый великий вклад Менахема Бегина в духовный фундамент страны!

Интересно выглядит в книге и толкование внезапной отставки Бегина. Он ослабел с годами от страшного напряжения, от страшной ответственности за свои решения – и ушел сам. Он был таким же «перфекционистом», как Бен-Гурион (который тоже уходил в отставку – в первый раз в начале 50-х – абсолютно добровольно, на вершине успеха). Бегин ушел, когда почувствовал, что сил не хватает вести дела правительства на идеальном уровне. «Да, были люди в наше время, могучее, лихое племя, богатыри – не вы»...

В заключение – несколько слов о себе, грешном. Я тоже оказался одним из персонажей книги Зайчика. Некогда построил историческую гипотезу, что именно допросы ээка Бегина в Вильнюсе в 1940 году переломили настроения кремлевской верхушки к сионизму. Смелая, бескомпромиссная борьба ЭЦЕЛЯ с британцами вдохновила Сталина на парадоксальный замысел: поддержать сионистов против Лондона! То есть, тот перелом в позиции Кремля, который позволил возникнуть государству Израиль позже, в 1948 году, был подготовлен показаниями ээка Бегина в Вильнюсской тюрьме.

Зайчик приводит (со слов Кадишая, секретаря бывшего главы правительства) реакцию Бегина на мою статью: он ее быстро просмотрел и сказал – на идише: «Преувеличение». Меня и он сам не переубедил: мужественному человеку не должно прийти в голову, что его естественное поведение на следствии оказало переломное влияние на историю еврейского народа...

Как человек благородный и потому наивный, он не мог разгадать изощренных ходов сатанинского политика – за его спиной. Скажите, господа, а как вы можете объяснить разрешение на алию (из СССР), полученное полутора тысячами бейтаровцев в... 1941 году? А в этой массе были самые видные активисты Бейтара, такие, как Шайб-Эльдад, как Ализа Бегин...

А чем объяснить освобождение из полярной зоны в 1941 году главы Бейтара Менахема Бегина, когда более мелкие активисты были задержаны – вопреки договоренности с Сикорским – до конца войны? А чем объяснить, что Бегина зачислили в Польский корпус, отправлявшийся через Палестину на Запад, зачислили еврея, да еще он был к моменту зачисления один раз выбракован – из-за несомненной близорукости? И почему те, кто его все-таки зачислили, вопреки обычаям поляков, весьма недолюбливавших еврейских новобранцев, так легко отпустили из рядов войска – в Палестине?

Когда-нибудь откроются документы, и мы узнаем, кто из нас был прав. А пока – спасибо Зайчику за то, что он сберег свидетельства тех, кто мог без него и не приоткрыть памяти; что напомнил нам, какие все-таки удивительные люди меж нами жили – и еще совсем недавно.

Михаил Хейфец

Исаак РОЗОВСКИЙ. «Пособие для беззаботных». – Иерусалим – Москва, «ГЕШАРИМ» – «МОСТЫ КУЛЬТУРЫ», 2000.

На дворе XXI век – а никаких симптомов смены тысячелетий: словно всё тот же усталый двадцатый век тащится по извилинам иерусалимских улиц: тут стреляют, там землетрясение, и никого ничем не удивишь. А кого нынче в Иерусалиме можно удивить книжкой стихов на русском языке?..

Автор «Пособия для беззаботных», похоже, и не собирается никого удивлять. Тексты, написанные в разные годы и достаточно разные, но удивительно сочетаемые друг с другом, читаются как увлекательный авантюрный роман.

Неоднократно потревожена тень великого Шекспира; транскрипты сонетов, маленькая трагедия в трех актах: «Гамлет, или Что случилось в Эльсиноре»... На мой взгляд, это небольшое (по сравнению с огромным оригиналом «Гамлета»), который сам по себе тоже не оригинал) произведение – яркая, сочная пародия, но не на Шекспира самого, а на то, что от него осталось – от староанглийского его языка, от различных осмыслений... А быть может, тут и легкая насмешка над современными интерпретаторами, которые многие классические произведения считают «слишком длинными»? Много тут всякого разного... можно было бы сказать «понакручено», если бы не строгая ясность авторских мыслей:

*Блуждаем мы среди мнимых величин
И видим нитки, грим... Сработан грубо
Мир прошлого, и если приглядеться –
Все – реквизит гигантского спектакля,
Поставленного смело и с размахом,
Но для кого – неведомо, поскольку
И Автор позабыл начало пьесы,
и тексты перепутаны, и роли...*

На одном дыхании, легко, весело читается «Испанский роман». Летят чеканные строчки, как будто горячий конь бьет копытом...

*О, вязь затейливая прозы!
Барокко или рококо...
Нежнее звуков мандолины
Твои прекрасные глаза,
Инесса!*

Какие только ассоциации не мелькают перед глазами – и испанские стихи Гейне, и «Я здесь, Инезилья!»... И тут же – возвращение в реальность:

*Увы, увы! Настало время
Реалистических деталей...*

Здесь и пародия на нашу «совковую» жизнь (реалистические детали, впрочем, везде достаточно тоскливы), и тонкая насмешка над самим собой – неустанно ищущим романтики и получающим кукиш с маслом...

*Царь на земле, а Бог на небе,
Но до обоих далеко...*

В каждой книге для читателя есть что-то особенно «свое» – то, что задевает струны в твоей именно душе. Плохо это, хорошо, ново ли, старо ли, как мир, – не суть. Важно, что твое. Для меня в книге Розовского это, в первую очередь, «Никто не хотел умирать».

*Знание вне предмета,
в сущности, молодость – это
одно из многих возможных
определений духа
(или души, или слуха),
рассчитанных на внимание
Бога ли? мироздания?
Мир – как большое ухо...*

Совершенно особое место занимают в книге фрагменты из поэмы «Сионские летописи» – у Исаака Розовского свое, особое видение Израиля, Иерусалима... Вселенной.

*В каждом крупном городе (особенно – в столицах) / есть кварталы,
куда, несмотря на их живописность, не водят туристов... / О них ста-
раются забыть, как будто их и вовсе не существует. / Такова Рехавия.*

Или:

*Глаз устает от чтенья, но если начать с конца –
свет обретает форму холмов и неба.
Тем, кто привык к потреблению земного хлеба,
трудно поверить,
что это и есть маца.*

И, конечно, прекрасные переводы – какой русский (еврейский) поэт не переводит, объясняясь таким образом в любви к другому поэту, к его стихам? Блейк, Байрон, Рильке, Бараташвили, Шекспир; из израильской поэзии – блестящий, на мой взгляд, лучший из того, что до сих пор было сделано, перевод Иегуды Амихая. («Четыре года мой отец был частью той войны»).

Со страниц «Пособия для беззаботных» встает портрет человека, питавшегося в свое время осколками иллюзий «шестидесятников», человека с трезвым и жестким взглядом на наш мир, где «отсутствует уют», но оставшегося верным своеобразной романтике нашей молодости. Человек меняется, разочаровывается, но не отбрасывает свою молодость, свои заблуждения, как ненужную ветошь, а переосмысляет их.

*Будь весел, друг,
и не грусти о том,
Что не узнаешь вкус иных столетий.
Искусство есть единственный симптом
Того, что мы еще
живем на свете...*

Берта Риненберг

Игорь ТОРИК. «Энциклопедический путеводитель по Израилю». – Иерусалим, «ИСРАДОН», 2001.

Кем бы мы ни были – физиками или лириками, умудренными старожилами или свеженькими репатриантами, эта книга для нас. Недаром в названии ее присутствует слово «энциклопедический». Оно здесь важнее нежели «путеводитель», хотя, конечно, есть в этом и некоторая претенциозность. Возможно ли уместить под одной обложкой сколь-нибудь полные сведения о стране, информационно равнозначной всему остальному миру? Наверное, все же нет.

Обычно энциклопедии пишутся не одним автором, а целой командой составителей, авторов, редакторов и главных редакторов. В данном же случае, речь идет об авторской работе, счастливо вместившей в себя, помимо бесстрастной информации, эмоции и сомнения, волнения и тревоги Игоря Торики, нашего соотечественника по обоим отчизнам.

Библиография русскоязычных книг об Израиле начинается, пожалуй, с перечня немалого количества трудов, выпущенных на рубеже XIX и XX веков Императорским Палестинским Православным Обществом и частными авторами – путешественниками в Святую Землю. За последние же годы, связанные с Большой алией, здесь и в России изданы десятки путеводителей по Израилю, в том числе работы достаточно высокого уровня, написанные с уважением к материалу и к читателю. Появился и ряд интереснейших исследований об Иерусалиме и его истории.

Небезызвестный закон перехода количества в качество. «Энциклопедический путеводитель» профессионального экскурсовода Игоря Торики является, на мой взгляд, одной из лучших книг в этой области.

География и геология, климат и современное государство. Вполне приличный очерк истории Израиля. Серьезная глава об Иерусалиме. Хронологические таблицы и полезные советы для туристов и паломников. Список всех музеев страны с адресами, телефонами, часами работы и кратким описанием каждого музея.

Известные, не очень известные и малоизвестные достопримечательности страны, исторические, археологические, природные, геологические... Подробные описания, карты и схемы национальных парков и заповедников. Вся география ТАНАХа и Нового Завета (с соответствующими, разумеется, ссылками).

В разделе, посвященном Иерусалиму, упомянуто чуть ли не каждое из зданий, представляющих исторический или культурный интерес. В книге описаны и археологические раскопки самых последних лет, которые пока еще не открыты для туристов. Например, раскопки византийской церкви Катизма на улице *Дерех Хеврон* в Иерусалиме, сообщения о которых до сих пор публиковались только в специальных научных изданиях (разумеется, на иврите).

...В алфавитном указателе самого большого двухтомного путеводителя по Израилю Марины Фельдман порядка ста географических названий. В «Энциклопедическом путеводителе» – их около тысячи.

Шауль Малкин

ШАТЕР КНИГИ

Книги на русском языке, вышедшие в Израиле в 1999 году¹

Бартана Орцион. Птица в руке. [Стихи. Пер. с иврита Еф. Бауха]. – Тель-Авив: Мория. – 64 с. Тел. 972-3-5019275.

Видгон Йонатан. Падающие на нас птицы. [Проза]. – Тель-Авив: Мория. – 432 с. Тел. 972-3-5019275.

Волин Павел. Человек-антилегенда. [Проза]. – Тель-Авив: Мория. – 237 с. Тел. 972-3-5019275.

Вступление в брак. [Информация для репатриантов]. – Иерусалим: Министерство абсорбции. – 42 с. Тел. 972-2-6241121.

Гройсман В. Северный крест. [Стихи]. – Иерусалим: авторское издание – 72 с. Тел. 972-2-9910193.

Долг живых. Еврейские традиции похорон и траура. [Сокращенное издание]. – Иерусалим: Министерство абсорбции. – 74 с. Тел. 972-2-6241121.

Еврейские праздники. Том 1: Шабат. Рош а-Шана и Йом-Кипур. Сукот и Симхат-Тора. Ханука. Ту-Бишват. [Перевод с иврита]. – Иерусалим: Министерство абсорбции. – 272 с. Тел. 972-2-6241121.

Еврейские праздники. Том 2: Пурим. Песах. День Независимости и День Иерусалима. Шавуот. От изгнания к избавлению. [Перевод с иврита]. – Иерусалим: Министерство абсорбции. – 328 с. Тел. 972-2-6241121.

Изучение истории в современной России. [Сборник научных трудов]. – Тель-Авив: Pilies Studio Publisher. – 280 с. 973-3-6832853.

Зорах Зезв. Книга Пушкиниад. – Иерусалим: авторское издание – 243 с. Тел. 972-2-6234050.

Коробицына Людмила. Хреновое поле. [Проза]. – Иерусалим: «Alphabet» Publishers. – 112 с. Тел. 972-2-6242949.

Минин Евгений. Разве?! [Стихи]. – Иерусалим: авторское издание. – 144 с. Тел. 02-6794062.

Погорельский Борис. Силуэт мироздания. Из мира иллюзий в мир разума. – Иерусалим: Мишмерет шалом. – 104 с. Тел. 08-6766017.

Пятикнижие и гафтарот. [Ивритский текст с русским переводом и классическим комментарием «Сончино»]. – Москва – Иерусалим: Гешарим. – 1456 с. Тел. 972-2-9931194.

Ревзин Федор. Серый волк вернулся к людям. [Рассказы о животных]. – Ашкелон – Петах-Тиква: Кругозор. – 272 с. Тел. 972-8-6727235.

Роза ветров в Москве. [Специальный выпуск литературного альманаха: дайджест]. Редактор и составитель – Марк Котлярский. – Москва – Тель-Авив: Pilies Studio Publisher. – 448 с. 972-3-5505348.

¹ Начало списка см. в №№ 4 – 7 «Иерусалимского журнала».

Список книг, вышедших на русском языке в Израиле в 1998 году, опубликован в №№ 1 – 3.

Справочник для поступающих в ВУЗы и колледжи Израиля. – Иерусалим: Министерство абсорбции. – 50 с. Тел. 972-2-6241121.

Трахтман Э. Тринадцать уроков. [Самоучитель иврита]. – Ариэль: авторское издание – 208 с. Тел. 03-9068650.

Книги на русском языке, вышедшие в Израиле в 2000 году²

Авербух Исай. В Ливане на войне. (Бейрут. Август-сентябрь 1982). [Стихи]. – Иерусалим. – 80 с. Тел. 972-2-6283224.

Брагинская Майя. Брагинский метеорит. [Воспоминания]. – Иерусалим: авторское издание – 216 с. Тел. 972-2-5830124.

Брагинский Владимир. Воздух мечты. [Стихи]. – Тель-Авив: Pilies Studio Publisher. – 64 с. 972-3-6832853.

Горенко Анна. Анечка. [Малое собрание. Составитель: Владимир Тарасов]. – Иерусалим: «Alphabet» Publishers – 128 с. Тел. 972-2-6247781.

Грин Дж. Холокост. Роман. [Перевод с английского]. – Москва – Иерусалим: Даат/Знание. – 446 с. E-mail: alyud@adicom.ru

Гринберг Б. Традиционный еврейский дом. – Москва – Иерусалим: Гешарим. – 480 с. Тел. 972-2-9931194.

Евреи России – эмигранты Франции. [Ред. В. Москович, В. Хазан и др.]. – Москва – Иерусалим: Гешарим. – 416 с. Тел. 972-2-9931194.

Жаботинский Вл. Чужбина. [Комедия в 5-ти действиях]. – Москва – Иерусалим: Гешарим. – 240 с. Тел. 972-2-9931194.

Клир Дж. Россия собирает своих евреев. [Происхождение еврейского вопроса в России]. – Москва – Иерусалим: Гешарим. – 352 с. Тел. 972-2-9931194.

Курилов Слава. Путь. [Автобиографическая проза]. – Иерусалим: «Alphabet» Publishers. – 208 с. Тел. 972-2-6242949.

Лезинский Михаил. ...Стал бы уголовником. [Роман-признание]. Иерусалим: S-press. – 224 с. Тел. 972-4-8629149.

Любарский Роман. На пороге в ХХI-й. [Стихи]. – Иерусалим: «ANAX» при участии издательской группы «Мой город». – 90 с. Тел. 972-2-6432116.

Мордель Георг. Станция Березай. [Проза]. – Тель-Авив: Pilies Studio Publisher. – 152 с. 972-3-5509360.

Перельштейн Роман. Лето жизни. [Проза]. – Тель-Авив: Pilies Studio Publisher. – 120 с. 972-3-6832853.

Песнь песней. Комментированное издание. [Перевод р. Нохума-Зеева Рапопорта и Бориса Камянова (Авни)]. Иерусалим – Москва: Институт изучения иудаизма в СНГ. – 104 с. Тел. 972-2-6244431.

Ржавский Иосиф. Эхо памяти. [Стихи]. – Тель-Авив: Pilies Studio Publisher. – 144 с. 972-3-6832853.

² Продолжение списка – в следующем номере.

Роза ветров. №№ 9 - 12 [Литературный альманах]. Редактор и составитель – Марк Котлярский. – Москва – Тель-Авив: Pilies Studio Publisher. – 182 с. 972-3-5505348.

Саксонова Майя. Игра стихосложения. [Стихи]. – Тель-Авив: Pilies Studio Publisher. – 72 с. 972-3-6832853.

Солнечное сплетение. №№ 14 - 15 [Молодежный журнал]. – Иерусалим: Beseder. – 352 с. Тел. 972-2-5701313.

Сошкин Евгений. Другие стихотворения. [Стихи]. – Иерусалим: Beseder. – 40 с. Тел. 972-2-5701313.

Телушкин Й. Еврейский мир. Важнейшие знания о еврейском народе, его истории и религии. – Москва – Иерусалим: Гешарим. – 576 с. Тел. 972-2-9931194.

Фалькович Игаль. Домашний адвокат. Вопросы и ответы. – Герцлия: «ИсраДон». – 416 с. Тел. 972-2-6245581.

Цигельман Яков. Приключения желтого петуха [Роман-палимпсест, или повествование из современной жизни в трех частях с двумя между прочим]. – Иерусалим: Beseder. – 364 с. Тел. 972-2-5701313.

Шалев Цруйя. Я Танцевала Я Стояла. [Роман]. – Москва – Иерусалим: Гешарим. Серия «Литература Израиля». – 176 с. Тел. 972-2-9931194.

Шапиро Ф., Гури И., Подольский Б., Соломоник А. Очерки истории иврита. [Сборник статей]. – Тель-Авив: Иврус. – 144 с. Тел. 972-8-947-28-98.

Шрёдер Дж. Шесть дней творения и большой взрыв. [Перевод с английского]. – Москва – Иерусалим: Даат/Знание. – 160 с. Тел. 972-2-6241372.

Хейфец Михаил. Суд над Иисусом. Еврейские версии и гипотезы. – Москва – Иерусалим: Даат/Знание. – 114 с. 972-2-5867451

Эстрина Э. Крылатые слова. Словарь пословиц, поговорок, идиоматических выражений, устойчивых словосочетаний [Русский – иврит с обратным иврит – русским алфавитным указателем]. – Иерусалим. – 176 с. Тел. 972-2-5003422.

Южный альманах. № 3. Составитель и редактор Юрий Арустамов. – Ашкелон – Беэр-Шева: «Илекниф» – 256 с. Тел. 972-8-6724843.

Юрьев Олег. Полуостров Жидятин. [Роман, перевод с иврита Н. Левиной]. – Москва – Иерусалим: Гешарим. Серия «Литература Израиля и диаспоры». – 288 с. Тел. 972-2-9931194.

Заказать книги можно, связавшись с авторами или издателями.

Издатели и авторы, желающие опубликовать в «Иерусалимском журнале» информацию о вышедших книгах, могут прислать эти сведения в редакцию.

ИМЕНА

Шмуэль Йосеф АГНОН (Чачкес; 1888, Бучач, Галиция – 1970, Иерусалим). Один из основоположников современной израильской литературы на иврите. Лауреат Государственной премии Израиля (1954 и 1958) и Нобелевской премии по литературе (1966). В Иерусалиме его именем названа улица в районе Гиват-Ораним; дом-музей писателя находится в Тальпите; его архив хранится в Национальной Университетской библиотеке. В «ИЖ» в переводе Светланы Шенбрунн опубликованы рассказы Ш. Й. А. «К отчему дому» (№ 2) и Овадия-Увечный (№ 5).

Александр АДОНИН родился в 1949 году в Ново-Айдаре. Учился в Краснодаре. Работы художника экспонировались на выставках в России, Израиле, Германии, Дании, Канаде, Латвии, России, США. С 1991 года живет в Иерусалиме.

Марк АЗОВ (Айзенштат) родился в Харькове в 1925 году. Во время войны был на фронте. Дошел до Берлина. Преподавал литературу в школе. Много лет жил в Москве. Автор поэтических сборников, книг прозы, пьес и киносценариев. Писал миниатюры для театра Аркадия Райкина. Репатрировался в 1994 году. Живет в Нацрат-Илите.

Павел АСС родился в 1936 году в Москве. Журналист, театральный критик. Печататься начал на страницах журнала «Юность». В 1972 году приехал в Израиль. Работал в русской редакции Израильского радио. В 1981 – 1996 годах – сотрудник Би-Би-Си. Живет в Лондоне.

Марк БОГОСЛАВСКИЙ родился в 1925 году в Харькове. Во время войны работал слесарем на оборонном заводе в Омске. Добровольцем ушел на фронт. Был дважды ранен. Закончил филфак Харьковского университета. Учителемствовал в Архангельской области. Преподавал в харьковском Институте культуры. Стихи и статьи публиковались в «Новом мире», «Юности», «Вопросах литературы» и др. Автор трех книг стихов и книги статей. Репатрировался в 2000 году. Живет в Нетании. В «ИЖ» № 7 опубликована подборка стихов М. Б. «Звук на выдохе».

Наум БАСОВСКИЙ родился в Киеве в 1937 году. Репатрировался в 1992 году. Автор трех сборников стихов, а также поэтических переложений книги «Козлет» («Экклезиаст») и книги пророка Нахума. Лауреат премии русскоязычного СП Израиля. Живет в Ришон-ле-Ционе. Работает инженером. В «ИЖ» опубликован цикл его стихов «Место, где каждодневно живёшь» (№ 4), эссе «Три аквариума» (№ 6), рецензия на книгу Юрия Колкера и заметки о поэтическом переложении Экклезиаста (№ 7). В 2000 году в Библиотеке Иерусалимского журнала вышла книга стихов Н. Б. «Полнозвучие».

Валентина БРИО родилась в Витебске, много лет жила в Вильнюсе. Репатрировалась в 1990 году. Филолог, автор статей по истории русской и польской литературы и еврейской культуры Вильно. Сотрудник кафедры славистики Еврейского университета.

Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы рецензии **В. Б.** на сборник «Быть евреем в России» (№ 2) и книгу Льва Лившица «Вопреки времени» (№ 5).

Леонид ВЕЙЦЕЛЬ родился в 1975 году в Киеве. В 1992 году его семья репатрировалась в Израиль. Служил в пехотных частях, учился в киношколе.

Живет в Иерусалиме. Работает охранником.

Печатался в ивритской литературной периодике. На русском языке публикуется впервые.

Слава (Изяслав) ВИНТЕРМАН родился в Киеве в 1961 году.

Репатрировался в 1992 году.

Публиковался в литературной периодике, московских и петербургских альманахах и сборниках, автор нескольких книг стихов, вышедших на Украине, в Израиле и России.

Живет в Иерусалиме.

Лия ВЛАДИМИРОВА (Юлия Дубровкина) родилась в Москве. Окончила сценарный факультет ВГИКа. Репатрировалась в 1973 году. Автор пяти поэтических книг и трёх книг прозы. В переводе на иврит вышла ее книга «*Ямим Несугим*» («Дни, уходящие вспять»). Перевела с иврита книжку стихов Натана Йонатана. Участник антологии «Свет двуединый».

Репринт «Стихотворений» **Л. В.** вышел в 1990 году в Москве с предисловием Фазиля Искандера. В журнале «Новый мир» (1998, № 4) напечатана статья Александра Солженицина «Четыре московских поэта». IV раздел этой статьи посвящён **Л. В.** Лауреат литературной премии Всемирного сионистского Конгресса. Живет в Нетании.

Александр ГОРОДНИЦКИЙ родился в 1933 году в Ленинграде. Один из основоположников жанра авторской песни. Его песни «Перекаты», «От злой тоски...», «Атланты», «Над Канадой» и многие другие поют во всем мире.

Автор многих книг. В Иерусалиме вышли сборники стихов **А. Г.** «Остров Израиль» (1995) и «Атланты держат небо» (1998). Лауреат российской Государственной премии им. Булата Окуджавы. Живет в Москве.

Нина ДЕМАЗИ родилась в Воронеже. Много лет прожила в Ташкенте. Окончила филфак ТашГУ. Репатрировалась в 1992 году. Автор поэтических сборников «Середина дороги» (1987), «Рахель» (1990), «Моление о розе» (1999). Живет в Бат-Яме.

Владимир ДРУК родился в 1957 году в Москве. Один из основателей Московского Поэтического клуба. Стихи **В. Д.** печатались в газете «Пионер Востока», а также в многочисленных советских, российских, английских, немецких, французских, финских, румынских, бельгийских, польских, итальянских и американских литературных журналах, альманахах и сборниках, вошли в антологии современной русской поэзии. В Москве вышли книги стихов **В. Д.** «Нарисованное яблоко» (1991) и «Коммутатор» (1992).

С 1994 года живет в Нью-Йорке.

В «ИЖ» № 1 опубликована подборка стихов «Второе яблоко».

ИСАЙЯ (в ивритской транскрипции – **Иешаягу**), библейский пророк, деятельность которого протекала в Иерусалиме между 733 и 700 годами до н. э., в годы падения северного Израильского царства и изгнания его населения в Ассирию. Развивал и углублял идею пророка Амоса о том, что нравственность удобнее Богу, чем формальное отправление культовых ритуалов, что будущее народа Израиля зависит от его способности осуществить на практике идеалы справедливости и правосудия. **И.** говорил о непобедимости Иерусалима, который вечно пребудет столицей еврейского государства. Он впервые в истории выдвинул идею всеобщего мира. («Перекуют мечи на орала»). Слова **И.** «...ибо из Сиона будет явлена [народом всего мира] Тора, и слово Господне – из Иерусалима» вошли в традиционное песнопение, исполняемое в синагоге перед чтением свитка Торы. Его именем названа улица в центре Иерусалима.

Зоя КОПЕЛЬМАН родилась в Москве, окончила МИЭМ. Девять лет провела «в отказе». В Иерусалиме живет с 1987 года, здесь окончила Еврейский Университет по специальности «Ивритская литература» и занимается исследованиями в этой области, преподает. Публикуется в «Вестнике Еврейского Университета» и других периодических изданиях. Составитель книги «В. Ходасевич. Из еврейских поэтов» (Москва – Иерусалим, 1998).

З. К. подготовила к публикации фрагмент из романа Фриды Каплан «Поколение пустыни» («ИЖ» № 5). В ее переводе опубликован рассказ Иегуды Амихая «Так умирал мой отец (№ 7).

Александр КРЕСТИНСКИЙ родился в 1928 в Ленинграде. Окончил философский факультет ЛГУ. Работал школьным учителем, затем редактором отдела в журнале «Костер». Выпустил более десяти книг для детей. Автор сборников стихов «Отзовется душа» (1990), «Тихий рокер» (1993) и «Нищие неба» (1997).

Репатриировался в 2000 году. Живет в Бат-Яме.

Феликс КРИВИН родился в 1928 году в Мариуполе. Детство провел в Одессе. Окончил пединститут в Киеве. Плавал моряком по Дунаю, преподавал в школе русский язык и литературу, логику и психологию, работал корректором и редактором. С 1955 года жил

в Ужгороде. Автор 36 книг. Лауреат литературной премии имени В. Короленко. Репатриировался в 1998 году. Живет в Беэр-Шеве. В «ИЖ» (№ 3) опубликованы его «Сказки из жизни».

Семен ЛИПКИН родился в 1911 году в Одессе. До 1967 года был известен как переводчик эпоса и классики Востока. Первые сборники его собственных стихов начали выходить, когда поэту было уже 56 лет. В 1980 году, после выхода из Союза Писателей СССР, С. Л. публиковался за рубежом. Наиболее объемный поэтический сборник «Воля», вышедший в Америке, составил Иосиф Бродский. За границей впервые была опубликована проза Липкина: «Декада», «Сталинград Василия Гроссмана», «Картины и голоса». Лауреат Сахаровской премии и Габмургской премии имени Пушкина.

В сборник «Семь десятилетий» (2000) вошли стихотворения и поэмы С. Л., написанные с 1931 по 1999 год.

Елена МАКАРОВА родилась в Баку. Окончила литинститут им. Горького. Репатриировалась в 1990 году. Автор шестнадцати книг: «Открытый финал» (1989), «Искусствотерапия или Как преодолеть страх» (1986), «Friedl Dicker-Brandeis: Ein Leben fuer Kunst und Lehre (1999)», «University Over the Abyss» (2000, совместно с С. Макаровым и В. Куперманом) и др. Ее работы в области истории, педагогики и искусствоведения переведены на 10 языков. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» (№7) опубликованы ее наброски к роману «Сценарий прогулки»

Давид МАРКИШ родился в 1938 году в Москве. Учился в Литературном институте им. Горького, на Высших курсах сценаристов и режиссёров кино. Трудовую деятельность начал в возрасте 14 лет, в ссылке: играл на музыкальных тарелках в похоронном оркестре. Репатриировался в 1972 году.

Автор 15 книг; 8 из них вышли в переводе на иврит, 9 – на другие языки (в США, Англии, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции и Бразилии). Лауреат израильских и зарубежных литературных премий. Живет в Ор-Иегуде.

В «ИЖ» (№ 6) опубликован его рассказ «Конец света».

Берта РИНЕНБЕРГ родилась в Тбилиси. По образованию журналист. Статьи и стихи публиковала в периодике. Репатриировалась в 1990 году. Живет в поселении Офра.

Дина РУБИНА родилась в Ташкенте. С 1984 года жила в Москве, репатриировалась в 1990 году. Автор более двадцати книг прозы, изданных в России и в Израиле. Романы, повести, рассказы Д. Р. переведены на 12 языков. Лауреат премии им. Арье Дульчина (1991), премии израильского Союза писателей (1996), французской премии «За лучшую книгу литературного сезона» (1996).

Живет в Маале-Адумим.

В «ИЖ» (№ 2) опубликована повесть **Д. Р.** «Высокая вода венецианцев» (одноименная книга, включающая рассказы и монологи, вышла в 1999 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала») и эссе «Не договорили...» (№ 5).

Инна СИНГРИД (Трофимова), родилась в Москве в 1975 году. Закончила русское отделение филфака МГУ им. Ломоносова (1997). Репатрировалась в 1999 году. Живет в Реховоте. Работает в институте им. Вайцмана.

Автор литературоведческих статей, вышедших в Москве в 1999 – 2000 годах. Прозу публикует впервые.

Александр ФАЙНБЕРГ родился в 1939 году в Ташкенте. Окончил Топографический техникум и заочное отделение факультета журналистики Ташкентского госуниверситета. Автор одиннадцати поэтических сборников. По его сценариям были поставлены четыре полнометражных кинокартины и более двадцати мультипликационных фильмов. Перевел на русский язык стихи многих узбекских поэтов. Несколько лет руководил республиканским молодежным поэтическим семинаром при Союзе писателей. Живет в Ташкенте.

В «ИЖ» № 5 опубликована подборка стихов **А. Ф.** «Блаженны, кто себя не потерял».

Владимир ФРОМЕР родился в 1940 году в Куйбышеве. В Израиле с 1965 года. Окончил истфак Еврейского университета в Иерусалиме. Участник войны Судного дня. В 1972 – 1973 годах соредактор (вместе с Михаилом Левиным) «АМИ» – первого израильского литературного журнала на русском языке. Автор двухтомника «Хроники Израиля».

Живет в Иерусалиме. Работает на радиостанции «РЭКА».

В «ИЖ» опубликованы его эссе «Иерусалим – Москва – Петушки» (№ 1), «Солдат в Мосаде» (№ 3), «Поэзия как форма жизни» (№ 7), а также рецензия на книгу Аркадия Красильщикова «Рассказы в дорогу» (№ 6).

Михаил ХЕЙФЕЦ родился в 1934 году в Ленинграде. В 1974 году был приговорен к шести годам лагерей и ссылки за написание предисловия к самиздатскому Собранию сочинений Иосифа Бродского. Репатриировался в 1980 году.

Автор книг «Секретарь тайной полиции» (1968), «Украинские силуэты» (1983), «Военнопленный секретарь» (1985), «Глядя из Иерусалима» (1989), «Цареубийство в 1918 году» (1991), «Воспоминаний грустный свиток» (1996), «Идеология и политическое насилие в Израиле» (1998), «Суд над Иисусосом. Еврейские версии и гипотезы», (2000), изданных в России, Израиле, США и Великобритании. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» № 2 опубликована его статья о журнале «Время искать».

Павел ХМАРА (Хмара-Миронов) родился в городе Струнино Ивановской области, в год великого перелома в СССР (1929), но на сохранности костей это не сказалось. Выглядит моложе своих дремучих лет и до сих пор пишет стихи, несмотря ни на что. По окончании воспитательного воздействия детсада, школы, двух вузов, училища и академии был летчиком-истребителем, инженером, журналистом. Запрошенные у Всевышнего семьдесят лет были ему предоставлены, последующие годы **П. Х.** оценивает как наградные за хорошее поведение. Одной из наград было посещение Израиля, который является для него полуисторической Родиной. Автор четырех книг. Живет в Москве.

В ИЖ (№ 6) опубликована его рецензия на книгу Лорины Дымовой.

Леонид ЧЕРКАССКИЙ родился в 1925 году в Черкассах. Работал в Институте Востоковедения РАН (1960 – 1992). Доктор филологических наук. Автор семи книг историко-литературной прозы; издал 15 сборников переводов китайской классической и современной поэзии и прозы. Репатрировался в 1992 году. Лектор Иерусалимского университета. Живет в Раанане.

Самуил ШВАРЦБАНД родился в 1940 году в Ленинграде. Репатрировался в 1982 году. Филолог. Автор двух монографий о Пушкине и, совместно с З. Давыдовым, – о Волошине, около сотни статей, большинство из которых напечатаны в научных журналах. Автор книг стихов «Черепки» (1990) и «Летаргия» (1995). Преподаватель кафедры славистики в Еврейском университете. Живет в Иерусалиме.

Элла ШУЛЬГА родилась в Чернигове. Окончила Институт стран Азии и Африки при МГУ. Кандидат филологических наук. Репатрировалась в 1991 г. Преподает в Тель-авивском и Иерусалимском университетах. Автор статей по истории новой китайской литературы и учебных пособий по китайскому языку. Живет в Герцлии.

Анатолий ЯКОБСОН (1935, Москва – 1978, Иерусалим). Литературовед, поэт-переводчик, активный участник правозащитного движения в СССР. С декабря 1969 по октябрь 1972 редактировал «Хронику текущих событий». До 1968 года преподавал историю в средней школе, но основное занятие жизни – «литература о литературе». По его определению, «это не филология и не писательство в чистом виде, но нечто, имеющие черты и того и другого...» Основной своей работой считал книгу о Блоке «Конец трагедии» (Нью-Йорк, 1973). Переводил Петрарку, Эрнандеса, Лорку, Готье, Верлена, Честертона, Мицкевича.

С 1973 года жил в Израиле. Основная работа последних лет – «Вахханалия в контексте позднего Пастернака».

В 1992 году в издательстве «Вильнюс – Москва» вышла книга избранных произведений А. Якобсона «Почва и судьба», куда вошли и его дневники.

СОДЕРЖАНИЕ

АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ

ВЛАДИМИР ДРУК. На краю. *Стихи* 3

ЛВЬИНЫЕ ВОРОТА

ИГОРЬ ГУБЕРМАН. В огороде сельдерей. *Главы из новой книги* . . . 12

ДИНА РУБИНА. На солнечной стороне улицы. *Отрывок из романа* . . 46

СЛАВА ВИНТЕРМАН. Формы отчаяния. *Стихи* 68

ЛЕОНИД ВЕЙЦЕЛЬ. По этике и по эстетике. *Рассказы* 72

БУХАРСКИЙ КВАРТАЛ

АЛЕКСАНДР ФАЙНБЕРГ. Изабелла. *Поэма* 80

СИОНСКИЕ ВОРОТА

ФЕЛИКС КРИВИН. Парк. *Рассказы и размышления* 84

ЯФФСКИЕ ВОРОТА

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА. Стихи разных лет. 112

ДАВИД МАРКИШ. Гуревич. *Рассказ* 115

АЛЕКСАНДР КРЕСТИНСКИЙ. Под покровом еврейского неба. *Стихи* . . 121

ИННА СИНГРИД. В тени Керри Эрнан. *Рассказы* 128

НИНА ДЕМАЗИ. Посвящения. *Стихи* 140

ШХЕМСКИЕ ВОРОТА

МАРК АЗОВ. Глотающая земля. *Рассказ* 144

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

ПАВЕЛ ХМАРА. Если мы только не все обалдели. *Стихи* 156

УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

ЕЛЕНА МАКАРОВА. Превращения Саши Адонина 160

ГОРОД ДАВИДА

НАУМ БАСОВСКИЙ. Переложение из книги ИСАЙЯ.. . . . 170

ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

«Мир велик, но мне подвластен».

К 90-летию со дня рождения Семена Липкина 179

ХОЛМ ПАМЯТИ

ВЛАДИМИР ФРОМЕР. «...Он между нами жил». *Мемуарная новелла* . . 182

ЗОЯ КОПЕЛЬМАН. Из теснин 203

ШМУЭЛЬ ЙОСЕФ АГНОН. Союз любви. *Рассказ. Перевод З. Копельман* 205

ПАВЕЛ АСС. Страницы воспоминаний 208

ПАРК САКЕР

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ. Люди и песни 219

ПОДЗОРНАЯ ГОРА

САМУИЛ ШВАРЦБАНД. О «жидове» и о «жидехъ» 238

ЛЕОНИД ЧЕРКАССКИЙ, ЭЛЛА ШУЛЬГА. «Евгений Онегин» на иврите 244

НОВЫЕ ВОРОТА

Рецензии Марка БОГОСЛАВСКОГО, Валентины БРИО,
Берты РИНЕНБЕРГ, Михаила ХЕЙФЕЦА
на книги Геннадия БЕЗЗУБОВА, Марка ЗАЙЧИКА, Вениамина КЛЕЦЕЛЯ
и Зинаиды ПАЛВАНОВОЙ, Исаака РОЗОВСКОГО 263

ШАТЕР КНИГИ

Издания 1999 – 2000 года 273

ИМЕНА

Авторы и персонажи 276

**ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»**



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999-2001 гг. вышли книги:

Дина РУБИНА. «Высокая вода венецианцев»

Новая одноименная повесть, рассказы и монологи

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ. «Стена в пустыне»

Новые стихи поэтессы и новые картины художника

Юлий КИМ. «Путешествие к маяку»

Поэзия, проза и драматургия

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА.

«Иерусалимские картинки»

Новые стихи З. Палвановой и рисунки В. Клецеля

Наум БАСОВСКИЙ. «Полнозвучие»

Новая книга стихов

Илья БОКШТЕЙН. «Быть я любимым хотел»

Избранные публикации для новых читателей. 1-я часть

Дмитрий СУХАРЕВ. «Холмы»

Новая книга стихов

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Новая книга прозы **Игоря ГУБЕРМАНА**

Стихи **Йоны ВОЛАХ** в переводе **Ольги РОГАЧЁВОЙ**

Новая книга стихов **Владимира ДРУКА**

Новые повести и рассказы **Григория КАНОВИЧА**

Первая книга прозы **Марины МЕЛАМЕД**

Новая книга стихов **Зинаиды ПАЛВАНОВОЙ**

Новая книга стихов **Владимира ФРЕНКЕЛЯ**

Новая книга стихов **Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ**

Альбом работ участников сайта **«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»**

JERUSALEM ANTHOLOGIA - www.antho.net

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ **Александра АДОНИНА**, **Анатолия БАРАТЫНСКОГО**, **Лиоры БАРШТЕЙН**, **Николая БЕЗЗУБОВА**, **Лей ЗАРЕМБО**, **Гарика ЗИЛЬБЕРМАНА**, **Бориса КАРАВАНОВА**, **Бориса КАРАФЕЛОВА**, **Бориса КИНКУЛЬКИНА**, **Вениамина КЛЕЦЕЛЯ**, **Григория КОЭЛЕТА**, **Эммануила ЛИПКИНДА**, **Ителлы МАСТБАУМ**, **Михаила МОРГЕНШТЕРНА**, **Бориса ЛЕКАРЯ**, **Зелия СМЕХОВА**, **Сергея ТЕРЯЕВА**, **Якова ФЕЛЬДМАНА**, **Давида ХАНАНА**, **Юлии ШУЛЬМАН**, **Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ**, **Михаила ЯХИЛЕВИЧА** и других мастеров искусства.

**НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»**

**АНТОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗРАИЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

Лучшие стихи израильских поэтов, пишущих для детей,
в переводах **Елены АКСЕЛЬРОД, Семена ГРИНБЕРГА,**
Владимира ДАНЬКО, Лорины ДЫМОВОЙ,
Бориса КАМЯНОВА, Вадима ЛЕВИНА и других поэтов

ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ

Альбом живописных и графических работ
двадцати семи современных израильских художников
(К выставке 2000 - 2001 годов в залах *Театрон Ерушалаим*)

**Подписку на журнал можно оформить,
прислав свои почтовые координаты и чек на имя**
Jerusalem Anthologia
по адресу:

**Jerusalem Literary Review, P. O. Box 32297
Jerusalem 91322**

**Стоимость годовой подписки (4 номера):
В Израиле – 128 шекелей, включая пересылку
В странах Западной Европы и Северной Америки –
\$64 США, включая пересылку**

«Иерусалимская Антология» благодарит
Клару и Владимира КРАСНОШТЕЙНОВ (Нью-Джерси),
Виктора ЛУФЕРОВА (Москва), Якова ЛИВШИЦА (Иерусалим),
Ехиэля ФИШЗОНА (Иерусалим), Игоря ЦЕСАРСКОГО (Чикаго),
Клару ЭЛЬБЕРТ (Иерусалим)
за поддержку журнала.

**Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило),
банк Апоалим
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo),
Bank Napoalim**

*Любые пожертвования
будут приняты с благодарностью*

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 8, 2001

ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet version: www.antho.net/L

Israel Union of Writers in Russian

Jerusalem Anthologia Association

Editorial Board: **Igor Byalsky** (Editor-in-Chief),
Semion Grinberg, **Yuly Kim**, **Zinaida Palvanova**, **Dinah Rubina**,
Svetlana Shenbrunn, **Roman Timenchik**

Executive Secretary – **Leonid Levinson**

Graphic Designer – **Susanna Chernobrova**

Assistants Editor and Correctors – **Margarita Shklovsky**, **Lyuba Leibzon**

Administrative and technical support – **Binah Smekhova**, **Olga Aksyutina**, **Boris Bronshtein**, **Daniel Burshtein**, **Michael Byalsky**,
Victor Gopman, **Gregory Gordin**, **Shaul Kotlarsky**, **Svetlana Moiber**,
Anton Mukhin, **Ilan Riss**, **Boris Shtein**, **Linah Vilensky**

SCOPUS Publishing House

TSUR OT Printing House

With the support of Absorption Ministry; Culture Ministry; Center for the Absorption of Outstanding Immigrant Artists; Culture Department and Absorption Department of Jerusalem City Council; Jerusalem Russian Municipal Library

Copyright © "Иерусалимский журнал" 2001. All rights reserved.

Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel

E-mail: review@antho.net

Phone/Fax: 972-2-5384914; 972-2-6720025; 972-2-6434005; 972-2-6432962

Jerusalem Review Representatives:

in Moscow: **Igor Gryzlov** – 7-095-5507747; igorgr@dol.ru
Victor Indenbaum – 7-095- 9157178; sifria@mail.ru
Liah Krentcel – 7-095-4318386

in Petersburg: **Olga Krupenye** – 7-812-312 5465

in Novosibirsk: **Vladimir Bolotin** – 7-3832-329944; bolotin55@mail.ru

in New-York: **Andrey Gritsman** – agritsman@worldnet.att.net
Rita Balmina – rita_balmin@yahoo.com

in Chicago: **Alexander Blinsein** – 1-847-6761134; RMASIS56@prodigy.net
Yefim Kotlyar – 1-847-5819304; YefimK@aol.com

in Paris: **Vladimir Smekhov** – 33-6-73024165, 33-1-41861468

in Toronto: **Ilia Lipes** – lipes@idirect.com

In ISRAEL:

Lyuba Seryogina – *Afula*, 972-6-6492095

Olga Kravchenko – *Arad*, 972-7-9971014

Samuel Kushnirov – *Ariel*, 972-3-9365452

Leonid Sheinkman – *Herzliya*, 972-9-9502681

Vitaly Kabakov – *Kfar Saba*, 972-9-7673293

Michael Basin – *Khaifa*, 972-4-8213657

Michael Gil – *Lod*, 972-8-9201291

Mark Pavis – *Rekhovot*, 972-8-9353758

CONTENTS

AMERICAN COLONY

VLADIMIR DRUK. On the Brink. *Poems*

LION GATE

IGOR GUBERMAN. Celery in my Kitchen Garden.

Chapters from New Book

DINAH RUBINA. On the Sunny Side of the Street. *Fragment from Novel*

SLAVA WINTERMAN. Forms of Despair. *Poems*

LEONID WEITZEL. Ethically and Aesthetically. *Short Stories*

BUKHARA QUARTER

ALEXANDER FEINBERG. Isabella. *Poem*

ZION GATE

FELIX KRIVIN. Park. *Short Stories and Contemplation*

JAFFA GATE

LEAH VLADIMIROVA. Poems of Different Years

DAVID MARKISH. Gurevich. *Short Story*

ALEXANDER KRESTINSKY. Under Cover of Jewish Sky. *Poems*

INNA SINGRID. In the Shadow of Carry Ernan. *Short Stories*

NINA DEMAZY. Dedications. *Poems*

SHKHEM GATE

MARC AZOV. The Land That Swallows. *Short Story*

RUSSIAN COMPOUND

PAVEL KHMARA. If Only Not All of Us Lost Our Wits... *Poems*

BETZALEL STREET

ELENA MAKAROVA. Sasha Adonin's Metamorphoses

CITY OF DAVID

NAHUM BASSOVSKY. Arrangements from The Book of Isaiah

JUBILEE QUARTER

"The World is Immense, But I Can Sway It..."

To the 90th Anniversary of Semen Lipkin's Birth

MEMORY HILL

VLADIMIR FROMER. "He Lived Among Us". *Memorial Novelette*

ZOYA KOPELMAN. Through Hardships

SHMUEL YOSEF AGNON. The Love Concord. *Short Story.*

Translated by Z.Kopelman

PAVEL ASS. From the Memoirs

SAKER GARDEN

ALEXANDER GORODNITZKY. People and Songs

MOUNT SCOPUS

SAMUEL SCHWARTZBAND. On the Etymology of the Word *Zhid*

LEONID CHERCASSKY, ELLA SHULGA. *Eugene Onegin* in Hebrew

NEW GATE

Reviews by Marc BOGOSLAVSKY, Valentina BRIO,

Bertha RINENBERG, Michael KHEYFETZ

of books by Gennady BEZZUBOV, Marc ZAYCHIK,

Benjamin KLETZEL and Zinaida PALVANOV, Isaac ROZOVSKY

SHRINE OF THE BOOK

Publications of the Years 1999-2000

NAMES

Authors and Characters

תוכן הענינים :

המושבה האמריקנית

וולדימיר דרוק. בגבולה - שירים

שער האריות

איגור גוברמן. בגינה צומח... - פרקים מספר חדש
דינה רובינה. בצדו השמשי של הרחוב - קטע מרומן
סלבה ווינטרמן. צורות היאוש - שירים
לאוניד וויצל. על פי אתיקה ועל פי אסתטיקה. - סיפורים

שכונת הבוכרים

אלכסנדר פיינברג. איזבלה - פואמה

שער ציון

פליקס קריבין. פארק - סיפורים והרהורים

שער יפו

ליה וולדימירובה. שירים משנים שונות
דוד מרקיש. גורביץ' - סיפור
אלכסנדר קרסטינסקי. תחת שמיים יהודיים - שירים
אינה סינגריד. בצילה של קרי ארן - סיפורים
נינה דמזי. הקדשות - שירים

שער שכם

מרק אזוב. האדמה הבולעת - סיפור

מגרש הרוסים

פבל חמרה. אם כולנו לא השתגענו - שירים

רחוב בצלאל

הלנה מקרובה. לגוליו של סשה אדונין

עיר דוד

נחום בסובסקי. לפי ספר ישעיהו

קרית יובל

"עולם גדול - אבל בידי הוא נשלט" - לקראת יום הולדתו ה-90 של סמיון ליפקין

הר הזיכרון

וולדימיר פרומר. "... הוא חי בקרבנו." נובלת זכרונות
זויה קופלמן. בין המצרים
שמואל יוסף עגנון. ברית של אהבה - סיפור, (מעברית זויה קופלמן)
פבל אס. דפי הזכרונות

גן סאקר

אלכסנדר גורודניצקי. אנשים ושירים

הר הצופים

שמואל שוורצבנד. על מקורה של המילה "זייד"
לאוניד צ'רקסקי, הלנה שולגה. "יבגני אוניגין" בעברית

השער החדש

מאמרי ביקורת מאת מרק בוגוסלבסקי, וולנטינה בריאו,
ברטה ריננברג, ומיכאל חפץ
על ספריהם של גנדי בזובוב, מרק זייציק,
בנימין קלצל וזינאידה פלונובה ושל מרק רוזובסקי

היכל הספר

ראו אור ב-1999-2000

שמות

יוצרים ודמויות

כתב-עת ירושלמי 8. 2001

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

**אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"**

מערכת:

**איגור ביאלסקי (עורך ראשי), שמעון גרינברג, רומן טימנצ'יק,
יולי קיס, זינאידה פלבנובה, דינה רובינה, סבטלנה שנברון
מוזכיר - לאוניד לוינזון**

ציירת - סוסנה צ'רנוברובה

**עריכה והגהה - מרגריטה שקלובסקיה, לובה ליבזון
תמיכה לגויסטית וטכנית - בינה סמחובה, אולגה אקסיוטינה,
מיכאל ביאלסקי, דניאל בורשטיין, בוריס ברונשטיין,
ויקטור גופמן, גרגורי גורדין, לינה וילנסקי, סבטלנה מויבר,
אנטון מוכין, שאול קוטלרסקי, אילן ריס, בוריס שטיין**

הוצאה לאור: "סקופוס" הדפסה: דפוס "צור-אות"

בתמיכת



**המרכז לקליטת אמנים עולים
משרד לקליטת העלייה,
משרד התרבות והספורט**



**עיריית ירושלים
אגף התרבות,
הרשות העירונית לקליטת עליה
והספריה הרוסית העירונית בירושלים**

© 2001 כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

**כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת.ד. 32297, ירושלים 91322
טל. 055-766722, 054-745322, 02-6720025, 02-5384914
E-mail: review@antho.net**

35

